

LE MESSAGE

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

100

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 100

TRIMESTRIEL

II . 1971

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,
И. В. Морозов.Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и всея Канады, проф. прот.
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél. : 250-53-66

ВЕСТНИК РСХД.

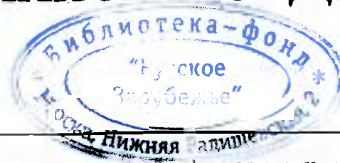
ПОВЫШЕНИЕ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ

В виду увеличения объема Вестника почти вдвое, мы
вынуждены начиная с 1971 г. повысить подписную плату:

Во Франции	35 фр.
с целью поддержки	60 фр.
В Америке	8 долларов
воздушной почтой	10 долларов
с целью поддержки	15 долларов

Цена сотого номера: 20 франков.
5 долларов.Abonnement annuel 35,—
Prix du numéro 100 20,—Во Франции подписную плату просим вносить только на почтовый
счет РСХД:
C.C.P. Paris 2441-04. Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°Adresse de la Rédaction : Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serre, Paris-15°. France

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Г. В. Адамович
епископ Александр
(Семенов Тянь-Шанский)
Н. Арсеньев
иеромон. Афанасий (Евтич)
Анна Ахматова (стихи)
К. Бальмонт (сонет)
прот. Б. Бобринской
прот. С. Булгаков
В. В. Вейдле
М. Волошин (стихотв.)
И. Горяинова
С. Доброхотов
Н. М. Зернов
прот. А. Киселев
прот. А. Князев

архиепископ Иоанн (Шаховской)
архим. Иустин (Попович)
Н. Лосский
Н. Я. Мандельштам
Мих. Михайлов
О. Раевская-Хьюз
прот. Г. Сериков
Г. П. Струве
Н. А. Струве
Б. Филиппов
свящ. П. А. Флоренский
прот. К. Фотиев
Марина Цветаева (неизд. стихи)
Г. К. Честертон
прот. А. Шмеман

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

ОТ РЕДАКЦИИ

СОТЫЙ НОМЕР

Мы отмечаем сотый номер Вестника с его возобновления в 1949 году, после десятилетнего перерыва. Можно было бы подчеркнуть, что Вестник, основанный в 1925 году, едва ли не старейший зарубежный журнал. 46 лет с основания, 35 лет издания, 100 номеров за последний период — внушительные цифры и даты. Но приличествует ли Вестнику роль маститого, заслуженного юбиляра? Сегодня, благодаря возобновившейся связи с Россией, Вестник переживает процесс становления и обновления. За последние два года, Вестник неуклонно растет, расширяет круг своих сотрудников и подписчиков. Впервые, по случаю юбилея, Вестник выходит более чем на трехстах страницах. Из скромного бюллетеня Вестник превращается в толстый журнал.

В ранний период своего существования Вестник был связующим органом Русского студенческого христианского движения: в нем давалась информация о Движении, разрабатывалась его идеология, уделялось место борьбе за Церковь в Советской России. В те времена существовали другие религиозно-философские и религиозно-общественные журналы, куда более толстые и солидные. С Путем Н. Бердяева или с Новым градом Г. Федотова, близкими ему по духу, Вестник не соперничал, ограничиваясь скромным призванием быть выразителем движенческих установок.

Возобновленный после войны, Вестник оказался единственным зарубежным православным журналом сколько нибудь широкого охвата. Сошло со сцены почти все поколение великих деятелей русской православной культуры, и Вестник не мог, разумеется, считать себя преемником Пути или Нового града, но тем не менее, медленно развиваясь и укрепляясь, он их напоминал.

Вестник перерос узкие рамки внутри-организационного бюллетеня, но именно движенческие установки обусловили его жизнённость и рост. Когда приоткрылась дверь в Россию, движенческие

БИБЛИОТЕКА - ФОНД
"РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ"
Н. РАДИЩЕВСКАЯ Д.2
к.к.в. 659

принципы оказались наиболее нужными, наиболее своевременными. Об этих принципах мы говорили не раз. Прежде всего, это вера в абсолютную истинность Христова откровения, явленного в Церкви. Не религия вообще, не религиозное чувство, несмотря на их ценность, априятие полностью учения православной Церкви, во всей его широте. В Церкви Движение видит не только «сокровищницу», не только «святыню», но творческую силу, призванную преобразовать мир. Движению чужд, как писал о. Василий Зеньковский в 1929 г., «христианский спиритуализм отделяющий правду Церкви от правды истории и жизни». Истина, красота и добро неразделимы. Вот почему на страницах Вестника сосуществуют богословский, литературный и политико-общественный отделы. Истина Христова абсолютна, но все подлинно-прекрасное, все подлинно-справедливое сопричастно этой Истине, ею оценивается и в ее свете находит свое место. Эта установка непонятна антирелигиозникам, которые хотели бы чтобы Вестник ограничивался узко церковными проблемами (см. стр. 12); не всегда она понятна и некоторым чрезмерным ревнителям православного благочестия, гнушающимся историей и культурой. Но только она, возвещая грядущее преобразование жизни, способна ответить на то томление духа, на ту жажду подлинного бытия, которые охватили человечество, сознающее крушение гуманистических иллюзий.

Никита СТРУВЕ

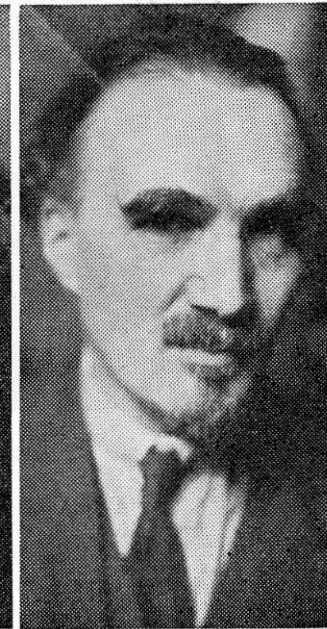
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕСТНИКА Р.С.Х.Д.



И. А. Лаговский
1888 - 1941 (?)



Прот. В. Зеньковский
1882 - 1964



Г. П. Федотов
1886 - 1951

1-го декабря 1925 года: выход первого номера Вестника на ротаторе под редакцией И. Лаговского и Н. Зернова.

Октябрь 1926 года: первый номер, отпечатанный типографским способом. Ежемесячник — от 30 до 60 страниц.

Декабрь 1927 года: тираж Вестника доходит до 1.350 экземпляров.

1930-1931 гг.: Вестник выходит под редакцией Г. Федотова и И. Лаговского.

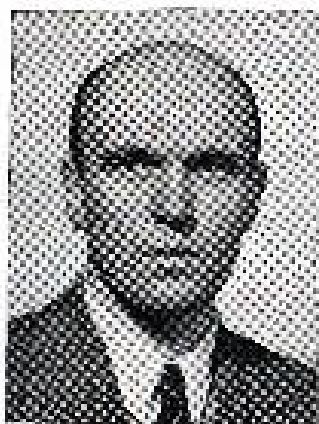
1932-1933 гг.: Вестник выходит с большими перебоями, один номер за несколько месяцев, под редакцией И. Лаговского.

6-го апреля 1936 г.: выходит юбилейный номер Вестника (1925-1935).

1937-1939 гг.: Вестник возобновляется, в новом виде, без упоминания Русского Студенческого Христианского Движения на обложке, под редакцией проф. В. В. Зеньковского (от 5 до 6 раз в год, от 30 до 50 стр.).



Прот. А. Киселев



И. В. Морозов

1949 год: Вестник возобновляется в Германии, сначала под редакцией прот. А. Киселева, а затем — прот. Георгия Бенигсена (вышло 8 номеров). Одновременно возобновляется издание Вестника на ротаторе в Париже под редакцией И. В. Морозова (с третьего номера издание было прекращено).

1950 г.: Вестник переносится в Париж, где издается от 5 до 6 раз в год под редакцией И. В. Морозова.

1952-1969 гг.: Вестник издается под совместным редакторством И. В. Морозова и Н. А. Струве (до 1962 года при ближайшем участии прот. Василия Зеньковского). С 32-х страниц шесть раз в год, Вестник перешел в 1955 г. на 48 страниц четыре раза в год. В середине 60-х годов объем Вестника стал постепенно увеличиваться, правда при наличии одного двойного номера в год. Тираж: 1000 экземпляров.

1970-й год: вышло три номера по 196, 170 и 128 страниц. По количеству страниц за последние годы Вестник увеличился в два с половиной раза. Тираж: 1.700 экз.

Осенью 1925 года, по окончании богословского факультета в Белграде, я начал в Париже работу секретаря Р.С.Х.Д. Одной из задач, порученных мне, была поддержка связи между русскими студенческими кружками, разбросанными по всей Европе. С этой целью было решено издавать печатный орган Движения под моей редакцией. В его задачу входило, как информация о работе кружков, так и обзор церковной жизни в России и за рубежом. В моих поисках названия для нового журнала, я обратился за помощью к писателям и другим старшим друзьям Движения. А. М. Ремизов посоветовал назвать его «Барабан Духовный». Я до сих пор жалею, что не решился последовать его совету и выбрал имя «Вестника».

При деятельном участии А. И. Чекана, первый номер вышел в декабре 1925 года в количестве 300 экземпляров. Он был отпечатан на ротаторе. «Вестник» имел успех, число подписчиков стало быстро расти. В октябре 1926 года он был выпущен в 1000 экземплярах и уже типографским способом. Вскоре Иван Аркадьевич Лаговский стал со-редактором и оставался им до конца 1936 года. «Вестник» одно время печатался в Эстонии, где он работал секретарем Движения до своего ареста советской властью при занятии Эстонии красной армией.

Осенью 1929 года я уехал в Англию для работы над моей докторской диссертацией и перестал быть редактором «Вестника». Меня заменил Г. П. Федотов. № 4 (1929 года) дает интересные данные о числе подписчиков на «Вестник». В это время он издавался в количестве 1500 экземпляров. Его постоянные подписчики были распределены по следующим странам: Франция — 349, Прибалтика и Польша — 306, Америка — 169, Чехия — 101, Балканы — 87, Германия — 60, Англия 51, Италия, Швейцария и Бельгия — 44, Азия — 51, Африка — 15.

В 1937-8 годах редактором «Вестника» был В. В. Зеньковский. Последний номер «Вестника» перед войной вышел под редакцией о. Льва Липеровского, это был № 3, 1939 года, четырнадцатый год издания «Вестника». Он возобновил свое существование в 1949 году. Первый после-военный номер вышел в Мюнхене под редакцией о. Александра Киселева.

Николай Зернов
Оксфорд. 9 октября 1971 г.

Мы живем в удивительное время. Для наших дней характерны полярные противоположности. Приближался ли когда-либо раньше мир к гибели от загрязнения всей биосферы — воздуха, земли, воды? И в то же время — посещал ли человек когда-либо раньше иные планеты? Имело ли в мире когда-либо такое широкое государственное применение безбожное и безчеловечное учение, которое процветает сейчас, в двадцатом веке? И в то же время — когда раньше бывало, что достижения науки раскрывают и в микро- и в макрокосмосе «нечто целое, исполненное невозмутимого строя»? Когда бывало, чтобы от лица науки требовалось «совмещение эстетики, этики и науки»? Можно ли было предвидеть, что в научных журналах будут писать: «...о сущности живого вещества и его роли в космосе и на планете, о значении в геологических процессах разума и воли человека, о судьбах науки, о начале и вечности жизни, о моральных принципах...»?

Однако, откуда взяты эти цитаты? Мы их черпаем не на относительно свободном Западе, а не безотносительно несвободном Востоке! Мы получаем эти сведения не только из научных, но даже из периодических и популярных изданий страны неслышанной диктатуры — Советского Союза, государства, являющегося оплотом современного мирового безбожия. Это звучит парадоксально, но это действительно так. Тот, кто следит за этой литературой, тот убедится в правоте слов:

...Чем глубже ночь, тем ярче звезды.
Чем больше скорбь, тем ближе Бог.

Наш Вестник живет в этом сложном, в этом слепотствующем и в этом прозревающем мире. Слово Вестника было и должно всегда быть зовущим нас «соразработать» делу одухотворения мира. Это наш человеческий долг, ибо никому иному, как «сыну человеческому» повелевает Бог прорекать оживотворяющие слова (Пророк Иезекииль, глава 37, стих. 1-14, читаемые в Церкви на утрене Великой Субботы).

Вестник всегда был горячо любим в Движении. Я на всю жизнь запомнил, как, будучи еще совсем молодым священником, впервые участвовал на съезде Совета Движения (Буасси, 1935

год), и слушал доклад редактора Вестника И. А. Лаговского, моего учителя и друга. Этот волевой человек, смертью своей доказавший свое мужество, заплакал, говоря о непреодолимых финансовых трудностях для продолжения издания Вестника. Возможно, что именно это воспоминание побудило меня дерзнуть взяться за восстановление Вестника спустя десять лет после вынужденного прекращения его в 1939 году.

1945 год... После войны, на военных развалинах нужно было начинать жизнь с начала. Была радость конца войны, было вдохновение. В это время в Мюнхене оказалась группа людей, готовых послужить основной идее Движения — воцерковлению жизни. Мы стали своими руками восстанавливать брошенный, разрушенный бомбами дом. Найдя в развалинах этого дома чудом сохранившийся образец преп. Серафима, мы приняли это как благословение свыше... Трудные условия жизни, полуголодное существование — только придавали нам энергии. В доме, названном «Милосердный Самарянин», создавался храм Преп. Серафима, вокруг которого устраиваются просветительный, миссионерский и социальный отделы. Учебные заведения — детский сад, начальная школа, гимназия. Двухгодичные курсы «сестер-самаритянок» — совмещение медицинской и социальной работы с миссионерской. Амбулатория, лаборатория. Отдел социальной помощи. И главное: восстанавливается деятельность РСХД в Германии, и начинает издаваться Вестник, издание которого прервалось из-за войны.

Не случайно восстановление Вестника, как и работа Движения в послевоенной Германии, произошли именно в Мюнхене. Здесь, среди беженцев, оказались такие старые члены Движения как бывш. генеральный секретарь Движения А. И. Никитин, отец Сергей Шукин, Н. П. Хирьяков, Н. Н. Купфер. Тут были такие друзья Движения как проф. Ф. А. Степун, избранный впоследствии председателем Движения в Германии. Деятельными восстановителями Движения были, тогда еще более молодые, движенцы, отец Георгий Бенигсен с матушкой, моя матушка и я, матушка Тамара Лукканен, Маргарита Банг (теперь Гизетти), Димитрий Гизетти (теперь священствующий в Калифорнии), кипящий энергией Олег Родзянко, талантливый художник и иконописец Серафим Слободской (теперь священствующий в Америке), молодежь семьи Лопухиных и многие другие.

Беженцы, среди которых работало Движение, были, главным образом, люди из Советского Союза. Все сходилось на одном и самом для нас главном, что и было отражено в редакционной статье первого изданного нами Вестника в 1949 году: «В служении Господу Иисусу Христу и Его Церкви, в хранении и создании православной культуры Движение видит путь к спасению Родины и родного народа».

Летом 1948 года к нам в Германию приехал первый представитель центра Движения, Л. А. Зандер. Только безграничная преданность Льва Александровича делу Движения могла «перенести» его через все существовавшие тогда пограничные кордоны. Он участвовал и в первом летнем съезде Движения.

Мы отмечаем большое и радостное событие — издание 100-го номера Вестника. Вестник делает дело огромной важности: он духовно служит каждому русскому человеку, вне зависимости, где живет этот человек. Вестник призван быть Вестником дела Божия в нашем поляризирующемся мире. Он из многообразия своего опыта может, утверждая, повторять за апостолом, что «для слова Божия нет уз» (2 Тим., 2, 9) и что «любящим Бога все содействует ко благу» (Рим. 8, 28).

Не сохраняй Вестник ту атмосферу свободы, которая одна способна выявлять ценности человеческого духа, — не быть бы Вестнику тем, что он есть, и чем он еще может и должен быть.

Прот. А. КИСЕЛЕВ

Поздравления к 100-му номеру Вестника

Вестнику Р.С.Х.Д.

Много лет слежу с интересом, искренним сочувствием за „Вестником Р.С.Х.Д.“. Радуюсь длительности его существования, от души желаю дальнейших успехов — считаю его чистым и крупным звеном культуры духовной в эмиграции.

Многая лета!

С уважением и любовью

Борис Зайцев

6.VII.71 Париж.

От имени Богословского Института поздравляю РСХД и редакционную коллегию Вестника с выходом номера 100 органа Движения. Выражаю «Вестнику» глубокую признательность за печатание богословских статей, за даваемую им информацию и за то, что в наше трудное время он взял на себя нелегкое и ответственное дело быть церковно-общественным журналом и защищать истинный облик служения Христу и Церкви там, где ему не дают себя выявить темные силы мира сего. Да благословит Господь «Вестник» и да поможет ему и дальше нести свою миссию.

Протоиерей Алексей Князев

26.X.71

Редакция „Русской Мысли“ горячо поздравляет „Вестник Р.С.Х.Д.“ с его сотым юбилейным номером и от души приветствует его за большое и полезное русское и православное дело, одинаково нужное как в Советском Союзе так и за рубежом.

Поздравление Св. Владимирской Духовной Академии
см. на стр. 43

СОВЕТСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ О «ВЕСТНИКЕ»

Печатаем ниже извлечения из брошюры А. В. Белова и А. Д. Шилкина «Религия в идеологической борьбе», Москва 1970, 62 стр., тираж 90.000 экз. В перечне зарубежной периодики (*Возрождение, Русская Мысль* и др.) *Вестнику* уделяется самое почетное место. Вторая часть брошюры посвящена критике радиопередач, в частности Майкла Бурдо и архиеп. Иоанна Сан-Францисского. Как показывают нижеприведенные отрывки, «Вестник» печатается не даром. **Прим. Ред.**

...На столе начальника Московской таможни десятки книг, брошюр, листовок. Разноцветные обложки, разный формат, различные заголовки. Но все эти издания объединяются одним названием «идеологическая диверсия». Так именуется в протоколах таможенных служб литература, в которой проповедуются чуждые советским людям реакционные идеи, литература, которую любыми способами западные пропагандисты стремятся забрасывать в нашу страну. Они нагружают ею туристов, переправляют в письмах, направленных в случайно добытые адреса советских граждан, когда есть возможность, вкладывают в ящики с различным оборудованием, которое по торговым соглашениям приходит в нашу страну из западных стран. Эту литературу пытаются распространять некоторые иностранные дипломаты, гиды организуемых в СССР международных выставок, туристы.

Анализ этих изданий позволяет определить те основные направления, по которым ведется целенаправленная пропаганда пропагандистскими центрами буржуазных стран. Прежде всего делается попытка подвергнуть резкой критике марксистско-ленинское учение, ошельмовать его, показать его «несостоятельность». Причем, в литературе, о которой идет речь, борьба против марксизма-ленинизма ведется с позиций христианства, правда, христианства, подновленного и подчищенного, христианства в идеале. Для этой цели поднимаются писания таких представителей русской религиозно-идеалистической философии, как Н. Бердяев, И. Ильин, С. Булгаков, С. Франк и другие. Широко пропагандируются идеи В. Соловьева, который рекламируется как «гениальнейший русский философ всех времен». Не случайно на Западе в последнее время переиздаются работы этих реакционных философов, предпринято издание полного собрания сочинений В. Соловьева.

Западные пропагандисты, возрождая имена указанных философов, стремятся пробудить к ним интерес в России, полагая, что их труды могут весьма успешно воздействовать на сознание людей в «желательном направлении». Правда, они выдают желаемое за действительное, утверждая, как это делается в ежемесячном обзоре института по изучению СССР в Мюнхене за март 1969 г., что в настоящее время в среде молодой советской интеллигенции возник «огромный интерес» «к русской религиозно-мистической философии начала этого века, к идеям Владимира Соловьева, Бердяева, Лосского и др.». В подтверждение этой мысли указывается, что идеям В. С. Соловьева были посвящены статьи в журналах «Вопросы философии» и «Наука и религия».

Но можно ли на этом основании делать «выводы об «огромном интересе» советской интеллигенции к религиозно-мистической философии»? Марксистский анализ различных идеалистических течений, в том числе русской религиозно-идеалистической философии XIX — начала XX в., всегда был предметом исследований историко-философской науки в нашей стране. И то, что в последнее время появляются статьи, вскрывающие реакционную сущность воззрений философов-идеалистов, вполне естественно. Но таковы уж приемы западной пропаганды, фальсифицирующей истинное положение вещей.

Западная реакция, вкупе с руководителями тех религиозных организаций, которые давно подменили сугубо религиозную деятельность политической, не случайно делает ставку на русскую религиозно-идеалистическую философию конца прошлого — начала нынешнего столетия. Религиозной философией прикрывается идеология антикоммунизма, признанными представителями которой до сих пор на Западе считаются и Н. Бердяев, и И. Ильин, и С. Франк. При этом следует иметь в виду, что эти философы в своих трудах выступали с критикой пороков капиталистического общества, слишком очевидных и явных. Это придает им видимость объективного подхода к действительности. Однако критика буржуазного образа жизни велась не во имя ниспровержения несправедливого социального строя, а для ликвидации тех его слабостей, тех противоречий, которые подрывают его устои. Речь, таким образом, шла о спасении буржуазного общества.

Выход указанные философы видели в христианстве, в религиозной вере, но в христианстве обновленном, которое сможет удовлетворить духовные запросы людей. Ратуя за обновление религии, за трансформацию общества на истинно-христианских

началах, они обрушивались на коммунизм, на научно-материалистическое мировоззрение, стремясь всеми силами ошельмовать, показать их несостоятельность. Уже из названий работ этих философов видна направленность их исследований. В 1969 г. в издательстве YMCA-Press в Париже вышел сборник работ Н. Бердяева, И. Ильина, *), С. Франка «Христианство, атеизм и современность». В него вошли статьи Н. Бердяева «Марксизм и религия», «Правда и ложь коммунизма»; И. Ильина *) «Материализм и материя»; С. Франка «Материализм как мировоззрение». Заметим, что книга эта вышла в издательстве YMCA (христианского союза молодых людей), одним из организаторов которого был сам Бердяев, недвусмысленно заявлявший, что данное издательство должно идеологически вооружать людей в борьбе против коммунизма.

Было бы неверно недооценивать возможность тлетворного влияния работ представителей русской религиозно-идеалистической философии на сознание людей. Нужно иметь в виду, что очень умело преподносится религиозная идеология, проповедуется утонченный клерикализм, который, по словам В. И. Ленина, более опасен, чем откровенно грубые формы религии. В них можно найти «левые», с точки зрения религиозной ортодоксии, фразы, критические высказывания по поводу порядков, существующих в капиталистическом мире, суждения, которые могут создать впечатления о демократизме тех, кто их высказывает. Все это может ввести в заблуждение читателя. Именно на это и делается расчет. Проповедь «революционности христианства» и «буржуазности марксизма», попытки доказать несостоятельность научного материализма, убедить, будто марксизм есть «устарелое учение», нуждающееся в замене, — это те козыри, на которые современный антикоммунизм делает ставку в своей игре.

Работы русских философов-идеалистов, о которых идет речь, в большом ходу на Западе. Они не только выходят отдельными изданиями, их перепечатывают выходящие на русском языке газеты и журналы, включают в изготовленные фотоспособом сборники, предназначенные для засылки в Советский Союз. Так, например, их можно встретить в сборниках «Православное дело», которые издает братство «Православное дело» в Женеве, официально объявившее, что считает одной из своих задач распространение религиозной литературы в СССР. Из номера в номер

*) Авторы ошибаются: не И., а В. Ильин. Прим. Ред.

печатает эти работы выходящий во Франции «Вестник русского студенческого христианского движения», тоже не скрывающий своих целей. В последнее время, в частности, на страницах белоэмигрантской газеты «Русская мысль», издающейся в Париже, периодически появляются объявления редакции «Вестника». Газета призывает всех, кто желает внести свою лепту в дело борьбы с коммунизмом, оказать материальную поддержку журналу русского студенческого христианского движения. Эти материальные средства, как говорится в объявлениях, будут использованы для увеличения тиража, часть которого предполагается использовать для воздействия на сознание тех людей, «которые еще не приняли сердцем своим христианство». Иными словами, речь идет о забрасывании журнала в Советский Союз.

Реакционные православные церковники на Западе проявляют большую активность. Они пишут объемистые трактаты, статьи, издают свои проповеди, имеющие одну определенную направленность. Об этой направленности достаточно красноречиво свидетельствует, например, вышедший в 1953 г. в Нью-Йорке сборник «Православие в жизни». В сборнике приняли участие и старые деятели православия, оказавшиеся в эмиграции, в течение нескольких десятилетий не перестававшие вести борьбу с Советской властью, которая лишила их привилегированного положения в России. Это и протоиерей В. Зеньковский и профессор богословия Н. Арсеньев и доктор церковных наук А. Карташов. Наряду с ними в числе авторов сборника значатся более молодые церковные деятели на Западе А. Шмеман, А. Князев, И. Мелиа и другие.

Перелистывая страницы сборника, невольно обращаешь внимание на то, что православные богословы, которые, казалось бы, должны быть далеки от «мирских» дел, а заниматься непосредственно проблемами теологическими, на самом деле в гораздо большей степени интересуются именно земными вопросами. Весь сборник проникнут ненавистью к советскому строю. Причем, если в одних случаях антисоветские взгляды авторов подаются в более или менее завуалированном виде, то в других они излагаются столь откровенно, что вполне правомерно возникает вопрос, где же границы, отделяющие богословие от политики.

Характерны в этом отношении писания А. Карташова «Церковь и государство» и «Православие и Россия». Оплакивая «утраченную» «святую Русь», престарелый рясоносец мечет громы и молнии в адрес Советского государства, осыпает бранью истори-

ческие завоевания нашего народа. Он клеветает, лжет, обливает грязью Советскую власть, предрекает ей гибель.

Мир развивается по своим законам. Историю нельзя повернуть вспять. Этого не хотел понять А. Карташов, не хотят понять ему подобные. И сколько бы они ни называли власть народа властью Сатаны, сколько бы ни призывали силы небесные покарать «антихриста», их призывы так и останутся «гласом вопиющего в пустыне».

Следует заметить, что православные богословы занимаются прямым подстрекательством, призывая к новым «крестовым походам» на СССР. Им совершенно безразлично, какими пагубными последствиями чреват такого рода призывы. А. Карташов заявляет, что изменить положение в СССР невозможно эволюционным путем. Он верит, что скоро «все взорвется», если даже придется пройти «через катастрофу». Он призывает «к крепчайшему стоянию со знаменем Христовым даже в арьергардных боях». Что же, и это было. Были служители церкви, носившие под рясой обреты, участвовавшие в боях в белых частях Деникина и Врангеля. Но конец их оказался бесславленным. Об этом не мешало бы помнить глашатаям новых походов на Восток, среди которых оказываются и реакционные православные церковники, подвизающиеся на Западе.

Обращает на себя внимание и следующий факт. Обычно церковники, принимающие участие во враждебных акциях западных реакционных кругов против СССР и других социалистических стран, отрицают свое причастие к политике: они-де занимаются исключительно миссионерской деятельностью, несут «правду Христову» людям. Однако в сборнике «Православие в жизни» в ряде статей реакционные деятели церкви предстают без масок, прямо заявляя, что возлагают особые надежды на православие в борьбе за «преобразование России». А. Карташов, в частности, пишет: «Свободное православие, стоящее на своих собственных ногах, наряду с другими верами своей внутренней силой вновь вернет России, как собирательному, имперскому и культурному целому, свою печать, свою икону — икону св. Руси».

Здесь все сказано без обиняков, поставлено все на свои места. На православие, на христианство, на религию возлагается особая миссия — миссия борьбы за социальное преобразование России. И как закономерный вывод следуют призывы к участию во враждебных акциях против Советского государства, к идеоло-

гическим диверсиям, к активизации деятельности церкви в идеологической борьбе.

Сборник «Православие в жизни» — не единственное издание, в котором в религиозной форме проповедаются идеи далеко не религиозные. Большинство выпускаемых в западных странах религиозных изданий на русском языке выходит по своему содержанию за рамки религии, сплошь и рядом религия занимает в них вообще второстепенное место, ибо в конечном счете зачатую играет сугубо служебную роль, в то время как на первый план выступает политическая идеология.

...Обзор выпускаемой на Западе литературы на русском языке был бы неполным, если не упомянуть об эмигрантской периодике, в которой в большей или меньшей степени затрагивается религиозная тематика, совершенно естественно одобренная политической приправой. В этом отношении показательным является выходящий вот уже 34 года в Париже «Вестник русского студенческого христианского движения», журнал, имеющий свои представительства в США, Англии, Бельгии, ФРГ, Канаде, Швеции. «Русское студенческое христианское движение за рубежом» — реакционная белоэмигрантская организация, программа которой говорит сама за себя. Движение это, как говорится в «Вестнике» № 1—2 за 1969 г., «имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения православной церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом». И далее «РСХД утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к русской православной церкви налагает на нас духовные обязательства... Мы видим наш долг... в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа».

Это кредо понятно от начала до конца. А практика деятельности РСХД подтверждает мысль о том, что руководители «движения» давно поставили его на службу тем реакционным западным кругам, которые не прекращают операций «психологической войны» против СССР, осуществляют идеологические диверсии против нашей страны.

Обнародывая свою программу, руководство РСХД заявляет, что ставит задачей подготовку «защитников церкви и веры, спо-

собных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом». Нетрудно понять, что кроется за этими словами, какого рода «защитники веры» подготавливаются «движением». Само собой разумеется, что речь идет о подготовке воинствующих антикоммунистов, людей, которых должны занимать прежде всего не внутрехристианские проблемы, а вопросы борьбы «с современным атеизмом и материализмом».

Видя свой долг «в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа», руководство РСХД оправдывает те кампании клеветы на Советский Союз, в которых оно принимало и принимает самое деятельное участие. Затаив злобу на Советскую власть, которая в годы Великой Октябрьской революции отняла все привилегии у «сильных мира сего» в России, руководители движения не могут забыть, что и они оказались у разбитого корыта. Так ничего и не поняв за 50 с лишним лет, они продолжают ненавидеть Советский Союз, новое поколение русской эмиграции стремятся воспитать в духе ненависти к коммунизму, к Советской власти, используя для объединения молодежи движение, прикрываемое, казалось бы, невинной вывеской «студенческого христианского движения».

Но одно дело вывеска, а другое — сущность этого объединения, о котором в полной мере дает возможность судить «Вестник». О его направлении можно прочесть в передовой статье, помещенной в № 3 за 1969 г. и принадлежащей перу члена редакционной коллегии, откровенного антикоммуниста Никиты Струве. Излагая позиции журнала, он высказывает опасение за то, что в результате революционных движений происходит «угасание духа» людей, причем этот процесс, начавшийся на Востоке, перекинулся и на Запад. Тревога Н. Струве выливается в призыв: «Мы должны возвысить голос против сознательного его (духа) угашения и удушения на Востоке, в коммунистических странах от Дуная до Амура и Янцзы».

Подумать только, сидя в Париже, этот христианский деятель совершенно бесцеремонно предлагает вмешиваться в те процессы, которые происходят в других странах, ничуть не задумываясь над тем, что это не его вотчины, а суверенные государства, которые вправе выбирать свой путь, независимо от суждений господина Струве. Но именно такая бесцеремонность характерна для христианских деятелей, которые, стремясь вывести религию из кризиса, пытаются найти выход в союзе с самыми реакцион-

ными силами на Западе, тоже проявляющими особый интерес к социалистическим странам, делающим все возможное, чтобы остановить закономерный ход истории, повернуть ее вспять.

В статье Н. Струве прямо говорится, что в «Вестнике» центральное место всегда будет занимать «проблема России», что в нем будут печататься материалы о положении в СССР, о преследованиях верующих в Советском Союзе (такие клеветнические статьи то и дело печатаются в реакционных изданиях на Западе), о злоупотреблениях властей (и эти лживые факты давно используются западной реакцией). Хорошо понимая, что вполне естественно может возникнуть вопрос, почему «Вестник», который называется журналом христианским, начинает заниматься вопросами политическими, Н. Струве заявляет, что, печатая подобные материалы, «Вестник» не нарушает принципиальной установки быть не столько вне, сколько над политикой, ибо, по его словам, вести борьбу «за раскрепощение человека» — «задача не политическая, а духовная и нравственная».

Что ж, оставим на совести Н. Струве его поразительную «неосведомленность» в вопросе о том, что является политикой. Эта «неосведомленность» характерна не только для него, но и для многих других религиозных деятелей на Западе, которые занимаются не столько теологией, не столько внутри-церковными делами, сколько политиканством, принимающим крайние формы. Решить же вопрос о том, какое место в «Вестнике» занимает религия, а какое — политика, может помочь ознакомление с содержанием самого журнала. А оно говорит само за себя. На страницах «Вестника» материалы на чисто религиозные темы занимают, как правило, очень незначительное место. Подавляющее же большинство статей, очерков, заметок посвящено проблемам, выходящим за рамки религии.

Значительное место на страницах «Вестника» занимают публикации русских религиозно-идеалистических философов, специально подобранные, в большинстве случаев написанные уже в эмигрантский период, что, естественно, наложило отпечаток на их содержание. Это сочинения Н. Бердяева, С. Булгакова. Особо часто появляется в «Вестнике» имя И. Ильина, (1) без зна-

(1) Тут авторы брошюры проявили явную недобросовестность. Имя Ивана Алексеевича Ильина появилось в «Вестнике» лишь раз, 19 лет тому назад, когда был напечатан небольшой отрывок из его книги *Аксиомы религиозного опыта* (№ 24, 1952). Прим. Ред.

ния произведений которого, как заявляют западные пропагандисты, «невозможно вести успешную борьбу с коммунизмом».

Всячески рекламируя писания этих философов, журнал периодически помещает статьи о них, об их вкладе «в антикоммунизм». Показательна в этом отношении помещенная в № 3 «Вестника» за 1969 г. статья Н. Зернова «Русское религиозное возрождение XX века», который стремится дискредитировать идеи Великой Октябрьской революции, ошельмовать марксизм, противопоставив ему «русское религиозное возрождение» в лице Струве, Булгакова, Бердяева, Франка и других. Он доходит до того, что называет «замечательным сборником», «пророческой книгой» выпущенный еще в 1909 г. сборник «Вехи», который В. И. Ленин определил как «энциклопедию либерального ренегатства», ибо авторы «Вех» выступили с благословением царской власти, с решительным осуждением материализма, революционного и демократического движения в России того времени. Н. Зернов клеветает на Советскую власть, в воинственном раже сопоставляя ее даже... с фашизмом. Он требует перемен в России и указывает, что писания «представителей русского ренессанса» являются «драгоценным даром сокровищнице православной культуры», тем идейным оружием, которое может быть и в настоящее время достаточно эффективным в борьбе с коммунистической идеологией.

И это все на страницах христианского журнала! Да причем же тут христианство, вправе поставить вопрос читатель. Но издатели «Вестника» давно уже не замечают границ, которые отделяют религию от политики, христианство от антикоммунизма. Сплошь и рядом они выступают в едином строю со злобными антисоветчиками, антикоммунистами, посвятившими себя борьбе с силами прогресса, мира, подлинного гуманизма.

То и дело на страницах «Вестника» появляются клеветнические статейки о будто бы непрекращающихся репрессиях против верующих в СССР, о произволе местных властей, о беззакониях, творящихся в России. Эти вымыслы подхватываются, подаются как абсолютно достоверные. Смысл подобных акций, заключается в том, чтобы дезинформировать общественное мнение, исказить истинное положение вещей, вызвать у читателей ненависть к советскому строю, к советским порядкам любой ценой, даже ценой откровенной лжи и клеветы.

Для большей убедительности печатаются сфабрикованные буржуазными пропагандистами статейки, якобы полученные не-

посредственно из России, непосредственно от очевидцев «страшных событий», происходящих в Советском Союзе. Под рубрикой «Голоса из России» в большинстве случаев публикуются откровенные фальшивки, сомнительные домыслы, снабженные тенденциозными комментариями.

«Вестник» охотно пользуется любыми материалами из любых изданий, если данные материалы отвечают тем замыслам, которые ставит перед собой журнал. В этом православном журнале, например, печатается статья протестанта, англиканского пастора Майкла Бурдо «Русская церковь приближается к рубикону», заимствованная из английской газеты «Church Times». Но деятелям, выпускающим «Вестник», совершенно безразлично, кто автор статьи. Православие рассматривает протестантизм как «ложную веру», но охотно предоставляет трибуну для выступления представителю «ложной веры», если тот обрушивается на Советскую власть. Примечательно, что англиканский пастор Бурдо в своей статье требует пересмотра политики Советского государства к русской православной церкви, которую он в своих теологических писаниях называет «ложной церковью». Единство достигается на почве антисоветизма, антикоммунизма.

Примечательно, что в «Вестнике» можно обнаружить, например, статью о преследовании старообрядцев в СССР. Много столетий ведут споры о вере православие и старообрядчество. Можно вспомнить исторические факты о преследовании православными церковниками старообрядцев. Ныне же «Вестник» проливает крокодиловы слезы, публикуя клеветническую статейку о якобы «трудном» положении старообрядчества в Советском Союзе. Трудное положение заключается-де в том, что архиепископ Иосиф тяжело болен и стар (это было написано еще при жизни Иосифа. — Авт.), что храмы обветшали. При этом делаются бездоказательные выводы о том, что «советские власти принимают все меры к тому, чтобы изнутри разложить старообрядческую архиепископию». В подтверждение не приводится достаточно убедительных фактов, читателям предлагается верить на слово.

В своих измышлениях о преследовании верующих — старообрядцев «Вестник» доходит до того, что заявляет, будто со старообрядческих священнослужителей берут повышенную квартирную плату! Думается, что в редакции хорошо знают цену подобным статейкам, понимают ложность такого рода нелепых домыслов. И все-таки печатают их.

То, что старообрядческая церковь действительно пережива-

ет кризис — не секрет, но дело не в попытках разложить ее извне. Изжившее себя старообрядческое вероучение, обветшалые догмы, устаревшие безнадежно традиции, анахроническая обрядность — вот что в первую очередь обусловило кризис старообрядчества. Если те церкви, которые идут по пути обновления, стараются не отстать от времени, приспособиться к современности, еще могут в известной степени сохранять свои позиции в наши дни, то старообрядчество уже много лет находится в упадке. Церковь не может привлечь к себе молодежь, если и пополняется только за счет членов семей верующих. А без притока новых членов церковь обречена на неизбежное отмирание. Такая судьба выпала и на долю старообрядчества. Поэтому нет совершенно никаких оснований видеть причину кризиса в старообрядческой церкви в преследованиях верующих и священнослужителей, в преследованиях, которых не было и нет.

Нужно обратить внимание и на следующее. На страницах этого христианского журнала периодически появляются статьи, являющиеся своеобразным отзвуком очередной антисоветской шумихи, раздуваемой западной пропагандой.

За последние годы, например в «Вестнике», появилось немало материалов, посвященных «творчеству» Снявского и Даниэля, пресловутого Тарсиса. (2) Целый ряд статей посвящен творчеству А. Солженицына.

(2) Опять поразительная недобросовестность. Увы, материалов посвященных творчеству Снявского, Даниэля и Тарсиса в Вестнике не было. Прим. Ред.

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Прот. Алексей КНЯЗЕВ



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ *)

(К сорокалетию Пшеровского Съезда)

В 1968-ом году Р.С.Х.Д. должно было праздновать 45-ую годовщину Пшеровского съезда, который положил ему начало как организации и определил всю его идеологию. Но в дни, когда должно было совершиться празднование этого юбилея, произошла трагическая кончина о. Петра Струве, которая глубоко потрясла и Движение и весь православный Париж. Торжественное собрание, посвященное Пшеровскому съезду и его значению в истории Р.С.Х.Д., было отменено в знак траура. Но долг напомнить об этом событии продолжает лежать на Движении, тем более что большое количество его нынешних членов родилось уже значительно позднее Пшеровского съезда. Чтобы этот долг был исполнен, я посвящаю Пшеровскому съезду слово, которое меня просили сказать на настоящем собрании членов и друзей Р.С.Х.Д., созванном по случаю дня празднования Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Пшеровским этот съезд называется потому, что он состоялся в Пшеровском замке около Праги, в Чехословакии. Это было с

*) Слово, сказанное 4 декабря 1970 г. в день праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, на собрании членов и друзей Р.С.Х.Д.

10 по 17 октября 1924 года. На съезде собрались представители религиозных кружков молодежи, которые, с самого начала эмиграции, стали возникать во всех местах русского рассеяния и в которых группировалась выехавшая из России после всех потрясений, связанных с великой войной, революцией и гражданской войной, обратившаяся к вере молодежь. Кружки эти возникали по типу тех кружков, которые начали возникать до войны 1914 года в России, в студенческой среде, когда в последней намечались первые признаки религиозного возрождения и стал пробуждаться религиозный интерес.

Движению этому особенно способствовал приезд в Россию и выступления барона Николаи, состоявшиеся незадолго перед началом первой мировой войны. Кружки эти стали возникать в университетских городах. Они объединяли главным образом студенческую молодежь, но к ним тоже присоединились некоторые профессора (С. Н. Булгаков). Кружки эти, по преимуществу, изучали Священное Писание. Но работа велась внеконфессиональным образом, помимо всякой связи с Церковью, ее вероучением, ее иерархией, то есть по типу работы тех протестантских кружков, представителем которых был именно сам барон Николаи, вдохновивший все это студенческое религиозное движение в России. То, что таким образом наметилось в дореволюционной России, одинаковым образом проявилось в разных центрах русского рассеяния в начале эмиграции. Очутившаяся за границей, оторванная событиями от России молодежь поставила перед собой вопрос о смысле жизни и за ответом на него потянулась на путь к вере. Стали возникать повсюду кружки по образцу русских студенческих кружков при дореволюционных университетах. Их возникновению способствовали оказавшиеся за границей участники этих дореволюционных кружков: д-р Л. Н. Липеровский, А. И. Никитин, В. Ф. Марцинковский, И. К. Краевич (Юрьева) и другие. Но кружки эти возникали тоже сами по себе. После нескольких лет интенсивной работы порознь, почувствовалась необходимость встречи, принятия плана совместной деятельности, сговора на положениях, определяющих общую идеологию. Из этой мысли родился Пшеровский съезд, который смог состояться благодаря братской поддержке иностранных и инославных друзей и на который собрались 33 человека делегатов из тогдашних центров русского зарубежья.

Какие центры были представлены на съезде? Это были, в первую очередь, три больших русских эмигрантских центра того времени: Прага, Белград и София. Но, наряду с ними, прислали

своих делегатов менее значительные, но впоследствии разросшиеся центры: Прибалтика, Берлин и Париж. Из профессоров приняли участие на Пшеровском съезде прот. С. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, А. В. Карташев и Л. А. Зандер. Из студенческой молодежи приехали в Пшеров С. М. Зернова и ее брат Н. М. Зернов, А. Ф. Шумкина, Ю. Рейтлингер (впоследствии монахиня Иоанна), А. В. Оболенская (впоследствии монахиня Бландина), П. Т. Лютов (ныне протоиерей Вашингтонского собора), Ф. Т. Пьянов (недавно скончавшийся). Приняли также участие на съезде некоторые деятели студенческого христианского движения в дореволюционной России: ныне покойные А. И. Никитин и Л. Н. Липеровский (ставший впоследствии диаконом, потом священником) и проживающий в Ю. Америке В. Ф. Марцинковский. Из инославных друзей был на съезде Д. Н. Лаури. Съезд посетили несколько православных иерархов: чешский архиепископ Савватий, русский Пражский епископ Сергей и б. севастопольский епископ Вениамин.

Что совершилось на Пшеровском Съезде? — Встреча верующей русской студенческой молодежи с Церковью. Приехали в Пшеров студенты или представители молодой интеллигенции, люди типа участников русских дореволюционных студенческих кружков, христиански настроенные, но еще не сознающие необходимости Церкви, евхаристии, таинств, догматов и иерархии, может быть даже частично враждебные всякой церковности, а уехали из Пшерева люди глубоко православные, убежденные в истинности и необходимости Церкви, твердо решившие служить Христу в Его Церкви и через Его Церковь.

Как такое обращение могло произойти? Ему, конечно, способствовали, в первую очередь, блестящие доклады Н. А. Бердяева, о. Сергия Булгакова, А. В. Карташева, который прямо начал свою речь с евангельских слов: «... если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе...» (Ио. 4,10).

Доклады эти, зажигая слушателей и своим содержанием и блеском своей формы, раскрывали и как бы воочию показывали сущность Церкви как продолжение тайны Христова пришествия. Но большое значение имело ежедневное совершение служб сугубо точного круга: вечерни и утрени, а также литургии, причем последняя, первоначально, даже не была включена в расписание съезда. Многочисленные также беседы владыки Вениамина, который провел на съезде четыре дня и который, в живом общении с его участниками, делился своим богатейшим опытом посещения монастырей, сопровождавшихся встречами с самыми

выдающимися представителями православной духовности. Пред участниками съезда таким образом предстала вся жизненная истина православия во всей ее красоте и силе, с ее способностью захватывать человека, заставить его полюбить Христа и Церковь, и, затем, вдохновлять его во всех областях его жизни.

Съезд завершился всеобщим причащением за последней литургией, которой предшествовала ночная исповедь, сопровождаемая бдением и молитвою, а для некоторых, не привыкших к церковной обрядности, даже духовным борением... Участники съезда расстались при пении пасхальных песнопений и возвратились к себе людьми внутренне измененными самым радикальным образом, рожденными в новую творческую жизнь во Христе и в Церкви.

Покойный о. Василий Зеньковский, который был тогда еще просто проф. В. В. Зеньковским и который после Пшеровского съезда оказался бессменным председателем Р.С.Х.Д. до самой своей кончины, говорит об этом съезде как об одном из крупных событий истории не только христианского движения среди русской молодежи, но и русской интеллигенции вообще.

После Пшерева Движение оформилось, получило свою структуру, которая им сохраняется до настоящего времени; оно тоже окончательно восприняло церковную идеологию и решительно встало на церковный путь. Но, встав на этот путь, оно оставалось открытым для всех активно ищущих веры и богознания. Благодаря продолжающейся работе своих кружков во всех местах русского рассеяния, Движение оказалось одним из важнейших факторов, ускоривших процесс возвращения русской зарубежной интеллигенции в Церковь. Если до Пшерева стоял, по словам того же о. В. Зеньковского, перед русской верующей студенческой молодежью недоуменный вопрос, определяемый формулой «мы и Церковь», то после Пшерева перед той же молодежью, как и перед всей русской зарубежной интеллигенцией, встала жизненная тема: «мы в Церкви». Надо было уже искать, как служить Христу через Церковь и творчески активно проходить путь этого служения.

Вся дальнейшая история Русского Студенческого Христианского Движения показывает, что последнее продолжало неуклонно следовать на этом пути и на нем утверждаться. Рассказывать подробно эту историю мы здесь не имеем возможности. Приведем лишь некоторые факторы, красноречиво свидетельствующие об устремленности Р.С.Х.Д. к оцерковлению как своей собственной жизни, так и жизни всего русского общества. Таковы создание

и укрепление парижского центра Р.С.Х.Д., имеющего своим духовным средоточием Введенскую церковь. Таково участие Р.С.Х.Д. в создании парижского Свято-Сергиевского Богословского Института. Такова церковная работа в детских и юношеских лагерях, организуемых Р.С.Х.Д. Таково огромное количество пастырей, вышедших из рядов Р.С.Х.Д. в годы перед второй мировой войной. Война 1939 года и последующая за ней оккупация сделали работу кружков и лагерей невозможной. Тем не менее, все оставшиеся в Париже члены Р.С.Х.Д. неуклонно посещали свою Введенскую церковь, активно участвовали в богослужениях и устраивали при ней, когда это было возможно, собрания миссионерского и церковно-культурного характера. Но, как только кончилось испытание военных лет, Р.С.Х.Д. с новой энергией и с присоединившимися к нему новыми силами развернуло свою церковную и просветительную работу в самых широких масштабах. У всех на памяти миссионерские поездки, устраиваемые Р.С.Х.Д. в самые отдаленные православные приходы, находящиеся во французской провинции. Все также помнят длинную, непрекращающуюся серию юношеских лагерей, съездов в Бьевре и тоже продолжающиеся по сей день работы школы Р.С.Х.Д., участие в экуменическом движении, сотрудничество с другими церковными организациями молодежи, объединенными в мировом союзе Синдесмос, и т. д. Вся эта работа, несомненно, протекала в духе опыта, пережитого в Пшерово. Вся она вела к самоутверждению в церковном сознании, к углублению жизни в Церкви, к привлечению всех к исканию личного пути служения Христу в Церкви и через Церковь...

Скоро Движению будет предстоять праздновать 50-ую годовщину Пшеровского съезда. Многие из его участников уже покойные. Переменилась вся обстановка. Изменился тоже состав Движения. Так, например, во Франции, наряду с молодежью русского происхождения, родившейся и выросшей на Западе, членами Движения становятся православные природные французы. Перед Движением неожиданно встала новая задача: вести церковную работу уже не по направлению русского, а местного, французского православия, перехода все больше и больше на французский язык. Но, вместе с тем, перед Движением открывается тоже современная Россия, Россия притесненная полувековым господством безбожной, материалистической власти, Россия притесненная гонениями на всякую живую мысль, но тем не менее ищущая, охваченная духовными брожениями, вопрошающая о правде и о смысле бытия человека на земле. Задача Движения

перед Россией столь же неотложная, как задача Движения перед Западом. И Запад и Россия сейчас одинаково нуждаются в свете православия. Христианский Запад охвачен сейчас неоарианской ересью: в его поисках улучшения материальных условий жизни человека на земле он забыл о дарованном во Христе спасении, он отвернулся от благодатного преобразования жизни в Святом Духе, он больше не верит в Воскресение Христа во плоти и не чает всеобщего воскресения; для него, как и некогда для Ария, Христос уже не истинный Богочеловек, Спаситель, Победитель греха и смерти, а, в лучшем случае, только учитель морали. Но уже многовековой опыт показывает, что отвлеченная мораль, не имеющая за собой ни божественного абсолюта, ни благодатной действительности, не имеют для человека никакой силы и даже убедительности; а всякая попытка построения без истинного Бога лучшего мира на земле неизбежно приводит к уничтожению не поддающихся исчислению человеческих жизней и к еще большему закреплению человека. Православие же прошло через опыт вселенских соборов, которые помогли Церкви не только глубже распознать и выразить на языке богословских понятий богооткровенные истины, но твердо убедиться в спасительном характере христианских догматов веры. Православие накопило также колоссальный опыт религиозной жизни во всех ее сферах, ведущий к подлинному живому знанию Христа в Духе Святом. Православие, поэтому, не может не свидетельствовать перед кризисом веры, переживаемом на Западе, об исконно христианском понимании истин, заключенных в Евангелии Царства, и об их освоении через жизнь в Церкви. И конечно, Движение и, вообще, как христианская организация, и, особенно, после того, что ему дано было познать на Пшеровском съезде, не может не содействовать всеми своими силами этому свидетельству. Так же оно не может не откликаться на духовный голод, который сейчас испытывают в России десятки, сотни тысяч людей. Движению дано было окрепнуть и развиться в значительной степени благодаря тому, что Промыслом определено ему было жить не под политическим гнетом марксистского и других тоталитаризмов, но в климате свободы, который Бог подает дышать некоторой части мира и по настоящий день. Наступает час и, наверное, уже наступил, когда Движению надо будет усиленно делиться накопленным им духовным и христианско-культурным капиталом с теми, которые лишились доступа к такому капиталу из-за отсутствия свободы мыслить и верить и, вообще, всякой свободы.

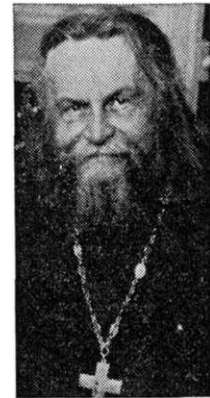
Таковы задачи, которые конец шестидесятых и начало се-

мидесятых годов текущего столетия поставили перед зарубежной русской верующей интеллигенцией вообще, и Движением, в частности. Эти задачи неотложны. Перед их неотложностью и одинаковой императивностью их характера теряют всякий смысл возникшие было в Движении споры о языке, на котором надлежит в настоящее время вести движенскую работу, о необходимости решительного и окончательного отказа от ориентировки на русское православие ради перехода к работе, исключительной своей целью имеющей укрепление и развитие местного, в частности французского православия. В современной мировой религиозной конъюнктуре такая организация как Р.С.Х.Д., прошедшая после Пшеровского съезда уже очень значительный путь на поприще церковно-культурной и религиозно-просветительной работы, не может не видеть для себя новое призвание откликаться не только на одни местные нужды, но вести работу, отвечающую на религиозные искания как России, так и всего христианского Запада. Конечно, нельзя не остановиться перед грандиозностью такого задания. Но надо осознать неизбежность его принятия для всякой православной организации, ставящей для себя миссионерские цели перед религиозным положением всего современного мира. Если же принятие такого задания представляется в настоящее время неизбежным, то не означает ли это, что оно лежит в воле Божией о всем современном православном мире? Если же выполнение его отвечает воле Божией, то оно сопряжено с ниспосланием благодатной помощи свыше. Здесь же необходимо вспомнить знаменательные слова апостола Павла, долженствующие служить путеводной звездой для всякого верующего: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филип. 4,13). Уместно при этом заметить, что слова эти были написаны апостолом языков во время его пребывания в заключении, в столице Римской империи.

Движению, поэтому, сейчас необходимо предпринять усиленную подготовку для проведения этой работы. Подготовка эта должна проходить в области церковно-культурной. Но она также должна проходить в области духовной. В этой же последней области Движению предстоит продолжить и, особенно, углубить опыт, полученный и пережитый в Пшерово. О необходимости же углубить и постоянно углублять этот опыт напоминает нам сегодняшний праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, ставший с момента того же Пшеровского съезда праздником Движения. Почему был сделан такой выбор? Потому что праздник этот был воспринят как призыв к воцерковлению всей жизни.

Воцерковление жизни стало знаменем, под которым совершается вся работа Р.С.Х.Д. Но в чем заключается суть воцерковления жизни и каким образом должно оно осуществляться? Конечно, не одним внешним образом, а при старании, чтобы им оказалось затронутым все существо тех, кто стремится к нему. Пресвятая Богородица была приведена в ветхозаветный храм не для того, чтобы просто в нем пребывать, но чтобы готовиться к Богоматеринству, через которое при вселении в Нее Духом Святым Сына Божия Она стала истинным Храмом, то есть местом подлинного пребывания Божества. Не надо забывать, что Божия Мать есть предельное выражение тайны Церкви, как Тела Христова и Храма Святого Духа. Совершившееся в Ней через Боговоплощение имеет осуществиться благодатно в каждом члене Церкви, а именно лишь по благодати каждый из нас должен родить в себе Христа, во исполнение слов апостола Павла: «не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,18). Перед неизбежностью фактического свидетельства Христова для всего мира, не знающего или не принимающего ни Его Божественного достоинства, ни принесенного Им дара приобщения человека к Божественной вечности, необходимо глубже погрузиться в эту тайну христианской жизни. И потому Движению предстоит уже не только искать путей служения в Церкви, но стараться полнее являть в себе самом истину о Церкви как богочеловеческом организме. До Пшеровского съезда Движение было в недоумении относительно необходимости своей принадлежности к Церкви. После опыта, пережитого в Пшерове, быть в Церкви, служить в Церкви стало для него жизненной очевидностью. В настоящее время обрисовывается необходимость новой формулы: уже не только «мы в Церкви», но также «в нас Церковь». В нас Церковь в том смысле, что мы должны стараться воистине носить в себе ее таинственную благодатную сущность. В этом пребывающий залог нашего единства самой Церкви. В этом тоже залог получения мудрости от Божественной мудрости, ведущей к обретению всегда новых благодатных путей служения Христу и Церкви, а также дающей творчески искать решение задач, которые Бог ставит перед Церковью и которые Ему угодно будет еще поставить перед Нею.

Прот. Сергей БУЛГАКОВ
(1871-1944)



ВОСХОЖДЕНИЕ КО ХРИСТУ *)

(Слово на Введение во Храм Пресвятой Богородицы)

В благодатной тишине своей приближается празднование вхождения во храм Приснодевы. Это событие отмечено в Евангелии лишь многозначительным молчанием, так, как будто его и не было. Мы не удивляемся тому, ибо уже знаем, каким священным молчанием окружена в нем тайна «смирения Рабы Господней», и заранее смиряем себя в послушании ему, как ни просит испытующая мысль и любящее сердце хотя бы малого о том приоткрытия. Его дает скупой лишь церковное предание. И это священное молчание не обедняет, но обогащает душу, оно исполняет ее чувством невыразимости и неопишуемости торжественного Ее восхождения к горе Сионской, во святая святых храма Иерусалимского, и от этой наполненности духовной веселится сердце.

Не имея евангельского свидетельства, мы пророчески призываемся очами духовными созерцать небошественное сие восхождение, в коем Ее провождает Церковь Ветхозаветная и встречает ликами ангельскими Церковь Новозаветная: ибо Она сама есть этот Завет Бога с человеками, Ветхий и Новый и Вечный, и первосвященник по чину Авраама передает принятое сокровище грядущему в мир Первосвященнику по чину Мельхиседекову... Но как трудно воспринять тающееся в этом молчании, — не празднично и бездейственно, но творческим усилием, и как неприметно на место его вкрадывается рассеянность и пустота. Как легко спугивается в душах тишина громами войны и крикливостью внешних

*) Неизданная проповедь.

событий, и в них воцаряется вместе с испугом забота с многотрудностью дня, со всею ее цепкостью. И день праздника оказывается будним: пусто в храме, сколь многие против воли лишаются даже и того, что требует лишь наименьшего усилия, — участия в богослужебном праздновании этого Богородичного дня, который уже озаряется первыми светом грядущего Рождества Христова: «Христос рождается, славите». И в этот день нас настигает сумрачное не когда или не до того, и посещение богослужения ставится для многих как бы непосильною роскошью. А это внешнее бессилие не подменяется ли и внутренним, а неприсутствие — забвением, молчание — обобранностью души. Нам не дано уже сопровождать в храм восходящую в него Богородицу. Так совершается победа князя мира сего, победителя над душами. Да будет же вырвана у него эта победа радостью духовной, которая не отлетает, но вопреки всему чудесно подается чуткому сердцу и в дни мировой брани и среди мирового торжища. Ибо «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3,8).

Образ шествия во храм Богоизбранной Отроковицы стоит пред нами и зовет к себе и за собой. Куда и к чему этот зов? От мира к Богу. Восходящая во Храм Отроковица оставляет мир со всеми его благами, чтобы отдаться жизни иной чем в мире, и эта инакость есть Ее иночество, сначала с пребыванием в храме, а после и вне его... Что может каждый из нас расслышать в этом зове? Не смеем притязать на полноту и возвышенность этого подвига, но нет иного пути к Богу. Он отнюдь не есть лишь монашеское служение, но необходимо объемлет всякое посвящение себя Богу в сокровенности, ибо к каждому обращена заповедь Христова о любви: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою и всем разумением твоим» (Второзак. 6,5; Мф. 22,37). В сердце человеческом пламенеет светоч этой любви к Богу, и с ним мы призываемся, вместе и вслед за Приснодевой, совершать и свое восхождение. Неровным светом он горит в нас, то вспыхивая, то угасая. В своей свободе мы властны посвятить себя Богу, но и затвориться в себе, предаться миру и в нем омертветь. Мир же не легко уступает то, чем завладевает. Поэтому в человеке всегда происходит борьба духовная за его святая святых, и мы призываемся к ней со всей силой, со всей непримиримостью. Таково должно быть в нас и наше ж и з н е н и о е участие в ныне празднуемом, не со-радование только, но и со-подвижничество, ибо Богоотроковица, по ступеням восходя во храм, восходила и к крестному Своему подвигу. И этой свободы в избрании

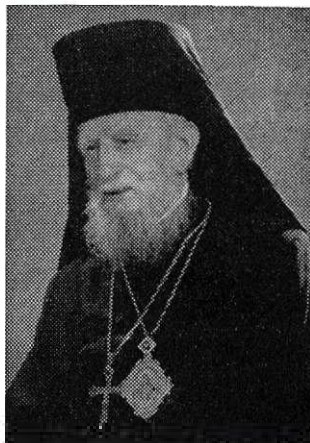
своего пути не могут лишить нас силы мира своим насилием, если мы сами не отдадимся ему духовно.

Восхождение из мира Богородичное ответствуется нисхождением к миру Божественным, происходит встреча Бога с человеком, устанавливается союз богочеловеческий. Вхождение во храм Приснодевы не есть лишь одно из ряда событий в Ее жизни, но оно осуществляется вне времени, как исхождение из тьмы, укоренение творения в Боге. В нем заключена великая святость человеческой детскости со всеми в ней таящимися возможностями и упованиями. Из недр прошлого, — от ограды Эдемского сада, который сокрылся от первозданного человека после его падения, путь восхождения во святая святых возводит к пещере Вифлеемской, месту Богорождения. Завершается же он и обетованным грядущим храмом на горе Сионской и «святым Иерусалимом, который нисходит с неба от Бога, он имеет славу Божию» (Откр. 21,10-11). Но человечеству п е р в о м у надо начать свое к Богу восхождение, дабы Он отвечал Своим к нему нисхождением. Это предвзвешение совершилось в Пресв. Богородице, введенной во Святаю Святых ветхозаветным первосвященником и имеющей вместить во «чреве Своем, пространнейшем небес» Невместимого. Творец спросил Свое творение, которое Ему отвечало не словом, но движением, в священном молчании. Этот образ святейшего детства, посвященного Богу, во всей его беззащитности, но вместе и неотразимости, сладкою силою овладевает сердцем. От него отречься, ему изменить в забвении или слепотством значило бы лишить себя святости и своего собственного детства, которое помимо сознания хранится в глубине души. И эта святость нашей собственной души связана таинственно и неизреченно с ведением о том, что «ныне в Храме Божиим ясно Дева является и Христа всем предвозвещает».

Потщимся же ответным усилием отозваться на этот зов праздника, в нашей душе звучащий. Подвигнемся мыслию и волею, освятимся молитвою, возгоримся любовью к Восходящей чрез храм земной в небесный и нас с Собою возводящей. Не неподвижность наша, которая неизбежно становится и противлением, но усилие к восхождению духовному да будет ответным откликом нашей души.

Аминь

Епископ АЛЕКСАНДР
(Семенов Тян-Шанский) *)



СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

1.

Смерть прежде всего отвратительна. В ней есть стыд, срам, поношение и гнусь.

Бог смерти не сотворил, но Он попустил ее. Если Он в пред-решенный Им срок посылает ангела смерти, то многие последствия смерти на земле это дело тех, о ком преподобный Серафим Саровский сказал, что они гнусны (бесы).

Приходилось видеть как в больнице выносят из палаты умершего. Его заворачивают в простыню, чтобы ничто не торчало, и на лицах тех, кто выносит, случается, можно заметить саркастическую улыбку. Она не обидна, естественна; несут неприятную вещь, уже нечистую... Смерть это конечно поругание.

Ужас и отвратительность смерти особенно чувствовал Бунин. В «Жизни Арсеньева» наличие в доме покойника, запах тления человеческого тела, будто все пронизывающий, описаны с особой силой. Уничтожающую силу смерти Бунин показал также в его знаменитом «Господин из Сан-Франциско». Ужасно прежде всего то, что человек, во всяком случае его тело, превращается в вещь, ненужную и такую, что вот-вот станет невыносимой, которую надо будет скорее зарыть, может быть сжечь или, как это бывает на кораблях, привязав камень, бросить в море.

*) Редакция Вестника приносит свои самые горячие поздравления, по случаю возведения в сан епископа, своему долголетнему сотруднику и другу Владыке Александру Семенову Тян-Шанскому (хиротония состоялась 4-го сентября 1971 г.).

Священникам случается бывать в гостинице, где одинокий жилец, оказывается, скончался уже 4-5 дней тому назад. В комнате невозможно служить панихиду; надо стоять или в коридоре, или на лестнице, наполняя кадило наибольшим количеством ладана.

Страшно и то, что вместе с человеком мертвеют его вещи, костюм, платье, недопитый стакан воды, недописанная рукопись и, в особенности, ботинки, сапоги, которым уже некуда идти.

Некоторые скажут, что все здесь отмеченное это следствие языческого отношения к жизни, к этой жизни; слишком большая привязанность к ней, как, например, у того же Бунина.

Отчасти это верно, но вполне ли?

То, что поется в церкви при отпевании, острее всего сказанного. Вспомним слова св. Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида», или дальше: «...Приидите, внуцы Адамовы, увидим на земли поверженного, по образу нашему все благолепие отлагающе, разрушена во гробе гноем, червями, тьмою иждиваема, землю покрываема».

Не естественно ли при этом постараться скрыть уродство смерти? Прихорашивание смерти еще больше подчеркивает ее безобразие. Во Франции похоронных дел мастера всегда прилично одеты, вежливы, манерны, подобны дипломатам, придворным... А в Америке, говорят, покойников отправляют в особые мастерские, где их гримируют под живого и приукрашивают. Затем возвращают домой и собираются вокруг гроба близкие люди и гости, угощаются и будто даже пьют коктейль.

2.

Но ужас смерти не только в телесном разложении, исчезновении. Гораздо мучительнее — это разлука. Правда, как недавно выразилась в одном прекрасном частном письме одна христианка, вся наша жизнь есть цепь разлучений и разлук. Но разлука при смерти, по крайней мере на первый взгляд, представляется окончательной, а за ней следует постепенно, почти еще более невыносимое, хотя и не остро переживаемое, забвение. Об этом в чине отпевания находим также пронзающие сердца слова: «Придите, последнее целование дадим, братие, умершему...», «Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание... целуйте бывшего вмале с нами... во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и друзей ныне разлучается».

3.

Но мало и этого: перед лицом смерти становится ясным, что вся жизнь наша пронизана ею... Самое время есть постоянная смерть, и как отмечает, например, Н. О. Лосский, — смерть человека есть только один из самых ярких примеров постоянной смертности... Ведь все уходит в прошлое. Об этом также находим слова Дамаскина: «...воистину суета и тление, вся житейская... вси бо исчезаем, вси умрем... Воистину суета вся человеческая».

Индуисты и буддисты, зная это, заключили, что жизнь всего мира это только марево, игра воображения, и что поэтому следует искоренить в себе самое желание жизни и тогда это гибельное марево, фантазия, магия прекратится... А что будет вместо этого? Это неясно... нирвана, некоторое растворение всякой личности в чем-то, что есть, конечно, покой и некая правда... Но жизнь ли это или смерть? На это пессимистичные религии и философии ясного ответа не дают... Во всяком случае, для них не существует личного Бога, так как самое наличие личности и есть для них причина мучительного марева, что мы зовем жизнью. Справедливо многие мыслители называют буддизм атеистической религией. Причина заблуждения этих религий, вероятно, в том, что они не различают понятий личности (открытой) и индивидуальности (самозамыкающейся).

4.

Эту пронизанность смертью нашей жизни, как мы видели из приведенных выше богослужебных текстов, сознают и христиане. Хорошо об этом написал в свое время в своей книге «*La vérité scandaleuse*» кардинал Даниелу: «Нынешняя жизнь это уже смерть, поскольку она обречена на смерть... То, что мы называем смертью... это лишь постоянное состояние разложения, достигшее высшей меры. Отцы Церкви... видели в нашей смерти образ любви Божией, так как она препятствует бессмертию смерти. Если дело касается надежды бесконечно продолжать жизнь в ее нынешнем состоянии мертвенности, это не что иное как стремление пребывать в аду. Наше несчастье глубже чем мы обычно это представляем... Человечество находится в плену смерти, и это страшнее всех экономических и социальных уз. Пессимисты правы, сознавая, что для человека нет возможности найти выход своими силами из трагического положения, но они не правы, предполагая, что никакого выхода нет... Настоящая жизнь это та, когда

человек в его целостности преодолевает биологическую свою порчу силою божественных энергий... Но победа над князем смерти и тьмы принадлежит только Христу... Подлинная жизнь это жизнь по Евангелию, движимая Духом Святым, Духом Любви».

5.

Вопреки всему сказанному об ужасе, даже позоре и оскорбительности смерти для человека и для всего творения, все же в данных условиях она необходима и обладает своей ценностью не только потому, о чем так верно напомнил Даниелу, но и потому, о чем особенно хорошо писал Бердяев. Смерть необходима еще как некоторое высокое мерило всякой ценности. Ею измеряется любовь, верность, мужество, бесстрашие и также надежда и вера... Только через добровольное принятие смерти насильственной или «естественной» измеряется вера в Божию всеблагость, в обещание вечной жизни: «В руки Твои предаю дух мой!»

Но некоторые формы нашей жизни, а именно жизни греховной совершенно невыносимы если не знаешь, что когда-либо их не пресечет смерть. Просто невозможно желать бесконечного существования, скажем, концентрационных лагерей, да и всех насилий, оскорблений человеческой свободы и достоинства... Это все уже хуже смерти... И особенно нестерпимо для человека наличие чего-то подобного в нем самом. Христианин, разумеется, не может оправдать самоубийство, но оно все же понятно в тех случаях, когда человек не в силах справиться со своей греховностью и все глубже вязнет в болоте и грязи греха.

Итак смерть ужасна во всех отношениях, но в условиях нашей пораженной греховной порчей жизни, она в некоторой мере необходима и может даже быть прекрасной. Это смерть мучеников, святых и героев... Но и это не может по настоящему оправдать смерть. Мы, христиане, твердо знаем, что «Бог смерти не создал» и что «последний враг истребитися смерть».

Да, этот враг, настоящий враг обесмысливает все. В наш век полетов на луну и имея уже довольно точное представление о других планетах, нельзя не ужаснуться отсутствию жизни, то есть наличию смерти, царящей в нашей планетной системе, кроме как на земле, где еще гнездится хрупкая жизнь... Не жутко ли думать о мириадах холодных или нестерпимо раскаленных мертвых тел... Крутящихся в мировом пространстве?

Про наше солнце, дорогое наше солнышко, которое мы не

можем не любить, наш замечательный поэт Фет гениально сказал «...мертвец с пылающим лицом».

А если и есть жизнь на других галактиках, то мы этого никогда не узнаем. Они удалены от нас миллионами световых лет, а скорость света предельна. Да к чему бы и узнавать про эту предположительную жизнь, когда нам известно, что все галактики также умирают!?

6.

Но так ли ужасна смерть, когда мы, верующие, знаем, а неверующие могут все же это представить, что существует или может существовать еще нечто неизмеримо худшее чем смерть, это смерть вторая: полное, но длящееся отлучение от Бога — Источника жизни. Вот печать и этой угрозы лежит на всей вселенной. и поэтому всякая радость наша носит в себе неисцелимую рану: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земли непреложна?» Но в этих горьких словах уже просвечивает желание и даже надежда видеть, осязать другую уже немеркнущую славу. О ней говорит все божественное Откровение; если мы приникнем умом и сердцем к тому, что сказано в книгах Священного Писания, мы все это узнаем...

Но эта слава, слава иной, подлинной жизни просвечивает и здесь. Мы видим уже здесь знаки и признаки победы над смертью второй, то есть над грехом, породившим смерть первую, физическую. Греховность есть как бы черные Альфа и Омега, начало греха и конец — вторая смерть.

Эта злая пародия на истинные божественные Альфа и Омега, конечно, бессильна, поскольку мы следуем за Христом. И если возможна победа над смертью второй, страшиться ли нам смерти первой?

7.

Перейдем теперь к повествованию о явных признаках победы над смертью второй. Начнем с малого; расскажем о событиях как будто обычных, простых. Один священник, например, был свидетелем и пережил следующие события.

1-ый случай. Он прибыл причастить умирающего от общего рака человека. Но родные его предупредили священника, что умираю-

щий уже 30 лет не причащался, а последние месяцы только беспрерывно всех проклинал... Если бы не живые глаза умирающего, можно было бы принять его за мертвеца: кожа и кости. Врачи определили, что он проживет может быть только еще несколько часов. На вопрос иерея: «простил ли он всех?» умирающий стал всех проклинать, и лицо его исказилось злобой. Страшным стало это полуживое лицо. Никакие увещания не действовали. Растерявшийся священник все же предложил помолиться вместе, чтобы Бог дал силу простить. Больной согласился. Священник помнил только начало молитвы о примирении враждующих, а дальше стал импровизировать. Говорил долго, очень долго, страхась взглянуть на умирающего. Наконец изнемог и решился взглянуть. Он увидел просветленное лицо и слезы, текущие по щекам: «Конечно, простил, всех простил, люблю всех... не знаю... откуда была у меня эта злоба!» После причащения лицо умирающего казалось еще светлее. Он сбнял и благословил близких, а они признались, что за всю его жизнь не видели его таким прекрасным. Он скончался через два часа по уходе священника. С тех пор ни лица, пораженные болезнью, ни лица умерших не казались более этому священнику ни обезображенными ни страшными.

2-ой случай. Некие казаки, простоватые, немудрёные, один из которых был шофером такси, повезли того же священника в госпиталь причастить умирающего товарища. В дороге выяснилось, что он уже 3-4 дня не приходит в сознание. Была трепанация черепа вследствие рака мозга. Священник заявил, что не может причастить лишённого сознания! «Ну, помолитесь над ним, это утешит его супругу и нас». Исхудалый до последней степени больной лежал с закрытыми глазами; если бы не грудь, что подымалась и опускалась, нельзя было бы принять его за живого человека. Священник трогал руки и голову его, но больной остался недвижим. Сестра милосердия заявила, что он много дней и рта не открывает и что его питают искусственно. Священнику оставалось только прочесть молитвы. Но какие? Отходную? — а кто знает, сколько дней еще проживет человек? — Священник решился читать просто утренние молитвы... Когда дошел до «Отче наш...», больной открыл глаза, стал отчетливо креститься и тотчас попросил исповедовать его и причастить. Ответив на два-три вопроса, легко проглотил малую святую частицу и выпил запивку. По отъезде иерея, умирающий продиктовал свое завещание, благословил близких и, сложив крестообразно руки на груди,

скончался. И вспомнились священнику слова: «...Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого; оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов...» (Евр. 4,12).

3-ий случай. Тому же иерею довелось исповедывать и причастить столетнюю женщину, кухарку. Через год ему пришлось побывать в той же больнице. Выяснилось, что старушка, которой пошел уже 102-й год, еще жива, но совершенно оглохла и ослепла: «Но вы все-таки ее причастите», сказала ее соседка по кровати. «Приложите ей на губы ваш медный крест, она поймет». Так и случилось. Ощувив на губах холодный металл, старушка открыла глаза и стала отчетливо говорить молитвы. Священник успел за это время приготовить все необходимое, а больная, закончив молитвы, сложила руки крестом на груди и открыла рот для Причастия.

Но самое удивительное произошло тотчас после этого: из глаз причастницы потекли не капли, а потоки слез, и она громко и властно обратилась к Самому Христу: «Я знала, что Ты придешь, Ты никого не забываешь, всех милуешь и вот Ты пришел, и вот Ты снова со мною!» Она говорила долго и во все время ее речи потоки слез не прекращались. Другие старушки, француженки, лежавшие в том же зале, приподнялись, стали по своему креститься и благодарить Бога. Они поняли в чем дело.

4-й случай. Тому же священнику пришлось взять на себя обязанность посещать близкий от его жилища госпиталь, что он и делал еженедельно. Но дамы, занятые тем же, уговаривали его не тревожиться так часто, так как всегда смогут при надобности позвать его. Десять дней он не навещался в больницу и в один воскресный день собрался посетить друзей. Но когда он вышел из дому, необыкновенная тревога охватила его, и его ноги как-то сами собой привели его в госпиталь. В общем зале, с которого он обычно начинал обход больных, к нему выбежал навстречу молодой паренек — санитар француз, и сразу сказал: «Какая радость, что Вы пришли, тут один из ваших умирает, я тотчас вас к нему проведу.» Умирающий от рака человек действительно просил его причастить. Сходить за Св. Дарами было не трудно, и священнику удалось исповедовать и причастить больного. Паренек-санитар с глубоким благоговением приподнял больного, помог утереть ему уста и необычайно горячо, прослезившись, благодарил священника. Такое христианское отношение к русскому со стороны юного француза конечно удивило и растрогало свя-

щенника. «Завтра утром я снова загляну сюда», сказал он. «Не стоит», ответил санитар, «я уже по опыту знаю, что через два часа его здесь уже не будет». Это предвидение оказалось точным.

Нельзя не добавить, что мне дважды пришлось присутствовать при кончине двух праведных. Это были игумения Мелания и княгиня Анастасия Яшвиль, мать давно скончавшегося иерея. Обе умирающие за час до смерти причастились Святых Таин, просили читать отходную, крестились в это время и по окончании молитвы почили. Перед глазами всех на смертных ложах были не мертвецы, а именно почившие люди, к Богу отшедшие. И где-то в глубине сердец всех свидетелей этих кончин звучали воскресные ирмосы.

8.

Тут уместно сказать несколько слов об И. А. Бунине, которого некоторые легко причислили к язычески настроенным писателям. — Да, страстная, может быть отчасти языческая влюбленность во все видимое сотворенное у него была. Иногда проглядывал даже цинизм. Но можно ли назвать его язычником? Перед смертью он все просил читать ему Евангелие. По его кончине, вдова Вера Николаевна не раз просила меня прочесть ей вслух стихи мужа, которые я люблю. Оказалось, что то, что нравилось мне, было по душе и ей. Я начал читать с самого для меня дорогого:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Можно было бы привести много и других строк, но и этих достаточно. Все основное, что полюбилось поэту, он с благодарностью возвращает Создателю. Это как бы настоящее, личное бунинское «Твоя от Твоих».

Во всем сказанном здесь до сих пор как бы просвечивает надежда на победу над смертью и на существование другой подлинной жизни. Но это еще все же только земное предчувствие.

Прежде чем перейти к тому, в чем есть непоколебимая уверенность, решаюсь еще сказать о бывшем со мною лично. В преклонном возрасте иногда не только можно, но и необходимо сказать о том, о чем раньше не легко было говорить, особенно при сознании своей собственной греховности. А теперь опасаясь, что не успеешь засвидетельствовать, а свидетельствовать нужно.

Мою престарелую больную мать в голодный 20-й год мне пришлось поместить в богадельню, находившуюся еще тогда в ведении нашего приходского собора в С.-Петербурге. Я был единственным, кто мог ее опекать, а мне пришлось уехать в другой город. Всё же мать мою могли навесить родственники и жившая в окрестном городе сестра. Я знал, что матери моей долго не прожить. В канун Великого Четверга я исповедывался. Тогда еще открытого гонения на Церковь не было, но оно подготавливалось. Ночью вижу сон: еду с матерью, как это бывало, в Швейцарию. На какой-то станции спешу в буфет. Увлекаюсь едой, но думаю достать что-либо и для матери. Аппетит задерживает меня в буфете. В последние годы кулинарные мотивы нередко преобладали во сне. Слышу 1-й, 2-й звонок, бегу на платформу, но прозвенел и третий звонок, и я вижу как поезд проходит мимо меня. Бросаюсь к нему, хватаюсь за одну, за другую дверь... Напрасно! Поезд ускоряет ход. Смотрю на бегущие вагоны в отчаянии. Я разлучен с матерью. Вдруг окно одного вагона отворяется и я вижу мать в светлом праздничном наряде, просветленную, радостную. Она меня отчетливо благословляет и говорит, улыбаясь: «Не волнуйся, поездов много, будет время — ко мне приедешь!»

Мгновенно проснувшись, смотрю на часы: 6,30 утра. Знаю определенно: мама умерла. После причастия чувствую в сердце присутствие матери. Она здесь со мною, живая, в этом храме и во мне. Дома нахожу на столе телеграмму от сестры: «Мама скончалась сегодня в 6,30 ч. утра».

10.

Это событие уже на грани земного и в нем уже луч победы над смертью. Но окончательная победа только там, на страницах

Евангелия. Можно только сказать: раскройте книгу, читайте. Цитаты ни к чему. Умеющие слышать, да слышат!.. И трудно сказать, у кого лучше сказано: у Матфея, у Марка, или у Луки, или Иоанна.

Одной цитаты все же не миновать. Это слова Господа Фоме: «Ты поверил потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Да, другого настоящего блаженства и быть не может, в нем завершение всякой радости и блаженства: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна и вера ваша... «и если в сей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». (1 Кор. 15, 14, 19, 20).

Да, Христос воскрес и поэтому мы блаженны, по крайней мере можем быть блаженными как в великом, так и в малом. Предчувствие, а иногда и подлинное блаженство дается ощутить многим православным в Пасхальную ночь ибо: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в Нем же утверждается».

Свято-Владимирская Духовная Академия в Нью-Йорке
ВЕСТНИКУ РСХД

Выпуск сотого номера „Вестника“ мы, профессора и студенты Свято-Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке, переживаем как подлинный духовный праздник. В дни напряженной борьбы за веру, в дни когда совершается суд Божий над маловерием, страхом и унынием, „Вестник“ твердо и непреклонно совершает свое служение свидетельства о том, что свет Христов светит в мире и тьме его не объять. Да поможет Вам Господь и да укрепит Своєю крепостью.

Декан Академии, протоспесвитер Александр Шмеман.

Профессора: Н. Арсеньев, А. Боголепов, В. Кесич прот. И. Мейендорф, С. Верховской, П. Шнейр-ла, Д. Дриллок.

Доценты: А. Четверикова, С. Куломзина, свящ. П. Лазор, свящ. И. Таунзэнд.

Преподаватели: свящ. Фома Хопко, А. Думурас, К. Тарасар.

Библиотекарь: С. Бескид. Инспектор: свящ. К. Ставревский.

Октябрь 1971 г.

Архиеп. ИОАНН ШАХОВСКОЙ



Угли пустынные*)

Иерусалимский Храм перешел во Христа и вознесся со Христом на небо. Сходя теперь с неба, расходится евхаристическим Хлебом по всей земле. А бедные евреи радуются, что завоевали Палестину и Стену Плача! Храм, расширившийся во Христе до последних пределов творения, есть единственный Сионизм.

Свобода есть верность Богу («Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Кол. III, 3).

Евангелие надо не только читать и знать, — надо на него смотреть и увеселяться им.

Анализ истинного пастыря: 60% сердца, 35% ума — 5% языка.

Вера есть созидание христовых отношений.

На земле, в воздухе и в глубинах морских одна тварь пожирает другую. Но тайна земли не во взаимном пожирании тварей, а в их отдаче себя, в жертве вольной и невольной. Тайна биологии — в страдании невинном. Вся тварь входит чрез это во Христа. Как же иначе войти?

Неразумно судить другого человека, так как никто, кроме Бога, не видит его духовного возраста, нравственного уровня и

*) Начало см. Вестник РСХД, № 98, 1970 г. стр. 13.

данных ему талантов, степени его ответственности, освобожденности для истины.

Надо молящемуся оставить молитвослов и молиться само-возникшей молитвой, если молитва, поднимаясь из сердца, уже мешает «чужому» слову проникать в сознание.

Исполнение Богом наших желаний — особая комната в Доме Отца. Только сыны ее знают.

Относись к каждому человеку так, как будто всю вечность ты будешь с ним... Относись к нему так, как если бы ты должен был с ним сейчас же расстаться, но от твоих отношений к нему зависит его и твоя вечность.

Видеть извне истину нельзя. Только когда мы в ней, она видна. Тогда душа так радуется, что ей ничего не надо. Или тогда душа томится по любви последней. И ей тоже ничего не надо.

У любви, как у чуда, нет расстояний.

Человечество пьянится самообольщениями. Фосфорическое свое мерцание выдает за звезды.

Приходам церковным надо исцеляться от слишком большой своей возни около материальных ценностей. Сколько слов, энергии, времени тратится только на формальную, финансовую, хозяйственную и юридическую сторону церковной жизни. Мало мыслей и слов осталось для прямого Христова дела.

Церковную молитву, как истину, надо охранять от душевной возбужденности. И шумные многолетствования не подходят к строю небесной тишины, которая, как цветок, должна раскрываться во время богослужения.

Бескрылостью оскудевает вера. Историки Церкви к этому привыкли. Дыхание Божьего Духа заменяется историческим преданием народов. Пыльные бури окружают апостольский опыт.

Историки, социологи, могут сколько угодно рассуждать о социальных структурах прошлого, настоящего и будущего. Оста-

ется истина, что в мире существуют просто различные отношения людей друг ко другу... Одни люди любят не брать, а давать. Другие любят именно брать, а не давать. Есть сторонники эквивалента: давать и брать равное. Наиболее широк круг предпочитающих брать и давать, но брать чуть чуть, все таки, больше. (На этом, в сущности, стоит вся внешняя цивилизация; барыши, прибыли, проценты, древнейший стимул активности)... Но есть души, которые гораздо больше любят давать, чем брать (и не только в денежном отношении). Только они имеют в мире опыт чистой радости.

Справедливо быть выше справедливости.

Радость пастыря быть прозрачным. Надо, чтобы через пастыря была видна Живая Вода (Иоанна IV). И каждый мог ее пить.

Ненависть ко злу — нечто совсем другое, чем ненависть ко злему человеку, которая для себя в мире ищет и все время находит лже-священные основания.

Бывает, что Царство Божие отключается от разума и сердца человека, оставаясь только в его воле. Обуреваемый мучительной бесплодностью чувства и мысли, человек тогда имеет силу одной лишь волей устремляться к Богу. Но даже и воля его может быть парализована. Тогда человек только верой держится над бездной, и именно тут бывает самая большая верность человека Богу.

Вера в Бога, есть жизнь в цветах: Дух Божий все превращает в цветы (здоровье, болезнь, жизнь, смерть).

Фруктов Духа сфальсифицировать нельзя. Эта неповторимая радость истины, расширение сердца на все, дар близости ко всему и свобода отрешенности от всего. Обладание вселенной и неимение даже ниточки.

«Мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине» (III Иоанна 8). Быть споспешником истины, — вот что надо.

Коммунисты наших дней цитируют Маркса из уважения к Ленину и Ленина из уважения к собственной молодости.

Так глубоко в человеке заложено чувство справедливости, что ему становится не по себе, когда несправедливо (завышенно, или недостаточно) славится справедливость, или наказывается несправедливость.

Христиане стали «слишком богатыми» — богословским опытом, и «знанием Священного Писания» и догматической своей «правотой». Ко всему добавить надо хотя бы щепотку нищеты.

Вера — сообщество с Жизнью Божественной. Неверие — сообщничество с демонами.

«Знаю Моих и знают Меня Мои». В Боге так все лично — неповторимо.

Веровать в Бога можно только верой, которая от Бога. Вера же в эту веру приходит от человека.

Даже такие высокие слова, как «отец», «мать», «сын», «дочь», кажутся мало значащими, для большинства людей, так как бледно их реальное значение. Это все символика и «учебное наименование». Самое непонятное, для людей, слово ОТЕЦ, так как оно есть Имя Божие.

Грех не требует мотивировок; мотивировки являются у оправданий греха.

Любовь ко Христу может понять только задыхающийся среди псевдо-единств и лже-ценностей мира.

Монашество — единение одиноких, не чувствующих себя одинокими.

Если меня спросят в о з м о ж н а л и поэзия, я отвечу, что она, конечно, невозможна. Но сама ее невозможность может быть и должна быть доказана только ею, как ее несовершенством, так и ее подлинностью. Без помощи самой поэзии, нельзя ни предзреть ее совершенств, ни увидеть того, что она невозможна, т. е. не вмещается в ограниченное сознание.

Круг поэзии, «непорочный круг» ее в том, что поэзия есть сама сущность человека. Но человек от этой сущности своей все время уходит. Человек борется со своею сущностью (здесь сущность греха). Но, когда сущность его побеждает, возникает подлинная жизнь — поэзия.

Господи, Ты всегда со мною, а я не всегда с Тобой. Хочу быть всегда с Тобой. Хочу всегда этого хотеть.

«Странна Бога вочеловечшася видяща, устранимся суетного мира, и ум на божественное возложим» (Кондак Иисусу Сладчайшему). Сколько тут правды. Наша беда — в невозложении ума на божественная, в возложении ума на суетная, и в церковной жизни, и в поэзии.

«Тайна беззакония» бывает «в действии», когда молитвенную свою глубину человек отдает не Богу. Грех тоже и молитвен, как идолослужение.

Из куколки тела физического, душевного, должна родиться бабочка «тела духовного». Оно создается в нас молитвой, милосердием, верой, причастием Св. Тайн.

Человек сохраняется в холоде истории.

Если люди к тебе относятся несправедливо, только твое незлобие уравнивает это зло.

Грешники, осуждая грешников чувствуют себя, как бы, «не утерянными нравственных критериев».

От каждой страсти к языку идет приводной ремень.

Люди создают вокруг себя пустыню слов и отгораживаются ею друг от друга, друг от друга уходят в эту пустыню.

Сон — учитель благой смерти, вводящей в Жизнь. Бодрствование наше смывает миражи снов, снами рассеиваются призраки нашего бодрствования.

Чувствую, что могу нежно любить лишь тех, кто Бога любит больше меня, больше всего в мире. Мне трудно любить себя, потому что я не умею по-настоящему любить Бога.

Пушкин и Лермонтов — солнечное детство поэзии России.

Когда думаешь о современной русской поэзии, представляется огромное поле, усеянное птицами большими и малыми. Птицы машут крыльями, но не взлетают... На большом поле разной величины птицы машут крыльями, не взлетая... Но есть птицы и летающие над русской землей.

В шуме городов не слышны колокола, но храмы еще остаются, как зрительные колокола.

Нет ям зла. Есть пропасти зла.

Зовя к свободе (и «всем вся бывая»), Церковь Православная, живущая и внутри Римской Церкви, зовет ее к свободе от сложностей сего мира и к мученическому преодолению всего неэкзистенциального верой, надеждой и любовью. Никаких систем, ничего «прочного», никакой «церковной государственности», никакого подспорья для Христовой Церкви в проходящем мире.

Три области у человека:

1. Земная жизнь,
2. Земная смерть,
3. Вечная жизнь.

Первая частично отдается человеку. Другие две Бог оставляет Себе. Человек может исчислить меру своей свободы.

Удивительно, что люди, столь изворотливые в освоении космоса, не научились еще, со времени изобретения огня, тушить этот огонь. Поглядите, как тушат пожары, — дом, который по настоящему занялся огнем, сгорает под жалкими струями шлангов. Есть какой-то барьер в цивилизации. Мы тушим свои пожары, как при фараонах. Человеку показывается, что он еще на заре своей человечности.

Пресности много в мире, а достаточного опреснения воды нет. Жаждет земля, пустыни неорошены, словно сердца.

Христос ближе к нам, чем мы сами к себе. Он Душа души. У человеческой души есть Душа (а люди даже в свою душу с трудом верят).

Молитва бывает иногда лишь психическим явлением, не духоносным. Но истинная молитва это приход к человеку Духа «Авва Отче» (Марк XIV). В этом именно великое раскрытие человека.

Гордыня — извращение высоты. Человек велик не тем, чем он любит пред другими и собой красоваться. Человек безмерен, так как призван к Безмерному. «Человек велик, если осознает свое жалкое состояние» — очень хорошо сказал Паскаль. Величие открывается в человеке по мере понимания им своей низости.

Алкоголь выталкивает душу «в кожу». Этого не замечают те, кому кожа — «свое».

Проявлять самолюбие в отношении того, кого любишь, невозможно. Только неистинная любовь стоит на любви к себе.

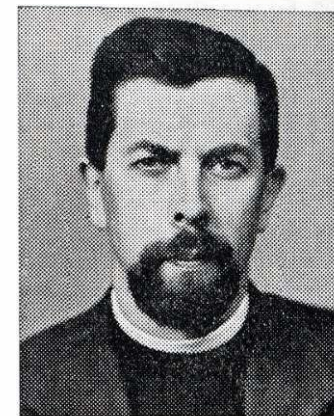
Убийство начинается с равнодушия. Мы все люди убийцы актуальные, или потенциальные. Противоположен убийству только дух великой любви.

Все мои грехи — вольные. У меня нет невольных грехов. Никакой свой грех не могу счесть достойным смягчения. «Невольный» грех, это как бы извинение себя. К чему оно? Только безмерность Божия дает безмерную надежду. Прощение Господа Бога никогда не бывает маленьким. Оно всегда огромно. В грехе есть безмерность зла. Оттого и прощение безмерно.

Любовь истинная никогда никого не связывает, всегда всех освобождает.

Бог очень верит в нас. Бог надеется на нас безмерно. Любит. Оттого и сотворил нас. Наша вера есть любовь к Его вере, к Его надежде и любви. Боже, помоги нам оправдать нашей верой Твою веру!

Прот. Борис БОБРИНСКОЙ



ТРАПЕЗЫ ВОСКРЕСШЕГО

«Тогда открылись у них глаза и они узнали Его» (Лук. 24, 31).

«И одиннадцать говорили им, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узан им в преломлении хлеба» (Лук. 24, 31-35).

В это исключительное время истории нашего спасения, в эти сорок дней между Воскресением и Вознесением, когда воскресший Господь являлся своим апостолам, они вспоминают с особой силой эти разделенные с Учителем трапезы, эти семейные трапезы, тогда как в Галилее, до Страстей, Учитель возглавлял их, благословлял, преломлял хлеб братства и общения.

Это единственное и переходное время, когда Иисус еще является, беседует со своими учениками, вкушает с ними пищу, открывает им Царство Божие. Но присутствие Воскресшего иное, чем было в Галилее: «не прикасайся ко Мне», говорит Он Марии Магдалине. Он проникает через закрытые двери, исчезает с глаз спутников в Эммаусе. Главное же то, что сами ученики узнают Его с трудом. Мария Магдалина принимает Его за садовника; на берегу Тивериадского озера один только Иоанн — апостол любви узнает Учителя, спутники в Эммаус слепы, и ум их отяжелел, когда Иисус разъясняет им Писание. Наконец, апостолы при виде Его объаты страхом и поражены, так как думают, что видят призрак.

Подготавливается Вознесение Христово, Его возвращение к Отцу. Понемногу плотское око уже не в состоянии Его лицезреть.

«Потому, если мы и знали Христа во плоти, мы теперь не знаем Его таким» (II Кор. 5, 16). В это переходное время трапезы воскресшего Господа со своими учениками принимают все свое значение. В то время как одиннадцать были за столом, Иисус явился им и упрекнул их в неверии. Сперва десяти, а потом одиннадцати, собранным вместе является Воскресший и вдохновляет их дуновением Святого Духа... Во время преломления хлеба, глаза учеников открываются и они узнают Его, и их вера укрепляется. Вкушая трапезу с ними, Иисус укрепляет их веру. **«Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы. И взяв, ел перед ними»** (Лук. 24,41-43).

После чудесного улова в Тивериадском озере, Иисус приглашает учеников: **«Придите, пообедайте»**. Из учеников же никто не смел спросить Его **«Кто Ты?»**, зная, что это Господь. Тогда Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу» (Ио. 21, 12-13). Заметим здесь, что как раз после разделенной трапезы, Иисус ставит Петру три раза вопрос: **Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше чем они?** Вопрос этот соответствует словам Петра после Тайной Вечери: **«почему я не могу следовать за Тобой теперь? Я жизнь свою положу за Тебя»** (Ио. 13,37).

Таким образом, только после трапезы, разделенной с Господом, Петр может ответить на вопрос о любви, может исповедать свою любовь и следовать за Учителем, когда другой опоясает его и поведет, куда он не захочет. Наконец, именно **«во время трапезы Иисус повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца»** (Де. 1,4), то есть сошествия Святого Духа.

Я позволил себе остановиться на тех библейских отрывках и настаивать на том как Евангелисты открывают нам значение хлеба и пищи, разделенной Воскресшим Господом с его учениками.

До Страстей трапезы были естественным явлением в земной плоскости, показывающим всedневную близость Учителя со своими учениками. Однако даже тогда Иисус напоминал со всем авторитетом и силой, что Он принадлежит делу своего Отца. Он любил молиться один ночью, уединяться, избегая засилия толпы и даже отдаляясь от апостолов; Он давал им предчувствовать свою власть над людьми и над стихиями.

После Воскресения, трапеза делается преимущественным моментом встреч, обещания и учения, местом диалога и сердечного просветления, где Иисус дает свой мир, свою радость, свои по-

следние наставления (Ио. 20, 19 и 26), где Он еще и в последний раз обещает послать Святого Духа.

После Вознесения Спасителя и ниспослания Святого Духа в Пятидесятницу, трапеза делается актом учреждения Церкви в которой прославленный Господь продолжает пребывать и предлагается в общение. Таким образом, с самого начала апостольских времен первые христиане пребывали постоянно в учении апостолов, в **общении и преломлении хлеба и в молитвах** (Де. 2,42). **«Все верующие были вместе и имели все общее и преломляли по домам хлеб и принимали пищу в веселии и простоте сердца»** (Де. 44-47).

Во все времена христиане воспроизводят действие Своего Господа, преломляют хлеб, распределяют между собой пищу. Причастие евхаристии, преломление и раздаяние хлеба выражает в наивысшей степени интенсивности братское общение с Воскресшим Спасителем, который пребывает в Церкви и направляет ее в силу Святого Духа.

Но есть тесная связь между евхаристией и нашими ежедневными трапезами. Более чем подаяние, чем материальная помощь гостеприимство семейного очага позволяет проявлять человечность, оживляет служение, согревает личные отношения, часто слишком поверхностные, и таким образом предохраняет человеческое достоинство обездоленного человека, столь униженного и болезненно чувствительного.

Преломлять хлеб — простой жест, но который может выразить бесконечный запас сердечной теплоты, уважения и любви; преломление хлеба способствует падению всех преград между людьми, между сотрудниками, расами и нациями, а также членами разных церквей, социальными классами, между христианами и нехристианами и особенно между обеспеченными и обездоленными. Преломление и раздаяние пищи не есть подаяние, ни показной единичный жест, но выражение разделения нашего имущества, нашего необходимого, открытия нашего сердца, нашего очага, нашего храма по отношению к ближнему и признание его личности.

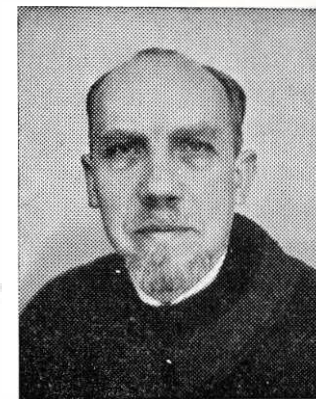
«Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия не забывайте, ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. ...Помните узников, как будто вы были с ними в узах, и страждущих, как будто и сами находились в их теле. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13, 2,3,16).

Разделять хлеб с кем-нибудь, это учиться жить единым серд-

цем и одной душой, открытыми Богу, Его благодатному свету, способным каждодневно узнавать в спутниках нашей жизни сокровенный Лик Христов. «**Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос Мой и отворит двери, войду к нему и буду 'вечерять с ним и он со Мною**» (Откр. 3,20).

Вот тот, лик которого открывается в гостеприимстве, когда хозяин прислуживает гостю и стоит перед трапезой ангелов. Благодаря этому страннолюбию, согласно с посланием к Евреям, некоторые, сами не зная этого, принимали ангелов. Тут есть ссылка на явление Иеговы Аврааму и Мамврийского дуба (Быт. 18). Этот отрывок получил в святоотеческом толковании значение Троичного символа и особенно в православной иконографии, в которой гостеприимство (*philoxenia*) Авраама сделалось излюбленным сюжетом символического изображения Пресвятой Троицы. Действительно, когда Христос неопознанно берет место за нашим столом, Он не приходит один: «**Если кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его и Мы придем к нему и обитель у него сотворим**» (Ио. 14,23). Где же милостыня или даже обоюдный дар, где справедливое разделение? Где же хозяин дома, который оказывает гостеприимство? Тот, кто принимает за своим столом, получает гораздо больше, чем дает.

Трапеза любви бесконечно расширяется, она переносит нас в круг Божественного Гостеприимства, в круг любви и жизни Пресвятой Троицы, куда, в свою очередь, вводится человек и куда он проникает со страхом и любовью в неизреченную и беспредельную близость Божественного общения.



Прот. Георгий СЕРИКОВ

О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН ВО ХРИСТЕ (О ЦЕРКВИ) И ОБ ЕВХАРИСТИИ (ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ) КАК О ПРИЧАЩЕНИИ ЭТОМУ ЕДИНСТВУ

(Продолжение)

«Поэтому, кто ест хлеб и пьет чашу Господа недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господа».

(I Кор. XI,27)

«Едящий и пьющий ест и пьет осуждение себе, если не различает Тела».

(I Кор. XI,29)

На основании исторического анализа отношения Церкви к причащению *) можно заключить, что «достойное» отношение к причащению, — отношение достойное подражания, — есть сознание необходимости причащаться **всем** и на каждой евхаристии.

Однако выполнению этого достойно-сознательного отношения к причащению, бывшего у перво-христиан и рекомендуемого всеми Отцами Церкви, с течением времени, стало мешать отношение другое, достойно-моральное, и в последнее время в России

(*) См. «Вестник» Р.С.Х.Д. за 1970 г. № 98 стр. 32-37 и за 1971 г. № 99 стр. 26-34.

люди причащались редко, **) считая себя «недостойными» приступать часто к страшным Христовым Тайнам.

«Господствующая практика — говорит о. Сергей Булгаков ***) — как известно, в России состояла в том, что для мирян считалось христианским долгом «отговориться» однажды (много — дважды) в великом посту. И даже пожелание Церкви, чтобы говение совершалось в каждом посту (то есть четырежды в год), как правило, не исполнялось...»

Чем объяснить эту «практику» на Святой Руси, столь противоречащую Православию? Отец Сергей дает объяснение ее оправдывающее:

«Эта практика — говорит он — связывалась с повышенной дисциплиной таинства, требовавшей строгого и продолжительного приготовления к причащению чрез посещение всех служб в течение недели, усиленного поста и молитвы. Без этого условия причащение представлялось унижением таинства. Кроме того, верующие воспитывались в том представлении, что мирянам непосильно, несоответственно частое причащение и что оно не для мирян. И некоторыми церковными деятелями это рассматривалось даже как общецерковная норма, которой однако никогда не существовало. Правило установившееся и, может быть, даже и ответственное для одной исторической эпохи, принималось за всеобщее. В действительности практика Церкви в разные времена менялась — от причащения всех верующих за каждой литургией в первые века (Дидахэ, св. Иустин) до новейшей с единократным причащением в течение года. Канонические Правила в этом отношении допускают и скорее поощряют частое, даже каждодневное причащение. Так, например, в Правиле Василия Великого читаем: «Хорошо и полезно каждый день приобщаться и принимать божественные тайны... впрочем, мы приобщаемся четыре раза каждую седмицу: в день Господень, в среду, в пяток и субботу, также и в иные дни, если бывает память какого-либо святого. И ничуть не опасно, если кто, во время гонений, за отсутствием священника или служащего, бывает в необходимости принимать причастие собственной рукой, излишне было бы это и доказывать, ибо долговременный обычай удостоверяет в этом самым делом. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами себя приобщают. В Алек-

(**) раз в год, и то лишь после продолжительной и строгой подготовки — великопостного говения.

(***) См. «Путь» за 1925 г. № 19 стр. 70.

сандрии и в Египте и каждый крещеный мирянин, по большей части имеет у себя причастие в доме, и сам приобщается, когда хочет. Ибо, когда иерей единожды совершил и преподал Жертву, то принявший ее как всецелую, причащаясь ежедневно, должен веровать, что принимает и причащается от Самого Преподавшего».

Прочитав это каноническое Правило св. Василия Великого, из которого ясно видно, что с совершением таинства Евхаристии связано причащение христианами Тела и Крови Христовых, отец Сергей восклицает:

«Это каноническое Правило до такой степени не соответствует нашим привычным воззрениям, что кажется даже странным читать его в «Правилах Православной Церкви!»

Дальше отец Сергей пишет: «На вопрос: «Что лучше: причащаться часто или редко?» в этих Правилах не дается прямого ответа, а только делается общее указание о необходимости предварительного очищения. Таким образом можно сказать, что канонические Правила отнюдь не возбраняют частого причащения, но располагают к нему лишь при условии соответственной настроенности, не избегая никаких внешних границ. В пользу частого причащения высказывался преп. Серафим Саровский и, конечно, о. Иоанн Кронштадтский. Дозволительность и желательность возможно частого причащения для мирян является канонически установлено и соответствует практике древней Церкви. Не может быть против этого приведено и каких-либо догматических оснований. Соединение со Христом во святейшем таинстве Евхаристии есть для христианина источник жизни и сил и радостей радость. Евхаристический голод и жажда, стремление к принятию св. Тайн должны быть естественным состоянием для христианина и в известном смысле являются мерой его духовного возраста. Конечно, он должен приступать «со страхом Божиим», с покаянной молитвой о своих грехах и чувством своего глубочайшего недостойнства, но и с верой, что Господь пришел в мир «грешных спасти». Должно со всей серьезностью и ответственностью готовиться к причащению, но не нужно и себя запугивать, как и не нужно отпугивать греховностью. «Я не готов.» — «Никогда и не будешь готов», был ответ мудрого старца на естественное сомнение мирянина. Лукавство человеческой совести скорее делает то, что она глубже погружается в сон, если знает, что она имеет пред собою долгое время, и, напротив, поддерживается в большем напряжении необходимостью чаще ста-

вить себя перед судом Божиим. Конечно, здесь все индивидуально и соответствует эпохе и состоянию личной жизни. Однако в наше время уже пробуждена эта спасительная жажда частого причащения, и долгом пастырства является не задерживать и не угашать ее, но скорее поддерживать и уж во всяком случае удовлетворять. Больше того, пастырь должен призывать к св. Тайнам, поощряя более частое причащение, в меру не наименьшей, но наибольшей возможности для каждого и уж во всяком случае не связывая его никакими формальными ограничениями. Это и становится сейчас господствующей практикой в России и даже за рубежом... Совершившаяся или, по крайней мере, совершающаяся в практике причащения перемена, есть одно из опасных духовных достижений нашего времени, связанных с его страданиями и потрясениями, и оно не должно быть утеряно.» (стр. 71-72 там же).

Из приведенных слов отца Сергия, мы замечаем, что если, глядя на церковную историю и видя, по вопросу о причащении, различную практику в разные времена, он, с одной стороны, не решается выводить «общецерковной нормы» и объясняет «господствующую практику» последнего времени не понижением евхаристического сознания — как то делают другие *) — а «повышенным» отношением к таинству, требующим продолжительного приготовления... то, с другой стороны, он все же явно на стороне поощрения евхаристических «голода и жажды» и видит в возрождающейся практике частого причащения одно из спасительных духовных достижений нашего времени.

Две церковных практики — частого и редкого причащения — можно было бы назвать: одну — максималистической, дерзновенной и эсхатологической, а другую — минималистической, пугливой (опасливой) и бытовой, с остывшим первохристианским чаянием скорого пришествия Христа.

Духовная настроенность перво-христиан с их знаменательной молитвой: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» есть свидетельство ощущения последних времен, «последних» не только в смысле хронологическом, а и в смысле онтологическом. «Не пройдет род сей как все сие сбудется» (Мт. XXIV,34) — слова эти к концу первого века хотя и перестали пониматься только во времен-

*) напр. прот. Тимофей Налимов, прот. Иоанн Кронштадтский... в эмиграции: Б. И. Сове, архим. Киприан Керн, прот. Николай Афанасьев и многие другие.

ном смысле, но из-за этого не потеряли для первохристиан своей чутко-нервной, эсхатологической значимости: К «последним» вещам, т. е. к вещам предельным, трансцендентным и божественным люди могут прикоснуться ведь не только **по** окончании времен земных, но и живя еще во времени. Божественный Дух — Который дышет идеже хочет — может нарушить естественный поток времени и ворваться в него до того как «прейдет род сей». И мы можем предстать пред Вечностью и причаститься Ей не только умирая, но в любой момент нашей жизни на земле. Не сказал ли нам уходящий Христос: «Я с вами во вся дни до скончания века!»? (Мт. XXVIII,20) «Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час Господь придет!» (Мт. XXIV,42) («придет» не только в смысле будущем, но и в смысле настоящем: «приходит»!).

Такая экзистенциальная и имманентная (а не только хронологическая) интерпретация эсхатологии для нас даже полезнее, ибо она пробуждает нас от духовной спячки, от бытового, буржуазного христианства, заставляет быть активными и бодрствовать **всегда** наподобие пяти рассудительных приточных дев, вышедших навстречу Жениху (Мт. XXV,13).

Однако мотив повышенного чувства величия таинства и, вместе с тем, повышенного сознания необходимости большей строгости к себе все же, может быть, остается в силе для оправдания практики редкого причащения последних веков? Поэтому нужно нам остановиться на рассмотрении вопроса о человеческом «недостинстве» как чаще всего выдвигаемого повода, чтобы не причащаться часто. Но что такое быть «достойным»?

Достойное поведение человека есть поведение подобающее и соответствующее его идеям, его вере, его «званию», его призванию. Моральное достоинство верующего человека есть святость и совершенство. И в идеале, чтобы быть достойным Христа, христианин должен быть совершенным «как Отец наш небесный совершен» (Мт. V,48 Лев. XI,43). Но так как «Несть человек, иже жив будет и не согрешит», то это означает, что нет морально достойных христиан на свете, а в таком случае никто и никогда не мог бы достойно причащаться «страшных Христовых Тайн», ибо Христос — «Огонь сый, и опаляяй недостойныя» (Молитва св. Метафраста о причащении).

Тут мы упираемся в тупик, из которого можно выйти только зная, что хотя все люди и грешные, но что Христос для того именно и приходил в мир, чтобы спасти грешников (I. Тим. I,15) и за них пролил Свою Кровь (Мт. XVI,28). Причащаться Бога никто и никогда не будет достоин! И чем меньше мы будем похо-

доть на фарисея и чем больше походить на мытаря, тем больше нам оправдания. Поэтому можно сказать парадоксально, что сознание христианином «недостойнства» как раз и делает его достойным для причащения и нуждающимся в нем, а сознание своего «достойнства» и достаточной подготовленности (например, после усиленного говения) деградирует христианское достоинство*). «Удостоиться (и «сподобиться») приобщения Христу мы можем в силу Его к нам любви и снисходительности, но никак не в силу наших достоинств.

Сказать: «Я не достоин часто причащаться» это все равно, что обмануть себя надеждою, что раз в году, после великопостного подвига, я причащаться удостоюсь! Так что не причащаться каждый раз за Евхаристией под предлогом своего недостойнства есть, в сущности говоря, недодуманное до конца решение вообще никогда не причащаться — ибо я никогда не буду достоин!

Тут хочется вспомнить слова преп. Иоанна Кассиана Римлянина: «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками. Но еще более и более с жаждою надобно поспешать к нему для уврачевания души и очищения духа, однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более врачевства для наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, живя в монастырях, достоинство, освящение и благотворность небесных тайн оценивают так, что думают, будто принимать их должны только святые, непорочные, а лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно больше гордости высказывают, нежели смирения, как им кажется; потому что когда принимают их, то считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы с тем смирением сердца, по которому **верим и исповедуем**, что мы никогда не можем достойно прикасаться св. Тайн, в каждый воскресный день принимали их для уврачевания наших недугов, нежели, превознесшись суетным убеждением сердца, верить, что мы после годичного срока бываем достойны их». (**)

(*) что, конечно, не позволяет человеку, имеющему *esprit mal tourné*, обернуть это в том смысле, что нужно побольше грешить, чтобы лучше чувствовать свое недостойнство! Но одно дело стремиться и стараться быть достойным, а другое дело ощущать себя уже достойным.

(**) Писания преп. Иоанна Кассиана Римлянина. Изд. 2 Москва 1892 стр. 605.

В таком же духе пишет о. Иоанн Кронштадтский: «Что прежде нужно, для того чтобы достойным образом приступить к страшным и животворящим Тайнам Христовым? Прежде всего нужна **вера** искренняя, живая, нелицемерная. Чтобы снискать эту веру, размышляй о величии и могуществе Творца... Здесь Сам Господь, нас ради воплотившийся, и Ходатай и Совершитель всего. Он — приносяй жертву и приносимый, приемляй и раздаваемый... так каждый христианин должен проникнуться живой сердечной **верой**... Когда будешь иметь такое расположение мыслей и сердца, то от принятия св. Тайн вдруг успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь и ты в Господе... Святые Тайны называются Божественными дарами, потому что подаются нам Господом совершенно туне, даром, незаслуженно с нашей стороны; вместо того, чтобы нас наказывать за бесчисленные наши беззакония, совершаемые каждый день, час, минуту и предать нас смерти духовной, Господь в Святах Тайнах подает нам прощение и очищение грехов, освящение, мир душевных сил, исцеление и здравие души и тела и всякое благо, единственно только **по вере** нашей». (*)

О достойном, как о сознательном, причащении говорит также профессор С.-Петербургской Духовной Академии прот. Тимофей Налимов: «Святейшее из таинств — Евхаристия, таинственное воспроизведение искупительной для всего мира Голгофской жертвы, приобщение Тела и Крови Христовых, реально по душе и по телу соединяющее причастника со Христом и со всеми другими причастниками и этим устанавливающее единосущие мистического тела Христова — Церкви с воспринятым Им в ипостасное единение и обожествленных человеческим естеством, представляет постоянное, до скончания века, фактическое осуществление дела Христова в условиях земного существования, дела действительного спасения одного за другим поколений человеческого рода, а для каждого в отдельности христианина является исповеданием веры в единосущие со Христом Спасителем и осуществлением в жизни полнейшего возможного на земле, духовного и телесного строя жизни и источником необходимых для такой жизни сил». (**)

В чем источник силы и динамизм христианского достоинства, достоинства веры, любви и надежды — этих трех христианских

(*) «Солнце Правды». Избр. проповеди Иоанна Кронштадтского. С.-Петербург. 1909.

(**) См. «Путь» № 18 стр. 80 1929 г.

добродетелей («vertus théologiques»), о которых говорится в полании к Коринфянам (I. Кор. XI,17-34)?

а) Если мы не «различаем» евхаристического Хлеба от обыкновенного /стих 29/ и не понимаем, что вкушение на Трапезе Господней есть причащение спасительным страстям Христовым — это касается нашей **веры**.

б) Если мы причащаемся не будучи в единстве и согласии с братьями /17-22/, то мы грешим против **любви**.

в) И если мы не исполняем нашего призвания, вплоть до славного пришествия Господа «возвещать Его смерть» /26/ с искупительным ее значением, если не радуемся, не творим, сознавая себя усыновленными; не свидетельствуем о воскресении, то мы совершаем грех против **надежды**.

Человек делается христианином **через покаяние**. Христос начинает Свое Евангелие: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» (Мт. IV,17) Так что и достоинство христианское — то есть начало новой жизни во Христе — приобретает только через покаяние. Однако, уже покайся, человек по природе, все же остается грешным, ибо «Мир во зле лежит» (I. Ио. V,19). И грешить продолжает человек не только в смысле «первородной» греховности («во гресе роди мя мати моя»), но и в смысле греховности личной («се бо беззаконие мое аз знаю, грех мой предо мною есть выну» — то есть он всегда предо мною).

«Покаяние — продолжает говорить отец Тимофей Нахимов — есть всегдашнее душевное состояние христианина; и тем более глубокое, искреннее и горячее, чем строже и внимательнее относится он к своей внешней и внутренней жизни. Но **покаянное настроение не охлаждает стремление христианина ко Христу, а напротив усиливает его все более и более и не препятствует евхаристическому общению со Христом, и составляет необходимое условие причащения Тела и Крови Христовых «во оставление грехов», действительно омываемых евхаристической Кровью «во исцеление души и тела», действительно оздоравливаемых и питаемых Телом и Кровью Христа» (там же, стр. 81).**

Таким образом покаяние должно быть состоянием перманентным христианина, состоянием динамическим, а не статическим. Поэтому то наша непрестанная «молитва Иисусова» (*) есть молитва покаянная. И христианин, только что покайся на исповеди, получивший от священника «разрешительную мо-

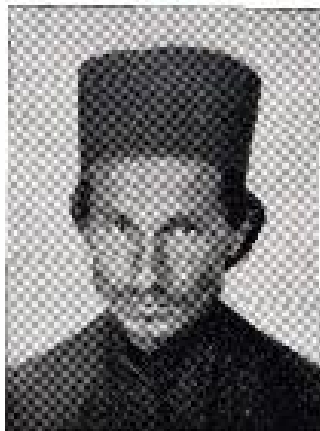
(*) «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

литву», несколько минут после этого, подходя к Чаше, все же говорит за апостолом Павлом слова: «От них же (то есть от грешников) первый есмь аз». «Господи прости мне прегрешения вольная и невольная», ибо нет никакого основания думать, что на протяжении нескольких минут, прошедших между покаянием и причащением, человек не сможет успеть как-нибудь (словом, если не делом, мыслью, ведением или, как говорится, «неведением»...) снова согрешить! Человек может так же молниеносно согрешить, как молниеносно может он и раскаяться. Духовная жизнь есть непрестанное колебание между «К» (плюсу) и «ОТ» (минусу). «Человеческая душа превратна!»

Не нам разрешать проблему «Зла» в мире, но нам — молиться и бороться! Поистине эсхатология (с ее раем и адом) имманентна человеку и сердце его чудесным образом позволяет в нем уживаться рядышком добру и злу! — или, как говорит Достоевский, что сердце человека есть поле сражения, «где Бог с чертом борются». И битва эта хотя и во времени, но вместе с тем это битва апокалиптическая. («За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в День Суда» — Мт. XII,36). «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Ап. III,20 XIX,9,17). Кто будет отрицать, что «вечерять» на языке перво-христианского писателя, означает не только ужинать вообще, но означает также приобщаться к Тайной Вечери на «Вечерях любви»? А если этого не отрицать, то можно надеяться, что покайся и сознав свое недостойство, то есть недостаточность веры, надежды и любви, человек этим отворяет дверь своего сердца Спасителю, чтобы Он вошел и «вечерял»: «Ты знаешь, что я недостойн... но, ей гряди, Господи Иисусе!»

(Продолжение следует)

Иеромонах Афанасий ЕВТИЧ



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВОСЛАВНОМ БЛАГОЧЕСТИИ

1. В наше время, время, не принимающее всего, что не подходит к желаниям и пожеланиям своевольного современного человека, не популярно говорить о **благочестии**, о **богопочитании**. Но Священное Писание, как живое и истинное слово живого и истинного Бога, говорит нам не редко и не мало о христианском благочестии и богопочитании.

Ветхозаветные корни «благочестия» (εὐ-σέβεια) или «богопочитания» (θεο-σέβεια) так глубоки, что можно не ошибаясь сказать, что весь Завет Бога с Авраамом и дальше с Израилем, то есть всецелый Ветхий Завет (союз) Бога с людьми, есть явление в истории человечества и установление в ней истинного благочестия, истинного бого-честия, бого-почитания (ср. 1 Макк. 12-22; 2 Макк. 19-20; Иов 28,28). В Новом же Завете, особенно у Апостола Павла, **благочестие** часто отождествляется с **христианским учением** (1 Тим. 6,3), с христианским **познанием истины** (и именно «истины благочестия», Тит. 1,1), а у Апостола Петра оно отождествляется с **христианской жизнью**, во всей ее широте и глубине (2 Петр. 1,3-7; 3,11; ср. 2 Тим. 3,12). Больше того, у Ап. Павла, правда в одном только месте, но именно из самых центральных всего его Евангелия, благочестие отождествляется с «великой тайной» всего Божественного Откровения в мире, с великой тайной явления **Бога во плоти** — воплощения Христа Бога и Спасителя нашего.

2. Это место у Ап. Павла есть тот знакомый его христологический гимн в 1 Тим. 3, 15-16, и настолько характерный для всего Евангелия Апостола народов, что он собою охватывает и определяет всю апостольскую проповедь о Христе и потом все богословие Церкви Православной со времени Апостолов до сего дня.

Говоря своему ученику Тимофею о христианской вере и жизни, Апостол пишет ему послание и указывает на центральное христианское «великое благочестия таинство»: «Это я тебе пишу... чтобы ты знал, как надо жить в доме Божиим, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. И общепризнано всеми, что **тайна благочестия** — велика: Бог явился во плоти, оправдался в Духе, явился Ангелам, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3,15-16).

Эти слова Ап. Павла выражают сущность христианства, сущность нашей веры православной. Ибо действительно, все христианство состоит в том, что **Бог явился во плоти**, что Бог явился именно как человек, то есть Бог явился и стал человеком, не переставая быть Богом. Единородный Сын Божий родился по воле Бога Отца от Духа Святого и Марии Девы, Святой Богородицы, и стал человеком на всю вечность, то есть остался **Богочеловеком**. Он и есть тот самый исторический Иисус Христос — Спаситель наш, Бог и человек в то же самое время, **Который явился во плоти** ради нас, и распят был на кресте за нас, и воскрес из мертвых, победив смерть за нас, и Духом Святым показан был Ангелам и нам, людям, и проповедан был в мире, и основал Церковь Свою на земле, и вознесся во славе на небо, откуда снова придет судить живых и мертвых.

3. Очевидно для каждого православного христианина, что вышеприведенные слова Ап. Павла тождественны с Символом веры нашей Церкви, но, конечно, эти слова более короткие и сжатые. Так же как и в Символе веры, мы исповедуем, что суть нашей веры есть Святая и Живоначная Троица — Бог наш: Отец, Сын и Святой Дух, и потом, что Один из Святой Троицы — Сын Божий явился во плоти и стал человеком; так же и в горних словах Ап. Павла, почти теми же выражениями, исповедуется Та же самая Святая Троица и спасительное воплощение и вочеловечение Единого из Троицы — Богочеловека Христа. Таким образом, «великая тайна благочестия» у Ап. Павла есть по существу дела сокращенный наш Символ веры, или лучше сказать: наш церковный Символ веры представляет собой не что иное как развитие и рас-

ширение этой основной «великой тайны благочестия» из упомянутого гимна первоверховного Апостола.

Через Христово воплощение и вочеловечение открыто и дано нам «великое таинство — веры и благочестия христианского — Святая и Животворящая Единосущная Троица, из Которой Второе Божественное Лицо — Сын Божий воплотился и стал человеком ради нашего спасения. Вочеловечением Своим Христос стал «Начальником и Совершителем веры нашей» (Евр. 2,12), то есть Начальником и Совершителем **благочестия** и бого-чествования нашего; другими словами, Начальником и Совершителем той **«великой тайны благочестия»**, которая есть абсолютное Божественное Откровение, полнейшее Божье явление в мире — **Богоявление** (Θεοφάνεια). Но это явление «великой тайны благочестия» христианского совершилось и совершается **в Церкви** как «доме Бога Живого», как говорит Апостол, и поэтому, вместе с верою в Святую Троицу и в вочеловечение Христово, вера в **Церковь** входит тоже в великую тайну нашего благочестия. Ибо Ап. Павел в том же контексте своего христологического гимна говорит и о Церкви как «доме Бога Живого» и «Столпе и Утверждении Истины», истины именно благочестия христианского, о котором говорится дальше в христологическом гимне.

4. Эта наша христианская от Бога данная **вера** в Святую Троицу, в воплощение Христово и в Церковь Божию Соборную (Православную) есть в то же самое время и **жизнь** наша и спасение наше, и именно эта двоица, то есть **вера** и **жизнь** верою и в вере, составляет православное благочестие, православное истинное благочестие. Можно выразиться и иначе: православное благочестие есть, во-первых, **вера** в Живого Троиединного Бога; Отца, Сына и Св. Духа, и в вочеловечение Сына Божия — Христа, явившегося в теле Церкви и с телом Церкви, как говорит св. Иоанн Златоуст (PG 52, 429), и, во-вторых, оно есть **жизнь** в этой вере, жизнь деятельной веры, осуществляемая в благодатных таинствах церковных и в благодатных подвигах и добродетелях христианских. Невозможно и неспасительно разделение **веры** и **жизни**, и поэтому православного благочестия нет без святой и истинной веры, и без святой и истинной жизни, в которых именно и дается нам спасение во Христе и Церкви Его. Спасение бывает только в нераздельном единстве истинной веры и истинной жизни христианской, а это как раз и есть изначальное православное благочестие. Ложь в вере и в жизни, то есть ересь и лицемерие не имеют ничего об-

щего с «великой тайной благочестия» Церкви православной. Поэтому и говорит св. Иоанн Дамаскин: «Тот, кто не верует по преданию Соборной (Православной) Церкви, или кто злыми делами (т. е. жизнью) имеет общение с диаволом, тот — неверующий» (PG 94, 1128).

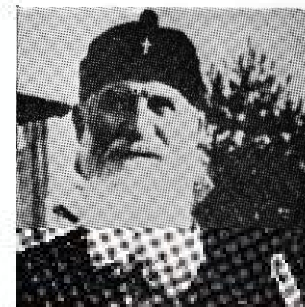
Но чтобы вера была святой и спасительной, она должна быть истинной, то есть **право-славной** («право-верующей»), должна быть «верой Истины», как говорит Ап. Павел (2 Фес. 2,13). То же самое относится и к жизни: чтобы жизнь была святой и спасительной, должна быть истинной, богоугодной, а это значит — жизнью **благочестивой**, жизнью **право-славной**. Глубоко прав св. Иоанн Златоуст, когда, из благодатного опыта, утверждает, что невозможна и не спасительна истинная христианская вера без истинной, то есть святой христианской жизни, и наоборот: невозможна тоже истинная христианская жизнь без правильной, то есть православной веры (ср. PG 53, 31 и д.). Таким образом, только вера православная и жизнь православная, в своем полном двуединстве и тождественности содержат и выражают полноту **православного благочестия**, которое всецело имеет своим источником «великое благочестия Таинство», т. е. Самого воплощенного Христа Спасителя — Богочеловека, Который в Церкви своей Православной (право-славной, право-верной) дает нам, людям, не просто «образ благочестия», но благодатную «силу благочестия» (ср. 2 Тим. 3,5), силу и благодать истинного поклонения Богу в духе и истине (ср. Ио. 4,23).

5. Итак, православное благочестие, по Ап. Павлу и свв. Отцам Церкви, не есть только некоторое наше «религиозное чувство», или некоторое наше «религиозное» убеждение и поведение перед «Высшим Существом», но оно есть истинно **христианское** благочестие, **церковное** благочестие, то есть, прежде всего, **живая** и деятельная, творческая **вера** («творение Истины», по словам Евангелия — Ио. 3,21) в Живого Христа Спасителя, и жизнь в этой вере во Христа, благодатная «жизнь во Христе» и в Церкви как Теле Его, как говорил св. Иоанн Кронштадтский. Именно и только в этой вере и в этой жизни нашей во Христе, Христос как Спаситель наш в Церкви Своей перерождает нас из грешных и непотребных рабов в истинных и верных сыновей Божьих, и тогда в Духе Святом исполняет нас спасением Своим и вечной жизни Своей, для которой мы созданы и призваны. В этом и содержится и раскрывается всецело цель православного благочестия, ибо последняя цель

его — спасение и вечная жизнь людей и вхождение в Царство Божие.

Это вхождение в Царство Божие дается нам людям в истинной Церкви, прежде всего в Крещении и во Святой Евхаристии, то есть во Святой Литургии и Соборной Церкви Православной. Поэтому, литургия нашей Церкви и вообще вся литургическая жизнь православная и есть то место, где православное благочестие находит свои подлинные корни и свое последнее исполнение. Ибо Литургия как таинство церковно-соборной **Евхаристии** есть явление «благословенного Царства» Отца и Сына и Святого Духа, то есть явление таинства **домостроительства** Христова, явление «великого благочестия таинства», которое в конце концов есть не что иное как Самый Христос, по свидетельству свв. Апостолов и свв. Отцов (ср. Кирилл Александрийский, PG 75, 1196).

К СОЗЫВУ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА *)



ОБРАЩЕНИЕ АРХИМ. ИУСТИНА ПОПОВИЧА

Святому Архиерейскому Собору Сербской Православной Церкви,
Белград, через Его Преосвященство Епископа
Шабачко-Вольявского Иоанна.

Несомненно, что для нормального мыслящего человека, как существа богообразного, единственная и высшая ценность есть Богочеловек Господь Иисус Христос. То же самое мы должны сказать и про Его Церковь, которая является Его Телом, Он же — единой Главой ее. Поэтому, говорить о Церкви Христовой, Церкви Апостольской-Православной, значит говорить о Самом Господе Иисусе — Богочеловеке. Ибо Церковь есть не что иное как тот же Богочеловек Христос, продолжающийся во вся веки. Отсюда и проистекает благовещение апостольское в форме всеобязательной заповеди: «Чтобы быть Ему во всем первым» (Кол. 1, 18), — Ему, историческому Богочеловеку Господу нашему Иисусу Христу.

Из-за всего этого, ко всему, что относится к Нему и к Церкви Его, мы должны приступать с литургическим «страхом Божиим, верою и любовью». И наше православное личное и соборное самощущение и самосознание должны всегда начинаться с Него и

(*) Как известно, православные Церкви готовятся к созыву Всеправославного собора в недалеком будущем. Однако далеко не всем богословам такой Собор представляется желательным в виду тяжелых условий, в кот. находятся почти все Православные Церкви. Прим. Ред.

кончатся Им. Ибо Он сказал и объявил истину о Себе на все времена и всю вечность: «Я — Альфа и Омега, Первый и Последний, Начало и Конец» (Откр. 22, 13; 1,10, 17, 18).

Итак, Богочеловек есть всяческая во всем в Церкви: Он есть ее апостольство, Он и святость ее, Он и ее единство, Он же и ее соборность и вселенскость, Он же и ее безгрешность. Так что в Церкви, в которой Богочеловек всячески во всем, ничего не позволяется решать «по человеку», «по преданию человеческого, по стихиям мира, а не по Христу» — Богочеловеку (Гал. 1,11; Кол. 2,8). Почему? — Потому что «в Нем обитает вся полнота Божества телесно — *σωματικῶς*» (Кол. 2,9), то есть в теле человеческом. И кроме этого еще потому, что Богочеловек «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13,8). Поэтому именно, все проблемы в Православной Церкви, начиная с апостольского времени до ныне и отныне до Страшного Суда, решаются Им и только Им. В этом как раз и состоит православность Православной Церкви, и ее единственность и всеистинность.

Что касается современных проблем Православной Церкви, — если они не решаются в Богочеловеке, по богочеловечески, по апостольски, по святоотечески, то они не могут получить свое православное и Богу угодное решение, но непременно ведут к катастрофам, к расколу, к ереси, в разные гуманистические заблуждения, и даже в анархизм и нигилизм. Несомненно, что то же самое имеет значение и в отношении вопроса созыва и проведения нового Вселенского Собора, который в последнее время насильно навязывают с некоторых сторон страждущей Православной Церкви. В связи с этим уже тут и там созываются на переговоры делегаты Поместных Православных Церквей; публикуется в разных газетах и журналах даже и время и место созыва этого Собора, будто бы в 1973 году в Александрии.

Перед лицом этого факта, взволнованная сегодня совесть каждого православного, а также и соборная совесть Церкви Православной, с понятным недоумением ставит себе вопрос: почему пришли к этому именно сейчас, когда почти все славянские поместные Православные Церкви находятся под правлением агрессивного антирелигиозного коммунизма? Несомненно, что в этом отношении диаметрально противоположно положение Православных Поместных Церквей до войны и после войны. Когда-то Православие было верой широких народных масс, сегодня же вера — «опиум для народа!»

Я не считаю, что в нынешних обстоятельствах существует

действительно непреходящая необходимость созыва Вселенского Собора. Но если она и существует, то данный момент именно самый неподходящий в истории нашей Церкви. Ибо, чтобы дело, имеющее большое историческое значение, окончилось с успехом, должны прежде всего быть созданы благоприятные условия, и должны заблаговременно быть сделаны основательные приготовления. Между тем, сегодня, насколько я знаю, нет ни того, ни другого. Вот, например, уже столько лет прошло, а мы еще не приготовили нужный материал для исполнения определений Родосских совещаний, хотя времени и возможности для этого было довольно. (Оставим пока в стороне вопрос о том, насколько самая проблематика и задачи, поставленные Родосскими совещаниями, отвечают православному святоотеческому сознанию и православному соборному преданию). Ясно, что условия для созыва Собора самые сейчас неподходящие и даже противные почти во всех поместных Православных Церквях.

Мы не должны забывать следующее: наше время, во многом, время апокалиптическое. Уже начался «час искушения, грядущий на всю вселенную, искушить живущих на земле» (Откр. 3,10). Между ними и с ними, конечно, и нас — православных Сербов. То, что Господь в Откровении говорит о Семи Поместных Церквях, имеет гораздо большее значение для сегодняшних Православных Поместных Церквей, которые по времени находятся ближе к апокалиптическим ужасам и событиям времени пришествия Антихриста, чем Поместные Церкви апостольского времени, про которые Господь говорит в Откровении (1,11-3,22). Из многозаботливых слов Спасителя слышится прежде всего Его громогласная заповедь, обращенная ко всем Поместным Церквям: «Покайся!» (Откр. 2,5,16,22; 3,19). Эта заповедь, конечно, обращена и к сегодняшним Поместным Православным Церквям. Ибо это говорит тот же Вседержитель и Промыслитель, держащий «в правой руке Своей — семь светильников — семь Церквей» (Откр. 1,20).

В Богочеловеческом организме Церкви Православной все вообще находится в теснейшей органической взаимосвязи. Какой бы мы ни коснулись церковной проблемы, мы прикасаемся к самой Богочеловеческой Личности Господа Христа. И доказательством этого служат все Семь Св. Вселенских Соборов. Ибо все Вселенские Соборы, по существу, решают одну единственную проблему нашей планеты и рода человеческого: проблему Богочеловека Господа Иисуса Христа. Основная забота Соборов состояла в том, чтобы сохранить нетронутой и неповрежденной Всесвятую Богочеловеческую Личность Господа Иисуса Христа, и все Его богоче-

ловеческие дары, которые он принес и в Церкви, как Телом Своим, положены на все времена и вся веки. Все эти Св. Вселенские Соборы дают одно самое главное наставление для всех людей всех времен: с решением проблемы Богочеловека Господа Иисуса Христа, то есть Его Апостольской Православной Церкви, решаются прямо и косвенно все существенные проблемы неба и земли. Поэтому всякий новый Вселенский Собор не будет ни Святым, ни Вселенским, ни Восьмым Собором Церкви, если он прежде всего не примет все предшествовавшие ему Вселенские Соборы, и все их святыи, соборные, кафолические, вселенские, непреходящие определения.

Действительно, чтобы новый Вселенский Собор был Православным и Вселенским, он должен быть продолжением предшествовавших ему Семи Вселенских Соборов. Здесь именно мы должны иметь апостольскую и святоотеческую прозорливость и богомудрость. Ибо именно здесь, больше чем где бы то ни было, имеет большое значение человеколюбивое предупреждение Спасителя: каждый даст ответ в день Страшного Суда за всякое слово праздное, сказанное про Церковь Божию, которая есть Тело Богочеловека Христа у которой есть Всесвятая и Вечная Глава. Увы, таких праздных и неизмеримо опасных слов про Церковь высказали уже уста многих официальных представителей Православной Церкви, а также и уста разных представителей государственной власти. Об этом можно было бы написать целый ряд книг, ибо подобных фактов имеется, к сожалению, слишком много. Все эти печальные факты свидетельствуют только об одном: об отвержении вечного Канона Церкви Православной, высказанного от Господа устами Св. Апостолов: «Повиноваться должно Богу больше, чем людям» (Д. Ап. 5,29). В этих именно словах или лучше сказать каноне святых Апостолов дан раз навсегда неизменный церковный догмат для решения всякой дилеммы между Церковью и мирскими властями. Этот догмат представляет силу и критерий, которые имеют вечное значение, продолжающееся через свв. Отцов и свв. Вселенские Соборы до Второго Пришествия Христова.

Между тем, и Ангелам на небе и людям на земле, а особенно нам православным христианам известно, что в наше апокалиптическое время многим иерархам Православных Поместных церквей будет трудно или даже невозможно, из-за слабостей человеческих, исповедывать и свидетельствовать о православных и святоотеческих догматических и канонических истинах на этом предполагаемом Вселенском Соборе. Из-за всего этого, самым правильным

для православных сейчас было бы не созывать Вселенский Собор или по крайней мере не участвовать в нем.

Особый же вопрос: каково будет положение и позиция нашей Сербской Православной Церкви на этом предполагаемом Вселенском Соборе? С чем мы явимся пред лицом Сербских Святых? Разве только с двумя церковными расколами, существующими в нашей Церкви, и еще со многими другими духовными ранами и слабостями...

В конце концов, что мы можем ожидать от такого Вселенского Собора? Одно, только одно в данное время: расколы и ереси, и разные другие бедствия. Это мое глубокое предчувствие и печальное убеждение. И мне здесь припоминаются горькие слова Св. Григория Богослова, имеющие значение именно для нашего времени: «Если надо сказать правду, то я держу себя так, что удаляюсь всякого собрания Епископов. Ибо я не видал благого конца ни одного собора, ни разрешения зол, но паче умножения. Ибо всегда бывают ссоры и властолюбия» (Письмо 130-е, Migne, P.G. 37,225).

Поэтому умоляю Святой Архиерейский Собор, чтобы наша Сербская Православная Церковь воздержалась от участия в приготовлении этого Собора и от участия на самом Соборе, если он, по несчастью, состоится. Так мы не возложим тяжелый грех на нашу Церковь Божию, Церковь святого Саввы, и на наш недужный православный народ.

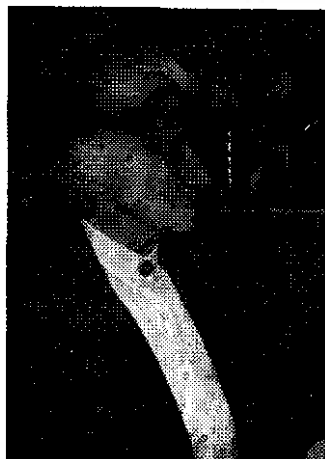
Поручаю себя святым апостольским молитвам свв. Отцов Святого Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви

недостойный Архимандрит Иустин (Попович)

На Св. вмч. Георгия
1971

Монастырь Св. Килие.
Сербия

Ирина ГОРЯИНОВА



ОТЕЦ АМФИЛОХИЙ

16-го апреля 1970 года, в четверг перед Лазаревой Субботой, скончался на острове Патмосе старец Амфилохий Макрис, известный всей Греции, уважаемый всеми и любимый «Пневматикос» (духоносец).

Он был сыном Патмоса и вся жизнь и деятельность его протекли на острове Святого Иоанна Богослова и на окружающих островах Эгейского моря. Патмос среди них один из самых маленьких. Выжженный зноем, капризно-извилистый, его причудливые бухты блещут вечно синей водой и солнце золотит отражающиеся в ней скалы. Дует ветер, гудит как труба в пещере «Апокалипсиса», где великий тайновидец, будучи «в духе в день Воскресный» диктовал своему ученику Прохору неразгаданные слова о кончине мира. Жители Патмоса верят, что Апостол не умер и облик его неразлучен со святым островом. Ему посвящен построенный в XI веке похожий на византийскую крепость «большой» монастырь. Как распустивший крылья над стадом овец орел, высится он над белизной Хоры — старинного городка с узкими улочками, крутыми лесенками и таинственными арками.

В этот-то монастырь с его почти тысячелетней историей поступил в 1906 году семнадцатилетний юноша, сын местных земледельцев, Афанасий Макрис. Немного спустя он был пострижен в монахи под именем Амфилохия, произведен в диаконы в 1918 году, а сан священника принял два года спустя, тридцати одного года от роду.

Но жизнь богатого, закоснелого в своих привычках монастыря не удовлетворяла пылкого идеалиста. Не спросясь разре-

шения, он сел на корабль и уплыл в Палестину. Через год однако его вернули и отправили в наказание за самовольство и на поправление в скит, называемый «Аполлу», на северо-восточной окраине острова.

Если «монастырь-орел» представляет грозную сторону Иоанна-Воанергеса, «сына грома», то наоборот все безукоризненно-белые, молочно-белые церкви, церквушки, скиты, «катисмы» и часовни сгруппированные около Хоры, разбросанные среди острова, говорят о девственной и, если можно так выразиться, нежной чистоте любимого ученика.

В белевшем над морем ските «Аполлу» жил отшельник Макариос Антонидис. Он разводил огород, радовался на красоту мира Божия и усердно молился в церковке, купол которой был похож на опрокинутую ракушку. К нему-то послали на исправление провинившегося Амфилохия. Старик Макариос полюбил молодого монаха, сделался его духовным отцом и облек его в схиму. Амфилохию же так понравилась жизнь в скиту, что он не прочь был бы там навсегда остаться. Но его потребовали обратно в монастырь.

Восстановить православное монашество во всей его первобытной чистоте, такова была мечта отца Амфилохия.

Ему пришлось познакомиться с двумя видными представителями современного греческого православия: с Нектарием Эгинским, епископом Пентаполийским (канонизированным почти что сразу после смерти), и с Евсевием Матропулосом, основателем братства «Зои». Взгляд у обоих на монашество был различный. Для Владыки Нектария, молитвенника и эсихаста, основателя женского монастыря, монашество было сопряжено с уходом из мира. От него отец Амфилохий научился молитве Иисусовой и до конца своей жизни с умилением вспоминал как ему довелось однажды разговляться со святым Владыкой и «чокаться» с ним крутыми яйцами. Идеалом Евсевия Матропулоса было монашество в миру, активность и миссионерство. Отец Амфилохий им временно увлекся. Но только временно.

В 1920 году он познакомился с молодой учительницей с острова Калимоса, которая стала его духовной дочерью и, разделяя его взгляды, его сотрудницей. Вместе они основали на Патмосе, в 1936 году, женский монастырь под названием «Благовещение Матери Возлюбленного», известный просто как «Евангелизмос» — «Благовещение». В нем они надеялись осуществить свой идеал возрожденного раннего монашества. Все должно было

следовать старинному византийскому укладу — церковное пение, даже одежды сестер: вокруг них стали собираться женщины и девушки — святые души.

Одной из первых поступила сестра Лукия, мужа и брата которой зарезали в Малой Азии турки. Она спаслась на лодочке, переплыв на греческий остров. Привыкшая работать в поле, сестра Лукия и в монастыре неустанно копала, сажала, собирала, сеяла. Отец Амфилохий любил деревья, сажал их на безводном острове, где только мог. (Велика была его радость, когда ему прислали из Ливана росточки Ливанских кедров — но они не принялись). Любил он и сестру Лукию, приземистую, толстощековую, и добродушно над ней подшучивал. «Я попрошу Господа, сказал он перед смертью ей, уже девяностолетней старушке, чтобы он оставил тебе место для работы в райском саду своем».

У него было много тихого, лукавого юмора. Когда около старинной церкви святого Евангелиста Луки начали строить первые кельи нового монастыря, итальянцы, бывшие тогда хозяевами острова, заволновались:

— Что это вы строите?

— Курятник, отвечал отец Амфилохий.

Накануне войны, в 1938 году, отец Амфилохий был выбран игуменом «Большого Монастыря» (Иоанна Богослова). И туда он перенес свое желание возродить православное монашество. Далеко не всем оно было по сердцу. Начались трудности и с итальянцами. Муссолини надеялся окончательно сохранить за Италией острова Додеканеза. В школах преподавали исключительно итальянский язык. Греческий был запрещен. Отец Амфилохий организовал тайные вечерние школы, где детей учили родному языку и где преподавали тоже запрещенный православный катехизис. Велика была его популярность на острове. На фотографиях того времени лицо у отца Амфилохия волевое, энергическое. Он не скрывал своих антифашистских и антинацистских взглядов. Итальянцы его выслали. Он нашел убежище у братства «Зои» в Афинах. Оттуда он разъезжал по Греции, проповедуя, навещая все более и более многочисленных духовных детей своих: в Янине, в Салониках, на островах — на Самосе, на Крите. Его известность в стране росла. Всюду он был окружен уважением и любовью.

Когда кончилась война и Додеканез присоединили к Греции, губернатор этих островов пригласил к себе отца Амфилохия, прося его заняться детским приютом на Родосе, которым до ухода

итальянцев заведовали католические сестры. Отец Амфилохий согласился. Это была его контрибуция «активному» монашеству. Настоятельнице Евангелизмаса, Матери **Евстохии**, пришлось переехать с Патмоса на Родос, где управление большим приютом требовало ее присутствия и организаторских способностей. Отец же Амфилохий вскоре поселился в Евангелизмосе, любимом детище своем, оставив за собой свою келью в «Большом» монастыре, куда он наезжал только изредка, для приема именитых гостей, в дни выборов нового игумена или на большие праздники. Дорога в Евангелизмос крутая, каменистая, не проезжая. Ему подводили осла и он ехал, как библейский пророк, сидя боком на деревянном седле, в сопровождении молодого монаха и шедшего рядом хозяина осла, которого тот подгонял протяжным криком «Э-э-э-й!»

Ему было около семидесяти лет когда я, в 1960 году, с ним познакомилась. Высокий, статный, благообразный, серебрянобородый старец, с четками в руках, умудренный жизнью и умиротворенный, он двигался медленно, степенно, улыбался ласково. В доброте его нельзя было сомневаться. Восточное гостеприимство доведено у него было до пределов тонкости. Каждый чувствовал себя особо обласканным. Он очень любил гостей. Хотя он говорил только по-гречески и в отсутствии сестры Параскевы говорящей по-французски и с отъездом на Калимнос сестры Агнии, говорящей по-английски, переводить было некому, каждый посетитель уходил от него обрадованным и счастливым, со светлым чувством на душе. «На том свете, говорил он со своей чуть лукавой улыбкой, мы все на одном языке говорить будем!»

Греки приезжали к нему с материка, с островов, из Америки, из Австралии. Бывали у него и французы и англичане, и австрийцы и немцы и шведы. Но особенно любил он своих братьев-единоверцев и, между ними, русских. Он часто вспоминал как, будучи в молодости на Афоне, он обедал в трапезной Пантелеймоновского монастыря, где собиралось тогда около тысячи монахов. Неизгладимое впечатление от пребывания на Патмосе и посещения отца Амфилохия осталось у многих наших соотечественников. Старец был одарен незаурядной памятью. Он помнил всех его когда-либо навестивших, передавал им приветы, спрашивал об их здоровье, интересовался их проблемами. С Владыкой Касьяном, ректором Сергиевского подворья в Париже, у него была заочная дружба и шла по-гречески, полная взаимной предупредительности и старомодной почтительности, переписка.

Тяжелое положение русской церкви тревожило отца Амфи-

лохия, но он твердо верил в ее возрождение. В часовне Антония Великого (во всех греческих монастырях бывает по несколько часовен) он воздвиг алтарь в память «Неизвестных Мучеников». Из Бельгии ему прислали список погибших во время революции и после нее русских епископов. Наклеенный на куске картона, он стоит на краю алтаря. Над ним висит фотография царской семьи, членов которой старец причислял к принявшим венец мученический.

Каждый год отец Амфилохий служил в этой часовне «агрипнию» (он очень любил эти длинные ночные службы), за которой следовала литургия. Причащались часа в три утра, затем шли пить кофе, усталые и счастливые, расходились на рассвете. Отец Амфилохий был как-то особенно светел в эти минуты.

Из русских святых он больше всего любил Серафима Саровского. Казалось что-то их внутренне связывало: молитва Иисусова, покровительство Матери Божией, любовь Иоанна Богослова, который с Ней являлся Саровскому подвижнику и которому житель Патмоса Амфилохий старался следовать, основание женского монастыря. Вместе со Святым Серафимом, отец Амфилохий мог бы воскликнуть: «Нет краше жития монашеского».

Евангелизмос разрастался. Просились новые послушницы, которым приходилось отказывать за отсутствием места. Строили наспех новые кельи. После нескольких лет отсутствия на Родосе, Матери Евстохии, назначившей себе заместительницу, удалось вернуться на Патмос. Сестры же чередовались; поработав на Родосе, они возвращались в любимый Евангелизмос жить молитвенной жизнью и набираться духовных сил под руководством отца Амфилохия. Без его благословения ничего в монастыре не делалось. Оно текло на всех и вся как елей — елей на «браду Ааронову». Мать Евстохия была гораздо строже.

Постепенно сестер на Родосе остается все меньше. Где можно, их заменяют светские учительницы. Идеал монашества не связанного с мирскою деятельностью торжествует над идеей активного миссионерства. На Патмосе, не выходя из монастыря, сестры шьют церковные облачения, вышивают старинным византийским швом, занимаются хозяйством, работают в саду, разводят пчел. Сестра Олимпиада, ученица знаменитого изографа Кондуглу, обновившего греческую иконопись, подпавшую было под итальянское влияние, пишет иконы и учит способных к этому искусству.

Летом отец Амфилохий переселялся на северный склон противоположного Евангелизмосу холма, где под большими разве-

систыми кедрами уютилась беленькая часовня посвященная Преображению, известная под названием «Христос», а рядом белый одноэтажный дом. Там в простой бедной келье старец искал облегчения от сильного зноя, вредившего его больному сердцу. Он очень любил это прохладное, тенистое место и принимал посетителей, сидя в кресле под ароматными ветвями хвойных деревьев. Оттуда было видно море и солнечный шар, ярко спускавшийся вечером в его синие воды. Старец призывал сестер, и они грудными голосами своими пели «Свете тихий», глядя на закат.

Праздник Преображения, особо чтимый отцом Амфилохием, отмечался величественно. Приезжал из «Большого монастыря и торжественно сослужил в маленькой часовне, окруженный духовенством в светлых ризах, сам игумен. Собирались на утреню и на литургию празднично одетые жители Патмоса. После службы всем разносили кофе в маленьких чашечках и особые печенья. Под деревьями были расставлены длинные столы. Ели освященный в этот день виноград. У себя в келье отец Амфилохий принимал мужчин. Он был прекрасным рассказчиком — умел и любил рассказывать о прошлом острова, о святых монахах. Опершись на посох, слушали его, одобрительно качая головами, старые пастухи с благородными морщинистыми лицами.

Иногда отец Амфилохий уезжал на осле в Кувари — построенный им на берегу далекого залива скит. Там жили его духовные дети — молодые монахи. Но монашество имеет в современной Греции меньше успеха среди мужчин чем среди женщин. Идеал «ангельского» жития доступен в наши дни немногим. Монахов в Кувари было мало. Стояла там сначала у моря маленькая белая часовенка, посвященная Иосифу Обручнику, которого отец Амфилохий почитал. Затем ему же воздвигли церковь, которую я видела только издали — вход в Кувари женщинам теперь запрещен.

Раза два вызывали отца Амфилохия в Константинополь к Патриарху Афинагору. Возвращался он ободренный, обласканный, радостный. Между этими двумя старцами не могло не быть духовного родства. Никогда не забуду посещения Патриархом Патмоса. Привезенный из порта в Хору на автомобиле, он шел пешком в монастырь святого Иоанна, окруженный детьми, высокий, величественный, в черной рясе. Народ толпился и одобрительно шептал: «Аплос!» («простой»). Перед стариками он останавливался и, кладя им руки на плечи, спрашивал их помнят-ли они турок. В монастырь ведет крутая, широкая лестница. По ней, навстречу именитому гостю, спускался отец Амфилохий, в гра-

натовом бархатном облачении, с золотым евангелием в руках. Солнце сияло. Ветер развеивал его серебристую бороду. Патриарх заторопился ему навстречу и оба благообразных старца обнялись в то время как звонили, радостно гудя над ними, колокола «Большого монастыря». (1).

Здоровье отца Амфилохия, надорванное многими трудами, пошатывалось. У него был диабет. Боялись за его сердце. Чаше и чаще приходилось ему уезжать лечиться то на Родос, то в Афины. Память стала ему изменять. Иногда в церкви он плакал. Почему? «Я скоро умру», отвечал он. Это были слезы покаяния. Но сам он был все такой-же мирный, светлый, как тихо догорающая перед иконой свеча. Длинные службы были ему не под силу. Стал служить в Евангелизмосе духовный сын его, окончивший в Париже Богословский Институт, Илья Каланзис.

Уезжая с Патмоса в октябре 1969 года, сердце сжималось у меня от грустного предчувствия. Я пошла в Евангелизмос прощаться. Отец Амфилохий принял меня в своей большой, светлой келье. Он сидел в кресле и читал. Я попросила разрешения снять с него фотографию. Он сразу же согласился, велел принести себе камилавку и спустился во двор. Молодые послушницы окружили его, желая с ним сняться. Было радостно и весело. Отчего не запомнила я нашего последнего разговора? Вообще он никогда не «учил», только высказывал любовь свою. Сияние его личности, для тех, кто мог вместить, было наилучшим наставлением. Я ушла, оборачиваясь несколько раз. Он стоял на площадке, на фоне моря, благословляя.

В декабре я получила от него письмо. Он благодарил за присланные фотографии, писал о радости, которую доставило ему посещение отца Николая Оболенского из Парижа, брата Викентия из протестантского «монастыря» Амсхаузена в Германии.

«На твой домик (2) я смотрю часто. Погода хорошая и я выхожу гулять за калитку монастыря. Домик без тебя скучает, как и мы, и ожидает твоего возвращения, чтобы дать тебе покой, который трудно найти теперь в шумных городах».

Письма его (он их диктовал сестре Параскеве) всегда начинались словами: «Любимое мое во Христе чадо духовное» и кончались, после отеческого благословения, собственноручной легкой, угловатой подписью: «Твой $\gamma\epsilon\rho\beta\upsilon\tau\omicron\varsigma$ (старец) Амфилохий Макрис, Иеромонах».

(1) Литые в России самые большие из них были присланы в подарок монастырю св. Иоанна Богослова в прошлом веке.

(2) Расположенный на горе против Евангелизмоса.

Я обрадовалась, думая что раз он ходит гулять, тодоревье его лучше, написала ему на Пасху длинное письмо. Нв ответ пришло известие о его кончине.

Оказывается, что со всеми навещавшими его в эту зиму он прощался как бы навсегда. Он был очень слаб, но память к нему вернулась и более чем когда-либо он казался тихо спящим.



После Рождества он заболел гриппом. Поправился, стал выходить. Опять простудился. Сильный кашель утружда сердце. Был Великий Пост. И вот однажды (он перед самой смеею рассказал это архимандриту Павлу, живущему в «Апокапсисе») явился ему Апостол Иоанн Богослов. «Я просил его, чтобы еще

одну Пасху мне провести на земле, среди сестер Евангелизмаса. Но он ответил: *δεν γίνεται* — не может этого быть. На Пасху ты будешь с нами».

Совершенно успокоенный, отец Амфилохий с этого момента стал готовиться к близкой кончине. В следующее Воскресенье он собрал в своей келье игуменью Евстохию и всех сестер, просил у всех прощения, благословил всех вместе, затем каждую отдельно говоря ей на прощанье нечто лично к ней относящееся. Игуменью он просил умерить строгость. «Они собрались здесь Господа ради, оставив все. Не нужно чтобы они были несчастны».

В четверг 16-го апреля днем при нем были ходившая за ним сестра Агата, отец Илья Каланзис. Умиравший часто повторял: *φωτισμός, αγιασμός*.. (освящение — Духом Святым), затем, приподнявшись, воскликнул: «'Ελα, παναγία μου!» Гряди, Пречистая! и склонившись на руки отца Ильи, почил. Лицо у него последнее время было младенчески-ясное, радостное, как у счастливого ребенка. Ему шел 82-ой год.

На похороны собрался весь Патмос, во главе с игуменом Большого Монастыря, монахами и клиром. Сослужил с игуменом приехавший из Колимбоса Митрополит. Народу было столько, что на колени было встать невозможно. Были произнесены прочувственные надгробные слова. Все плакали.

Похоронили отца Амфилохия на маленьком кладбище под стенами Евангелизмаса где уже лежат сестра покойного и умершая два года тому назад монахиня. За ущельем налево белеет под раскидистыми кедрами любимая его часовенка «Христос». Впереди, внизу, синее море. Тишина. На белой мраморной плите надпись: «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев» (I Ио. III,14) и «Тот, кто любит Бога и ближнего, имеет закон и пророков» (аколусия Савве Освященному).

Люди всех исповеданий, всех национальностей, писали выражая свое сочувствие. Не только православные находили около трезвого, мудрого, одухотворенного старца путь жизни. Вот что писала мне в мае прошлого года одна замечательная женщина, немка, возглавляющая в Германии смешанную общину монастырского характера:

«Aber nein, Vater Amphiloichios ist nicht gestorben! Нет, не умер Отец Амфилохий! «Кто в Меня верует, тот не увидит смерти вовек». — «Где Я, там и слуга мой будет...» Вам не нужно теперь ходить к нему в келью, чтобы видеть его. Он сам может

прийти к вам, где бы вы ни были — во Франции, на корабле, на острове, как Святой Серафим, не связанный больше Саровом. Мне кажется, что друзья его должны с ним вместе радоваться, что радость его теперь исполнилась... Как благодарна я, что могла его узнать и посетить и в течение пяти лет иметь его руководителем, духовным советником и другом... Соединенные взаимной любовью будем благодарить и Того, Кто взял его к Себе для жизни вечной».

Приехав на Патмос в июле 1970 года, три месяца после смерти отца Амфилохия, я думала найти Евангелизмас в трауре. Но нет. Дух у сестер был мирный, даже веселый. Мать Евстохия энергично занималась окончанием новых построек. И я поняла: в смерть они не верили, но верили в загробную жизнь, таинственную, но реальную. Связь между отцом Амфилохием и его духовными детьми изменилась, но не прекратилась. Сестры видят старца во сне, просят его советов. Он отвечает. «Что нужно делать, чтобы быть там, где Вы?» — спросила одна из них. — «Нужно отбросить всякого рода эгоизм, был ответ. Любить всех одинаково, никому не давая предпочтения, иметь чистое сердце и чистый ум».

Таково загробное завещание человека, который при жизни на Патмосе стремился воплотить в себе слова Святого Апостола Иоанна Богослова, любимого ученика:

«Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (I Ио. III,18).

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога» (I Ио. IV,7).

Николай АРСЕНЬЕВ



О религиозном опыте Достоевского

(Встреча. — Проблема страдания. — Просветление)

1.

Есть отдельные великие мыслители, художники, искатели и носители и свидетели жизни Духа, которые через длинную цепь веков близки нам и говорят нам о самом главном: о Божественной Действительности, как смысле этой нашей жизни. К ним принадлежит, напр., Данте с его восприятием красоты и любви земной, как только начальной ступени к Красоте и Любви Превосходящей, — или, напр., Паскаль с его ужасом перед безответной, молчаливо зияющей пропастью беспредельного мира («молчание этих бесконечных пространств меня ужасает») и свидетельством о просветлении жизни прорывом Божественного («*Feu... Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non des savants et des philosophes... Sentiments de joie, paix... Pleurs, pleurs de joie...*»).

И еще ряд других пророков и свидетелей, подобных им. К этому числу принадлежит и Достоевский. Поэтому он и близок нам теперь, сейчас, через 150 лет после дня своего рождения — может быть, даже ближе, именно теперь нам, чем тогда своим современникам. Не потому, что мы особенно «созрели», а потому, что времена созрели и потому, что свидетельство его и пророчество проявилось в своей значительности и силе именно теперь — в «горниле» испытаний, пережитых Россией и миром

после Достоевского. Времена стали мрачнее, страшнее; вспышки света тем ярче.

У Достоевского два основных свидетельства: о смысле мира и жизни — в раскрывшейся тайне бесконечного снисхождения, более того — самоотдания Любви Божией, и о смысле страдания. Второе непосредственно связано с первым.

Достоевский все снова и снова созерцает эту тайну и свидетельствует о ней, каждый раз переживая ее всей глубиной своей души, всем страданием и вопрошанием своим, перед которым вдруг, все снова и снова раскрывается ответ: Встреча с Богом. С любящим, страдающим, побеждающим в Своем страдании и силе Своего воскресения — прощающим Богом. В этом, ведь, — конечный смысл «Легенды о Великом Инквизиторе», которая сама ведь увенчивает знаменитый диалог «Pro и Contra» между двумя братьями о Боге.

Встреча с Богом, объединение с Ним, захваченность, покоренность Его любовью, Его захватившей меня, раскрывшейся мне, покорившей меня Превозмогающей Действительностью — вот ответ, вот — смысл жизни и бытия вообще, вот — ответ на страшный вопрос о страдании. На него не может ответить обещание будущих благ: «слишком дорогой билет». Но Он, покоряющий меня, и Сам страдающий — до глубины, до невообразимой глубины — может раскрыться мне именно в Своем страдании, в Своем крайнем, смиренном, «отдающем Себя» и имеющим власть простить меня и захватить душу мою, любящем страдании, и победить меня Своею Любовью, и исполнить меня Своей Любовью. Вот тут — преодоление и страдания и смерти, уже теперь, в этой внутренней встрече моей с Ним раскрывается мне победная, смиренная, умиляющая и покоряющая сила Его, Божественная Действительность Его и победа Его над смертью. Это пережил Алеша в этом ключевом камне или венце всего творения Достоевского, в его главе о Кане Галилейской. Алеша, заснувший на коленях в келлии почившего старца Зосимы под монотонное чтение Евангелия над его гробом, вдруг видит себя перенесенным на брак в Кане Галилейской. Он слышит голос живого и преображенного, стоящего рядом с ним, старца Зосимы.

«Веселимся, — продолжает сухонький старичок, — пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый Архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подаю, вот и я

здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое! ... А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?

— Боюсь... не смею глядеть... — прошептал Алеша.

— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут...»

Вино Вечной Жизни!

Такой же отблеск встречи с Господом и Спасителем схвачен Достоевским в конце знаменитого сна Версилова в «Подростке». Версиров описывает свои странствия по Европе и видит, как она все более и более отходит от своей христианской традиции, от своей веры, от своих духовных ценностей, вытекающих из веры в Бога. Идет воинствующий поход на веру в Бога. И сердце его сжимается от боли в знаменитом его вещем сне, который он рассказывает своему сыну — «подростку» в минуту душевных излияний. Кончилась борьба после «комьев грязи и свистков». Наступило затишье и люди остались одни. Великая прежняя идея оставила их, тот «великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их»... И они вдруг почувствовали, что они остались о д н и, что они о с и р о т е л и. И эта любовь их, которая была устремлена на То Высшее, что давало смысл всей жизни, всему бытию, устремилась теперь на все окружающее — «на природу, на мир, на людей, на каждую былинку». И особенно друг на друга. С нежной любовью они спешат прижать друга друга к сердцу, послужить друг другу, с нежностью обнять друг друга, зная, что все проходит без возврата, и они сами и их любовь. «Ибо исчезла великая идея бессмертия», любовь к Тому, «Который и был Бессмертие».

«О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и

ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

(Часть II, глава 7-ая).

Как это похоже на современное американское «богословие» о преодолении исчезнувшей веры в Бога «Death of God» Hamilton'a, и других. Кстати, богословие, расцветшее 5 лет тому назад и уже отцветшее *).

Но у Версилова его вещей сон тут не кончается. Сам он называет себя русским европейцем, «деистом», но какой он «деист»? Он — один из многочисленных аспектов того, что является духовной сущностью самого Достоевского. Перед нами страстный, слабый, грешный человек, свой взор с ревнивой любовью устремляющий к единому Источнику силы и восстановления — Христу, Божественному Дарователю победы над смертью.

«... Замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть Бога?» И тут как бы пелена упала со всех глаз и раздавался великий восторженный гимн нового и последнего воскресения...»

Это созерцание Христа — центр духовной жизни и духовной силы и любви и веры Достоевского. Как в перво-христианском благовестии, как у апостола Павла: «Мы же проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же спасаемых — Христа, Божию Силу и Божию Премудрость». (1 Кор., 1,23). В этом — вся суть, все содержание христианства вообще.

2.

В этом — суть и для Достоевского. Об этом говорит и его усиленная молитва умиленного, напряженного созерцания**), и его «ревнивая любовь» к образу Христа в самые различные периоды жизни, с колебанием в ударениях, толкованиях, оттенках,

*) См. об этом мою статью «Религиозный кризис» в майской книжке журнала «Возрождение» за 1970 г.

**) См. Воспоминания его второй жены Анны Григорьевны, рожд. Сниткиной.

но неизменная, напряженная захватившая его любовь, как к Тому, Кто является его опорой и основанием и источником силы и осмыслителем мира и жизни.

Даже в эпоху еще полу-позитивистического, казалось бы, мирозерцания — первые годы после освобождения его из каторги — он так чувствует. И с какой силой чувствует! Вспомним его знаменитое, полное, казалось бы, парадоксальности, письмо к жене декабриста Фонвизина (пославшей ему Евангелие в самом начале заключения его в острог; он четыре года держал его под подушкой на своих нарах). Это письмо начато им через несколько дней после освобождения из «Мертвого Дома».

«...Скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснее истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу, что другими любим, и в такие то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но — с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». (№ 61, февр. 1854 г.).

Мы видим, что письмо полно отзвуков борений, мучительных сомнений, что этот человек болеет, мучится этими проблемами, что для него это — вопрос ж и з н и. И и н о г д а он получает на это в душе свой ответ. Но и этот ответ — не спокойное догматическое исповедание. Он — больше, он — выражение страстной, себя не вполне даже сознающей, выраженной в форме часто практических оценок, и вместе с тем огромной, утверждающей себя наперекор всем «разумностям» людским, любящей, ревниво любящей, покоряющей веры. Огромной и сильной веры, полускрытой в мнимо-агностических (т. е. как будто отказывающихся от окончательного ответа) выражениях.

Нет, ответ дан. И выбор — несмотря на все сомнения — сделан. Ибо это — не вывод мысли, а контакт с Реальностью, Которая выше и больше меня. Так чувствовал Достоевский, и все больше, с прохождением лет, по мере роста своего опыта духовного. Это он выразил между прочим в своих замечательных «Материалах к Бесам», изданных впервые в 1929 году под редакцией профессора Комаровича в Германии, в издательстве Pieferrer'a — и при том на немецком языке, с согласия Советской власти (ибо по-русски большевики тогда еще не позволили их издать). С тех пор, и особенно после превосходной книги Мочульского, эти записи Достоевского часто цитировались, но сила и четкость их формулировки так велики, что нельзя о них не вспомнить.

«Дело в настоящем вопросе: можно ли верить, быть цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. верить безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)».

И далее: «Источник жизни и спасения от отчаяния всех людей и условие для бытия всего мира заключается в трех словах: «Слово плоть бысть», и в вере в эти слова» *).

Мы знаем, как богаты и письма, и интимные записи Достоевского, и черновые наброски («материалы») к его произведениям и замыслам и «Братьев Карамазовых» и «Бесов» и «Идиота», а образ Зосимы и образ Макара Ивановича (в «Подростке») и образ князя Мышкина (в «Идиоте»), и отчасти уже повествование «Записок из Мертвого Дома» — полу-скрытого (или более явного) христоцентризма. Ответ на предчувствуемую, предугаданную безобразную русскую революцию, воспринимаемую, как вселение «бесов» в тело и душу русского народа, дается только в слове силы Того, Кто «легион» бесов изгнал из бесноватого в земле Гадаринской.

«...Видите, это точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! ... Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загно-

*) Бесы. Изд. YMCA-PRESS, стр. 787.

ившаяся в поверхности ... и сами будут проситься войти в свиней... Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением...»

Смотрите: и здесь Божественное Присутствие спасает душу народа. Это ведь основоположный краеугольный камень всех философствований и мыслей Достоевского о народе. Об этом говорит у него и Зосима и вся идеология Достоевского о живом образе Христа, который должен проявиться и осуществиться в человеке, и в искупленных грешниках (которыми в разных оттенках являются все обращающиеся к Нему) и в народе, и в народах и в человечестве и во всем творении Божиим.

3.

Христоцентризм Достоевского — вот основа и вдохновляющий источник его мирозерцания и в значительной, решающей степени, в самых глубинах, и его творчества. Здесь мы находим ответ и на самую главную, основную проблему его: проблему страдания. Впрочем — главной проблемой, неразрывным образом связанной именно с этой проблемой страдания, является другая, еще более основоположная: проблема бытия Божия. И на нее у Достоевского только один ответ: христоцентрический, и при том мистический. Другими словами: н е о н дал ответ себе и своим читателям. Ответ был дан ему.

Религиозное мирозерцание Достоевского о п ы т н о. Оно вырастает из опыта (длительного и мучительного) п у с т о т ы и опустошения души и мира и бессмысленных страданий и — п р о р ы в а Бога, заполняющего пустоту души и мира, и открывается жизненно и спасительно и конкретно-исторически и мистически, (конкретно-мистически) — в Сыне Своем. Слова Иоанна Богослова в начале его Первого Послания формулируют то, что легло в основу и в центр всего религиозного опыта Достоевского: «О том, что было от начала, что мы слышали и видели и что рассматривали нашими глазами... — о Слове Жизни, ибо Жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию Вечную Жизнь, которая была у Отца и теперь явилась нам...» (I Иоан., 1, 6-9).

Эта Вечная Жизнь раскрылась в страдании... «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего» (Иоан., 3, 16). «Любовь Христова объемлет нас», пишет Павел, «рассуждающих так: если

Один умер, то все умерли... чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего ради них и воскресшего» (II Кор., 5, 14).

Встреча с Ним — пострадавшим ради нас и воскресшим — происходит больше всего и с особой силой в у ч а с т и и в Е г о л ю б в и — Его любовь к нам пробуждает нашу ответную любовь — и через это и страдания — Е г о с т р а д а н и е е с т ь ц е н т р а л ь н о е, решающее место встречи с Богом. В этом смысл и нашего страдания. Мы встречаемся с Ним и в нашем страдании, когда Он и Его страдания раскрываются нам в страдании нашем. Вот — философия, мистически-эмпирическая философия страдания Достоевского. В ней слились апостольская проповедь о Кресте («Так возлюбил Бог мир»... и: «Я сораспялся Христу. Живу уже не я, а живет во мне Христос») и тяжелый, болезненно-взволнованный, но зреющий под влиянием мистического общения с Пострадавшим из любви к нам (и Воскресшим) — так верил Достоевский — и все более приходящий к просветленно-мужественной, трезвенной мудрости жизненный опыт Достоевского.

4.

Волнующееся море, неразбериха, хаос жизни и страдания, сила зла, действующая в мире, бессмыслица жизни и смерти, пропасть все-поглощающей смерти, вот — другая сторона, количественно даже господствующая у Достоевского. Он не нагромождает ее преднамеренно и искусственно, чтобы дать потом успокаивающий теоретический ответ. Она сама вздымается у него — в душе и писаниях его — не как «благонамеренный» задний фон, а как живая и злая стихия, вызывающая и ужас и жалость и т р е б у ю щ а я о т в е т а. И ответ взят не из «учебника» богословия: его «Осанна через горнило испытаний прошла». «Обращение», «прорыв», «Бог говорит душе» — вот как можно бы назвать некоторые решающие места в произведениях Достоевского. Ответ идет о т т у д а, а я — в глубине и не могу даже его придумать. Это — как «прорыв огня» («Feu») у Паскаля. И только в этом сила ответа.

Ибо стихия зла и страдания действительно безбрежна. И одно только слепое, казалось бы (и вместе с тем бессознательно з р я щ е е) орудие, средство защиты, дано у Достоевского: ж а л о с т ь. И оно руководит. И им он ощупывает основной ответ: ж а л о с т ь Б о г а.

Как ужасен мир Достоевского, как, казалось бы, ненужно, как преувеличенно ужасен! Нет, не ненужно. Достоевский, ко-

нечно, выхватывает из жизни картины ужаса. Но если на них и ответить указанием на светлые ее стороны, то как ответить на общий вопрос о смысле и значении и ценности жизни вообще, ибо эти мрачные куски жизни так слиты с общей картиной, так неотъемлемы от нее, так являются неразрывно другой стороной ее — и нашего мирного благополучия — и все это сливается на общем фоне смерти, страдания и ужаса неизбежного уничтожения. И диссонансы внутреннего разложения, глубины падения — как они близки к нам, — тут рядом с нами, и как они еще подтачивают корень этой обреченной на смерть жизни нашей и мира.

Достоевский, конечно, рисует ужасы и страдания мира не «предвзято», не схематически-преднамеренно, только, чтобы потом о т в е т и т ь успокоительно и «разрешительно» на эту картину; он просто не может не рисовать то, что в нем и вокруг него; он мучим, он одержим этим и борется за ответ, а ответ приходит уже в самом процессе творчества. В этом и состоит главное напряжение его творчества — бороться за ответ, предварительно нарисовав открывшуюся его взору картину опустошенности жизни и прежде всего нашей опустошенности и извращенности нашей жизни (а это часто связано с ужасами кварталов бедноты, пьянства и разврата, описанными Достоевским особенно ярко, напр., в «Преступлении и Наказании»).

Велика мужественность правдивой и беспощадной кисти Достоевского. Но сколько вместе с тем болезненной истеричности в переживаниях его героев! Картина мира, вся жизнь воспринимается тогда через эту дымку болезненно-сконцентрированной безнадежности, иногда соединенной с духовной неуравновешенностью. Можно поставить вопрос: действительно ли количество неуравновешенных людей было так велико в окружавшем тогда Достоевского мире или они прежде всего были удобными носителями его собственных заостренных взглядов? Не есть ли это сознательная к о н д е н с а ц и я страдания и ужасов перед глазами читателя? Зачем это нужно? Не прав ли Михайловский, что здесь перед нами очень «жестокий талант», которому приятно мучить своего читателя?

И не происходит ли это отчасти из болезненного психологического предрасположения, вызванного отчасти и его пребыванием на каторге, или из некоторого преднамеренного идеологического изуверства, как шепчут нам на ухо или открыто утверждают некоторые радикально и позитивистически настроенные критики? А может быть, его «жестокость» имеет и другие кор-

ни? Да, Достоевский безжалостен, но безжалостен к нам — читателям: чтобы пробудить нашу жалость. Его беспощадность, как писателя, вытекает в своей глубочайшей основе из огромной жалости, охватившей его раз навсегда. Это его специальное психологическое предрасположение (если таковое было) и ужасы каторги только раскрыли ему глаза, только помогли ему увидеть то, что есть, чего так много в окружающем нас мире и от чего мы стараемся отмахнуться. Но он не дает нам отмахнуться.

Тут мы подходим к самому корню творчества Достоевского. И здесь становится нам понятна глубокая правда этих столь заостренных и, казалось бы, даже преувеличенно-категорических, парадоксальных слов в его «Идиоте»:

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия человечества». (Часть II, глава 5). Сила сострадания так велика, потому что это — место прорыва Б о ж и я в м и р. Прорыв Бога, вошедшего в мир и разделившего наши страдания. И лучи этого начинают пробиваться в нашу тьму. И поэтому страдание вместе с Ним становится началом нашей новой, обновленной жизни.

5.

Прорыв в новой жизни в нашу падшую жизнь есть тема, к которой внутренне устремляется творчество Достоевского. И обращение Раскольникова, и сияние любви в Соне Мармеладовой, и духовный перелом в «Подростке», и уже просветленный Макар Иванович, и Зосима, и Алеша, и Дмитрий Карамазов, и смерть Степана Трофимовича, и «Влас» Некрасовский в восприятии Достоевского, и многие, многие «Власы», встречающиеся в гуще русского народа, и сам русский народ, падший, одержимый многими бесами, и — как верит Достоевский — имеющий быть исцеленным. Об этом много писалось и пишется, и правильно, так как это — одна из центральных тем Достоевского.

Здесь я хотел бы немного остановиться только на некоторых образах простых и смиренных, смиренных-отрезвенных русских людей, которые так дороги Достоевскому. Характерно, что Достоевского, рисующего столь много искривленных, болезненных состояний и запутанных положений душевных, особенно влекут к себе, особенно трогают простые и смиренные люди, трезвенно просветленные. В противность безобразию, бушующему и распространяюще-

муся в народе, он видит образ «благообразия», он видит живой образ Христа, отраженный в верующих и смиренных душах. На эту «жажду благообразия», на эту любовь к благообразию у Достоевского исследователя, пожалуй, недостаточно обращали внимания. А таких образов у него не мало. Более того — он с любовью как бы выискивает их и останавливается на них, особенно в ряде кратких своих очерков и зарисовок в «Дневнике Писателя» (не говоря уже об его «Зосиме»).

«Дневник Писателя!» Каким светом веет от лица этих простых, добрых людей, этих смиренных «рабов Божиих», о которых Достоевский вспоминает с такой любовью — напр., о «Столетней» и о «Мужике Марее».

«...Миша, сколько ни проживет, все запомнит старушку, как умерла, зажав руку у него на плече, ну а когда он умрет, никто-то на всей земле не вспомнит и не узнает, что жила-была когда-то такая старушка и прожила сто четыре года, для чего и как — неизвестно. Да и зачем помнить; ведь все равно. Так отходят миллионы людей: живут незаметно, и умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как-бы нечто умиленное и тихое, как-бы нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови Бог жизнь и смерти простых добрых людей!» *).

Мужик Марей, пахавший поблизости в поле, с трогательной нежностью успокаивает перепуганного до смерти маленького 8-летнего барчука (послышалось ему: «Волк бежит!»).

«...Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как-бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барченоч; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не награждал за то. Любил ли он, что-ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувст-

вом и какую тонкую, почти женственную нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего не гадавшего тогда о своей свободе» *).

6.

Мы хорошо знаем, какую роль в духовной жизни Достоевского играли его жгучая любовь к своему народу и чувство нравственной ответственности за его судьбу (ответственности, разделяемой всеми, к нему принадлежащими) и горячая жажда нравственного преобразования народа, жажда его духовного спасения. Исторические судьбы народа, в глазах Достоевского, неразрывно связаны с его внешними судьбами, с вопросами об его духовной гибели или спасения, вопросами об его «духовном возмужании» и росте духовном. Какие духовные силы и богатства потенциально даны ему, и как велики глубины его падения и немощи его!

«...В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что удивительно, как он дожил, сохраняя человеческий образ, а не то что сохранил красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают».

«Нет, судите», — продолжает Достоевский — «наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем он желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили его навеки простодушием и честностью, искренностью

*) «Дневник Писателя» за 1876 г. март, гл. 1.

*) Там же, февраль 1876 г., гл. 3.

и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоничном соединении...» *).

В знаменитом своем очерке «Влас» («Дневник Писателя» за 1873 год) Достоевский рисует особенно яркие картины глубины катастрофического духовного падения русского человека, за которой, однако, иногда следует и огромная сила внутреннего перелома и восстановления духовного (как он находит это изображенным в знаменитом «Власе» Некрасова).

«Тут являются перед нами два народных типа, — в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как-бы каким-то наваждением). Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, взглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом не отрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святости во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел, и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем...».

«Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жадной самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть, когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, — порыва отрицания и саморазрушения».

«...потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замртишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть, но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и больше ниче-

го, но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего» *).

Так толкует — может быть, идеализирует? — Достоевский русский народный характер, русскую народную душу, часто грязненную, падшую, подчас озверелую, но в каких-то глубинах своих таящую устремление к Высшей Правде, к предносящемуся ей образу Высшей Правды Божией.

Согласно Достоевскому, эта Высшая Правда открылась русскому народу во Христе. «Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания» — так заключает Достоевский свои рассуждения о Некрасовском «Власе».

И еще более смелая, дерзновенная мысль предносится Достоевскому:

«Может быть, главнейшее предизбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, — явить этот образ миру, потерявшему пути свои!» **).

Мы не можем решать исторических проблем, самоуверенно вторгаясь в будущее. Но есть исторические надежды.

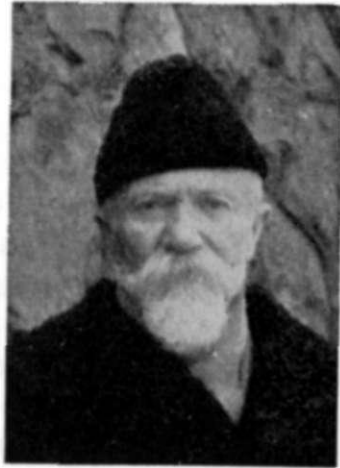
Религиозный опыт, религиозный путь Достоевского есть глубоко активный и практический путь, он связан с сознательной любовью и пробуждением жалости к человеку, с уважением к достоинству даже павшего человека. Но этот путь, при всей своей динамичности и напряженности духовной, не самопроизвольный, не Достоевским выдуманный, не результат его горячих мечтаний, его страстного идеализма, — он лишь ответ. Этот, казалось бы, столь угрюмый и сумрачный, порою столь болезненно-раздражительный Достоевский захвачен неким Высшим, чем он сам, и служит Ему, чувствует, что он призван служить Ему. Он захвачен этой отдающей себя воплощенной Любовью, сошедшей до самых глубин добровольного страдания и смерти, и сам охвачен ответной любовью к Нему, которая выражается в служении любви. В этом — вся суть религиозного опыта Достоевского.

*) Дневник Писателя за 1873 г., «Влас».

**) Там же, «Смятенный вид».

*) Дневник Писателя, февраль 1876 г., гл. 1.

Николай ЛОССКИЙ
1870 - 1965



Очерк собственной философии*)

Свое гносеологическое направление Лосский называет **интуитивизмом**. Этим словом он обозначает учение о том, что познаваемый предмет, даже и в случае знания о внешнем мире, вступает в сознание познающего индивидуума в подлиннике, самолично и потому познается так, как он существует независимо от акта познания. Такое созерцание чужого бытия в подлиннике возможно потому, что мир есть органическое целое, и познающий субъект, индивидуальное человеческое я есть сверхвременное и сверхпространственное существо, интимно связанное со всем миром. Отношение субъекта ко всем существам всего мира, благодаря которому возможна интуиция, Лосский называет **гносеологической координацией**. Эта сочетанность я со всеми элементами мира еще не есть знание. Для того чтобы предмет был не только связан с я, но еще и стал опознанным, субъект должен направить на предмет интенциональные психические акты — акт осознания, внимания, различения и т. п.

Чувственные качества предметов, цвета, звуки, тепло и т. п., согласно интуитивизму, транссубъективны, т. е. принадлежат самим предметам внешнего мира. Они субъективируются и психологизируются сторонниками **каузальной** теории восприятия, со-

*) Глава из неизданной книги Н. О. Лосского "История русской философии", вышедшей во французском и английском переводах, а так же в обратном переводе на русский для советских специалистов.

гласно которой раздражение органов чувств лучами света, волнами воздуха и т. п. есть **причина**, порождающая содержание восприятия. Лосский выработал координационную теорию восприятия и в вопросе о роли физиологических процессов при восприятии придерживается теории Бергсона, выраженной в его книге «Материя и память». Основной замысел этой теории таков: раздражение органа чувств и физиологический процесс в центрах головного мозга есть **не причина**, порождающая содержание восприятия, а только **стимул**, подстрекающий познающее я направить свое внимание и акты различения на сам предмет внешнего мира.

Предметы внешнего мира координированы с познающим индивидуумом целиком со всем бесконечным множеством своих содержаний, но все это богатство предмета связано с человеческим я лишь подсознательно. Из состава предмета человек опознает только бесконечно малую часть его, именно только те стороны предмета, которые представляют для него интерес и которые он подвергнул различению на фоне наличных и вспоминаемых содержаний бытия. Человек вследствие ограниченности своих сил не может сразу произвести бесконечное множество актов различения. Поэтому наше восприятие, как имение предмета в сознании в опознанном виде, есть только **выборка** из предмета; следовательно, знание наше всегда **фрагментарно**. Различия в восприятии одного и того же предмета различными индивидуумами объясняется чаще всего тем, что выборка из состава предмета тех сторон, которые возводятся из подсознания в область сознания и знания, производится разными лицами различно и потому в одном и том же предмете два наблюдателя зачастую находят глубоко различное содержание.

Соглашаясь с учением Бергсона о памяти-грезе, Лосский понимает память как непосредственное созерцание субъектом своего прошлого в подлиннике. Иллюзии и галлюцинации объясняются поэтому, как субъективный синтез вспоминаемых транссубъективных данных прошлого опыта.

Все то, что не имеет временной и пространственной формы, Лосский называет **идеальным бытием** в духе метафизики платонизма. Сюда относятся, напр., содержание общих понятий, все отношения, напр. причинная связь, связь качества и носителя качества, количественные формы и отношения (число, единство, множество и т. п.). Термином **реальное бытие** Лосский обозначает события, т. е. все то, что имеет временную или пространственно-временную форму. Реальное бытие может возникать и быть

системным не иначе, как на основе идеального бытия. Чтобы подчеркнуть эту сторону своего учения о мире, Лосский называет свою метафизику **идеал-реализмом**. Кроме идеального и реального бытия, есть бытие **металогическое**, т. е. стоящее выше законов тождества, противоречия и исключенного третьего, напр. Бог. Идеальное бытие есть предмет **интеллектуальной интуиции** (умозрение). Оно созерцается непосредственно в подлиннике; следовательно, дискурсивное мышление не противоположно интуиции, оно есть один из видов интуиции. Металогическое бытие есть предмет **мистической интуиции**. Интуитивизм Лосского глубоко отличается от интуитивизма Бергсона. Согласно гносеологии Бергсона подлинное бытие иррационально, тогда как Лосский считает рациональную системность существенно важной стороной строения бытия, наблюдаемую посредством интеллектуальной интуиции.

Познавательные акты совершает сверхвременный и сверхпространственный деятель, субъект. Это не гносеологическое **я** Рикерта, не трансцендентальное **я** Гуссерля, а **индивидуальное** человеческое **я**, творящее свои индивидуальные психические акты внимания, припоминания, желания и т. п. Будучи сверхвременным и сверхпространственным, человеческое **я** есть идеальное бытие и может быть обозначено термином **субстанция** или лучше для большей ясности термином **субстанциальный деятель**. Не только познавательные акты, также и все другие деятельности, все события, т. е. всякое реальное бытие творится субстанциальными деятелями. Пение мелодии, переживание чувств, желаний есть проявление какого-либо **я**. Действия отталкивания, притяжения, движения в пространстве производятся людьми, но также и электронами, протонами и т. п., поскольку в основе их тоже есть субстанциальные деятели.

События, имеющие временную форму, но не имеющие пространственной формы суть **психические** процессы. События, имеющие пространственно-временную форму, суть **телесное** бытие. Если в их составе есть процессы отталкивания, то это — **материальное телесное** бытие.

Человеческое **я** есть деятель, производящий не только психические, но и материальные процессы отталкивания и притяжения, образующие сферу его тела. Точнее говоря, человеческое тело есть продукт сотрудничества человеческого **я** с множеством других субстанциальных деятелей низшей ступени развития. Таким образом, вовсе не требуется допускать, как это делал Декарт, две различные субстанции, из которых одна была бы причиной душевных, а другая причиной материальных процессов. Придер-

живаясь **динамистической** теории материи, т. е. признавая, что материальное бытие есть не субстанция, а только процесс отталкиваний, притяжений и творения чувственных качеств, можно понять и признать, что один и тот же деятель является источником и психического процесса (напр., отвращения по поводу запаха гниющего растения) и материального процесса (отталкивания этого растения). Субстанциальный деятель есть идеальное, сверхвременное и сверхпространственное существо и, как таковое, стоит выше различия психического и материального процесса: субстанциальный деятель есть бытие «мета-психофизическое» (термин В. Штерна в его книге «Person und Sache»).

Благодаря своей сверхвременности субстанциальный деятель способен соотносить прошлое, настоящее и будущее; свои поступки он осуществляет в настоящем на основе испытанного им прошлого ради желаемого им будущего; иными словами, его поступки имеют характер **целестремительный**. Простейший тип проявлений деятеля суть действия отталкивания и притяжения, образующие сферу его **материальной телесности**. Эти действия, имеющие пространственно-временную форму, могут быть осуществлены не иначе, как под руководством действий того же субъекта, имеющих только временную форму: на высшей ступени развития это — психические процессы стремления и усилия, связанные с представлением прошлого и будущего и с эмоциональным переживанием ценностей; на низших ступенях развития это — психоидные бессознательные стремления и усилия. Согласно этому учению всякий материальный процесс **психо-материален** или, по крайней мере, **психоидно-материален**. Психический и психоидный процесс есть не пассивная надстройка над материальными процессами, а существенное условие возможности материального процесса, руководящее им, именно определяющее его направление, состав и смысл, т. е. цель.

Учение Лосского о деятелях, совершающих психофизические процессы целестремительно, напоминает понятие монады Лейбница или понятие личности В. Штерна. Субстанциальный деятель всегда есть действительная или, по крайней мере, потенциальная **личность**. Действительной личностью деятель становится на той ступени развития, когда он приобретает способность познавать абсолютные ценности, в особенности нравственные, и сознает должностное осуществление их в своем поведении. Такое мировоззрение можно назвать **персонализмом**. От персонализма Лейбница, в наиболее распространенной версии его, учение Лосского от-

личается **реалистическим** (не психологистическим) пониманием материального процесса. Далее, оно отличается и от учения Лейбница, и от учения Штерна отрицанием психо-физического параллелизма, признанием зависимости материального процесса от психического. Наконец, в третьих, оно еще глубже отличается от учения Лейбница признанием **единосущия** субстанциальных деятелей.

Творя свои проявления, субстанциальный деятель оформляет их сообразно принципам строения времени, пространства, согласно математическим закономерностям и т. п. Эти принципы имеют характер **отвлеченно-идеальных** начал. Глубокое различие между субстанциальным деятелем и этими отвлеченными идеями состоит в том, что отвлеченные идеи обладают ограниченным содержанием, тогда как всякий субстанциальный деятель бесконечно содержателен и не может быть исчерпан никакою совокупностью отвлеченных понятий. Поэтому о субстанциальных деятелях можно сказать, что они суть **конкретно-идеальные** начала. Далее, отвлеченные идеи пассивны; они не способны самостоятельно производить оформление; необходим деятель, который осуществлял бы оформление реальных процессов сообразно отвлеченным идеям. Таков именно субстанциальный деятель: будучи носителем творческой силы, он производит реальные процессы и оформляет их сообразно отвлеченным идеям. Итак, конкретно-идеальные деятели суть **носители отвлеченно-идеальных форм**.

Все деятели творят реальные процессы сообразно одним и тем же основным идеальным формам времени, пространства и т. п., которые не только одинаковы, но и **численно тождественны**. Отсюда следует, что субстанциальные деятели некоторою стороною своей сущности не раздельны, а тождественны, т. е. **единосущны**. Коренное отличие персонализма Лосского от монадологии Лейбница заключается в этом отрицании обособленности деятелей, в отрицании мысли Лейбница, что у монад нет «ни окон, ни дверей». Как носители творческих сил, субстанциальные деятели самостоятельны и различны, но как носители основных отвлеченно-идеальных форм, они тождественны, составляют одно существо и потому также и тою своею стороною, которая самостоятельна, они координированы друг с другом настолько, что существует возможность **интуиции, любви, симпатии** (той подлинной симпатии, понятие которой выработал М. Шелер), т. е. непосредственного интимного общения.

Поскольку тождественная сторона деятелей сводится к отвле-

ченно-идеальным началам, постольку и единосущие их можно назвать **отвлеченным единосущием**. Оформляя свои действия согласно тождественным принципам, деятели реализуют множество систем пространственно-временных отношений, которые не распадаются на отдельные миры, а образуют единую систему космоса. Во главе этой системы стоит высоко развитой субстанциальный деятель, Мировой Дух.

В единых рамках космоса общение между деятелями подчинено общим формам, обуславливающим возможность космического процесса и осмысленности его, но содержание этого общения не predetermined: действия их могут иметь характер любовного сочетания сил для единой жизни, но могут иметь также характер враждебного противоборства. В последнем случае возникают различные ступени распада, которые однако не уничтожают общих формальных рамок единства мира, обусловленных отвлеченным единосущием.

Отвлеченное единосущие есть условие осмысленности мирового процесса, именно условие реализации в нем абсолютных ценностей. Всеобъемлющая абсолютная ценность есть абсолютная полнота бытия, полнота жизни. Она может быть достигнута деятелями через восполнение их друг другом, поскольку они соучаствуют в бытии друг друга, усваивая цели друг друга путем интуиции и любви и не вступая на путь враждебного противоборства друг другу, стесняющего и обедняющего жизнь. Такая единая жизнь есть **конкретное единосущие**. Совокупность принципов, входящих в состав отвлеченного единосущия и ведущих при правильном использовании их к конкретному единосущию, можно назвать **Абстрактным Логосом** мира.

Сочетание нескольких деятелей, усвоивших хотя бы некоторые стремления друг друга для совместного осуществления их, есть средство для выработки все более и более сложных ступеней жизни. Замечательные формы такого единосущия возникают тогда, когда группа деятелей подчиняется одному деятелю, стоящему на более высокой ступени развития, и служит ему органами. Отсюда получают такие ступени единств, как атом, молекула, кристалл, одноклеточный организм, многоклеточный организм, сообщество организмов, напр. улей, гнездо термитов; в сфере человеческой жизни — народ, человечество; другую область единств образуют небесные тела — планета, солнечная система, вселенная. Каждая следующая ступень объединения обладает более высокими творческими си-

лами, чем предыдущая, и во главе ее стоит личность более высокой ступени развития. Таким образом метафизика Лосского, как и монадология Лейбница, есть **иерархический персонализм**.

Группа деятелей, подчинившихся более высоко развитому деятелю и служащих ему органами, есть тело деятеля. Отделение деятеля от своих союзников есть смерть. Обыкновенно, слово тело имеет другое значение: им обозначается пространственная система процессов, производимых деятелем вместе с его союзниками. Чтобы различить эти два значения слова тело, можно назвать группу деятелей, подчиненных главному деятелю, термином **союзное тело** деятеля. Что же касается пространственных процессов, если среди них есть отталкивания, создающие относительно непроницаемый объем, такую пространственную систему можно назвать **материальным телом** деятеля. Впрочем, в большинстве случаев к этим прилагательным не необходимо прибегать, потому что из контекста видно, о каком теле идет речь.

Система мира, состоящая из множества деятелей, творчески самостоятельных и в то же время спаянных воедино отвлеченным единосущием, обеспечивающим единые рамки космоса, не может быть мыслима, как носящая сама в себе основание своего существования. Она необходимо указывает за пределы самой себя на такое начало, которое не принадлежит к системе мира и вообще не есть система многих элементов, потому что система отношений предполагала бы существование еще более высокого начала, обосновывающего ее. Итак, основанием системы мира может быть только **Сверхсистемное, Сверхмировое начало**. Оно несоизмеримо с миром и потому, говоря о нем, приходится характеризовать его только отрицательными предикатами («отрицательное богословие») или предикатами с прибавкою слова «сверх»: Оно не есть разум, а сверхразумное, не есть личность, а сверхличное и т. п. Даже термин Абсолютное не применим к нему самому по себе, так как Абсолютное соотносительно с относительным, т. е. с мировым бытием. Иными словами, это значит, что Сверхмировое начало свободно от мира: для Него нет никакой необходимости, в силу которой Оно должно было бы обосновывать мир. Мир не может существовать без Сверхмирового начала, но само это начало могло бы существовать без мира. К усмотрению Его философия приходит от умозрения о мире, т. е. от интеллектуальной интуиции, направленной на мир и завершающейся **мистическою интуициею**, на-

правленную за пределы мира на Сверхмировое металогическое начало.

Сверхмировое начало несоизмеримо с миром; поэтому обоснование Им мира есть не диалектическое развитие, не эманация и т. п. виды отношений, допускаемые пантеизмом, но абсолютное творение, именно творение мира из ничего. Это библейское учение, грамматически плохо выраженное, не следует понимать так, будто Бог взял какое-то ничто, как материал, из которого он сотворил мир. Слова эти нужно понимать проще: для творения мира Богу не нужно брать ничего ни из Себя, ни извне Себя; Он творит мир, как совершенно новое, иное бытие, чем Он Сам.

Изложенное учение о Высшем начале имеет чисто философский характер. Оно должно быть дополнено данными религиозного опыта. В интимном, особенно в молитвенном общении это начало открывается, как Живой Бог, как Личность. Кроме религиозного опыта, философия должна опираться еще и на **Откровение**, сообщающее нам, что Бог, будучи Единым по существу, троичен в Лицах: Он есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой. Философия имеет право использовать догмат Троичности, потому что он придает высокий смысл, связность и последовательность всему остальному составу миропонимания. В живом религиозном опыте, опирающемся на Откровение, человек находит Бога, как абсолютную полноту жизни Трех Лиц, конкретно единосущных в Своей совершенной взаимной любви. Все эти определения принадлежат Богу, как невыразимому никакими словами и понятиями Божественному Сверхчто. Поэтому нужно помнить, что они не тождественны понятиям о тварных существах и употребляются нами только по металогической аналогии. Таким образом положительное богословие (катафатическое) не противоречит отрицательному (апофатическому) богословию, а содержит его в себе.

Бог открывается в религиозном опыте не только, как абсолютная полнота бытия, но и как высшая абсолютно совершенная ценность, как само Добро, вернее Сверхдобро, именно — Любовь, Нравственное добро, Истина, Свобода, Абсолютная полнота бытия и жизни, Красота. Важнейшие стороны совершенства Бога выражаются в таких атрибутах, как Всемогущий, Всеблагодый, Всеведущий, Вездесущий.

Бог в Его Троичной жизни есть абсолютная полнота бытия, первичная и всеобъемлющая самоценность. Каждая сотво-

ренная Им личность наделена такими свойствами, правильное использование которых дает возможность достигнуть абсолютной полноты жизни. Следовательно, каждая тварная личность, по крайней мере в потенции, тоже есть всеобъемлющая абсолютная самоценность, но не первичная. Все необходимые аспекты абсолютной полноты бытия, любовь, красота, истина, свобода и т. п. тоже суть абсолютные самоценности, но, будучи лишь сторонами целого, они суть **частичные абсолютные ценности**. Каждая из них есть бытие в его **значении** для абсолютной полноты жизни. Это значит, что ценность есть не прибавка к бытию, не какое-то качество, носимое им рядом с другими качествами, а органическое единство самого бытия и его значения. Эта теория, говорит Лосский, есть **онтологическая** теория ценностей. Бытие, приближающее к абсолютной полноте жизни, есть положительная ценность, а удаляющее от нее, есть отрицательная ценность.

Бог, Всемогущий, Всеблагий и Всеведущий, творит мир, как систему существ, полную высочайшего смысла, именно состоящую из существ, способных творить при Его благодатном содействии высшее добро, Божественную полноту жизни. Такими существами могут быть только личности; следовательно, Бог творит только личности.

Конечная цель жизни каждой личности есть достижение абсолютной полноты бытия. Первое и основное условие осуществления этой цели есть участие тварной личности в совершенной полноте жизни Самого Господа Бога. Чтобы это было возможно, онтологическая пропасть между Богом и миром должна быть преодолена: творя мир и любя свое творение, Бог снизошел к миру; Второе Лицо Св. Троицы, Сын Божий, Логос присоединил к Своей Божественной природе человеческую природу и стал Богочеловеком. При этом под словом человеческая природа Н. Лосский понимает природу всякой тварной личности вообще. От века вместе с творением мира Логос существует как Бог и вместе с тем как Небесный Человек, т. е. человек, идеально совершенный, такой, каким он существует в Царстве Божиим. Как Бог-Сын Он единосущен Богу-Отцу и Духу Святому, а как человек Он единосущен со всеми тварными личностями. Отсюда следует, если принять онтологическую теорию любви, развитую о. Павлом Флоренским, что тварная личность, любящая Богочеловека совершенной любовью, именно более, чем самое себя, становится конкретно единосущною с Богочеловеком в Его человеческой природе, а потому при содействии воплощенного

Конкретного Логоса созерцает Бога «лицом к лицу» и удостоивается обожения по благодати. Совокупность таких обоженных лиц образует особую область бытия — Царство Божие.

Как бы ни было интимно общение небожителей с Господом Богом, все же пассивное созерцание совершенства Его не есть еще живая полнота бытия самого созерцателя. Она достигается путем соучастия в Божественном добре посредством собственного творчества личности, которое, будучи свободным от какой бы то ни было примеси эгоизма, состоит в творении абсолютных ценностей — нравственного добра, истины, красоты.

Жизнь в Боге не может быть изолированным творчеством, обособленным от творчества других существ: совершенная любовь к Богу, который с любовью сотворил мир, необходимо включает в себя также и любовь ко всем сотворенным Им существам. Отсюда следует, что творчество всех существ, живущих в Боге, должно быть вполне единодушным, соборным. Каждый член Царства Божия должен вносить в соборное творчество индивидуальный вклад, т. е. единственное, неповторимое и незаменимое содержание: только в таком случае они могут своею деятельностью восполнять друг друга и создавать единое и единственное прекрасное целое, а не повторение одних и тех же действий. Отсюда следует, что каждое тварное существо есть в своей идеальной сущности, соответствующей замыслу Божию, **индивидуальная** личность, совершенно своеобразная, единственная и не заменимая никаким другим тварным существом.

В Царстве Божиим нет эгоизма, а потому нет и актов отталкивания, следовательно, нет и материальных процессов. Пространственные тела у членов Царства Божия есть, но они состоят только из световых, звуковых, тепловых и т. п. чувственных содержаний, воплощающих и выражающих вовне абсолютно ценное духовное содержание. Такое духовно-телесное целое имеет ценность абсолютно совершенной, идеальной красоты. Преображенные тела небожителей не обособлены друг от друга, а взаимопроникнуты. Что же касается союзного тела, каждый член Царства Божия, будучи связан совершенной любовью со всем миром, обладает **космическим** телом: весь мир служит ему, как его тело. В статье «Воскресение во плоти» (Путь, 1931 г.) Лосский старается доказать, что все трудности проблемы воскресения во плоти решаются именно учением о космическом теле небожителей. Смерти в Царстве Божиим нет, потому что члены его связаны друг с другом совершенной любовью, а про-

странственные преобразенные тела их не доступны никаким ранениям, так как не производят процессов отталкивания.

Поведение небожителей — нравственно совершенное: оно руководится любовью к абсолютным ценностям и притом любовью, соответствующую их рангу. Наивысшую ценность имеет Бог и потому Он должен быть любим более всего на свете. Вслед за Богом идет ценность каждой тварной личности, как индивидуума, неповторимого по своему бытию и незаменимого никакою другою ценностью, если принять во внимание возможное творчество его в Царстве Божиим. Поэтому всякую личность следует любить так же, как самого себя. Далее, предметом любви должны быть неличные абсолютные ценности, напр. истина, нравственное добро, свобода, красота, которые все суть слагаемые абсолютного добра полноты жизни, подчиненные ценности личностей.

Любовь может быть только **свободным** проявлением личности. Детерминисты отрицают свободу воли на том основании, что каждое событие имеет причину. При этом под причинностью разумеется только порядок следования во времени данного события за другими событиями и законосообразность этого порядка. Причинение, порождение, творение, вообще динамический аспект причинности устраняется из понятия причины. Лосский доказывает свободу воли именно исходя из закона причинности, но отстаивая при этом **динамистическое** понятие причинности. Всякое событие возникает не само собою, а кем то творится; но творить его не могут другие события; имея временную форму, события ежемгновенно отпадают в область прошлого и не обладают творческою силою, порождающею будущее. Только сверхвременные субстанциальные деятели, т. е. только личности, действительные и потенциальные, суть носители творческой силы; они творят события, как свои жизненные проявления. Согласно динамистическому пониманию причинности необходимо различать в составе условий возникновения события **причину** его и **поводы**: причиную служит сам деятель, как носитель творческой силы, а все остальные обстоятельства суть только поводы для проявления его творческой мощи, не predetermined и не вынужденного ими. Творческая сила деятелей **сверхкачественна** и потому не predetermined, какие ценности данная личность избирает предпочтительно перед другими ценностями, как цель своего поступка. Это избрание есть свободный акт деятеля. Поэтому порядок событий во времени не законообразен даже и в неорганической природе. Вполне

возможно что миллионы раз два электрона отталкивают друг друга, а в каком-нибудь миллион первом случае они не производят взаимного отталкивания. Но функциональные связи идеальных форм, служащие условием **системы** космоса, напр. математические принципы, а также законы иерархии ценностей и ее значения для поведения, обуславливающие **осмысленность** мира, не зависят от воли деятелей. Нарушение этих законов немисливо, однако они не уничтожают свободы деятелей: они лишь создают условия возможности деятельности вообще и ценности ее. Эти законы обуславливают космическую структуру, в рамках которой открывается простор для бесконечно разнообразных деятельностей. В системе пространственно-временных и числовых форм уместаются содержания деятельностей, даже и противоположных друг другу по своему направлению, ценности и значению для мира.

Отсутствие законосообразной связи событий не делает науку невозможной. Для науки достаточно, чтобы существовала лишь большая или меньшая правильность связи событий во времени. Чем ниже ступень развития деятелей, тем более однообразны их проявления. Поэтому для таких процессов возможна статистическая законосообразность.

Многие недоразумения, вызываемые учением о свободе воли, устраняются путем различения **формальной** и **материальной** свободы. Формальная свобода состоит в том, что деятель в каждом данном случае может воздержаться от какого-либо определенного проявления и заменить его другим. Эта свобода абсолютна и не может быть утрачена ни при каких условиях. Материальная свобода выражается в том, что способен творить деятель, какую степень творческой мощи он обладает. Она безгранична в Царстве Божиим, члены которого единодушно сочетают свои силы для соборного творчества и даже пользуются содействием всемогущества Божия. Но деятели, находящиеся вне Царства Божия в состоянии духовного упадка, имеют весьма ограниченную материальную свободу, хотя и сохраняют вполне формальную свободу.

Пребывание вне Царства Божия есть следствие неправильного использования свободы воли. Деятель может направить свою любовь на какую-либо ценность, предпочитая ее всему остальному и не сообразуясь с ее рангом в системе ценностей. Так, любя совершенство абсолютной полноты бытия, деятель может задаться целью добиваться полноты жизни в себе и для

себя, предпочитая себя другим существам. Это не что иное, как обыкновенный эгоизм. Он заслуживает осуждения, потому что в эгоистической любви к себе нарушен ранг ценностей, указанный Иисусом Христом в двух основных заповедях: люби Бога больше себя и ближнего, как себя. Неисполнение этих заповедей есть грехопадение.

Возможен еще другой вид себялюбия, гораздо глубже нарушающий ранги ценностей: бывают деятели, стремящиеся к абсолютной полноте бытия и совершенству и даже задающиеся целью осуществить добро для всего мира, но непременно по своему плану — так, чтобы занимать первое место в мире, стоя выше всех других существ и выше Самого Господа Бога. Гордыня есть основная страсть таких существ. Они вступают в соперничество с Богом, считая себя способными дать миру лучший порядок, чем тот, который сотворен Богом. Задаваясь неосуществимой целью, они на каждом шагу терпят крушение и начинают ненавидеть Бога. Таково поведение Сатаны.

Эгоизм обособляет от Бога, поскольку деятель ставит цели, несовместимые с волею Бога к совершенству мира. Точно так же эгоизм обособляет деятеля в большей или меньшей степени и от других существ: цели и действия его не могут быть согласованы с действиями других существ и даже нередко вступают с ними во враждебное противоборство. Пространственное тело эгоистических существ содержит в себе процессы взаимоотталкивания, создающие относительно непроницаемые объемы; иными словами, это — **материальные** тела. Поэтому всю область мира, к которой принадлежат такие деятели, включая сюда и людей, Лосский называет психо-материальным царством бытия. Словами психический или душевный процесс Лосский называет те непространственные процессы, в которых творятся или усваиваются относительные ценности, т. е. ценности, имеющие характер добра в одних отношениях и вместе с тем характер зла в других отношениях; следовательно, в душевных процессах всегда есть примесь эгоизма. Словом духовный процесс Лосский называет те непространственные деятельности, в которых творятся или усваиваются абсолютные ценности. В Царстве Божием существуют только духовные процессы и воплощение их в преображенном теле, а в царстве психо-материального бытия существуют душевные и духовные процессы и воплощение их в материальном теле.

Творческая способность эгоистически настроенного субстанциального деятеля умалена, так как силы его не сочета-

ются гармонически с силою Бога и других существ. Поэтому эгоизм ведет к обеднению бытия как самого деятеля, так и других существ психо-материального царства бытия. Следовательно, эгоизм есть зло и притом зло **основное**, порождающее различные виды производного зла, необходимо связанные с относительным обособлением деятелей друг от друга, с возникающими отсюда распадами и разрывами в мире. Отсюда объясняются такие явления, как болезни, уродства, смерть, также социальные несовершенства и конфликты. Мало того, так объясняются и природные катастрофы — грозы, наводнения, вулканические извержения. В самом деле, согласно персонализму вся природа состоит из существ, которые были бы членами Царства Божия, если бы не вступили на путь эгоизма. Вследствие этого падения и взаимной разобщенности многие из них стали даже не действительными, а только потенциальными личностями, образующими низшие ступени природы, неорганической и органической.

Основные положения этики Лосского и его теодицеи таковы. Первичный акт творения мира Богом, предшествующий шести дням развития мира и выраженный в Библии словами «в начале сотворил Бог небо и землю», состоит в том, что Бог создал субстанциальных деятелей, наделив их такими свойствами, как **сверхвременность**, **сверхпространственность**, **сверхкачественная** творческая сила и принципы Абстрактного Логоса. Эти свойства суть образ Божий в твари. Никакого эмпирического характера Бог им не придал. Выработать себе характер, т. е. тип своей жизни, есть задача свободного творчества каждого существа. Те деятели, которые сразу вступили на путь правильного поведения, согласного с нравственным законом, требующим любви только к абсолютным ценностям и притом сообразно рангу их, изначально удостоены обожения и жизни в Царстве Божием. Они суть «небо». Существа, которые вступили на путь эгоизма, образовали царство несовершенного бытия, в котором они освобождаются от своих недостатков лишь путем медленной и более или менее мучительной эволюции. Имея в виду эту судьбу их, Библия называет их словами «земля».

Вместо полноты жизни себялюбивые, т. е. грешные существа создают себе скудную обедненную жизнь; разочарования, приносимые эгоистической деятельностью, представляют собою непосредственную имманентную санкцию нравственного закона. Сохраняя в себе инстинктивное стремление к полноте жизни, эгоистические деятели непрестанно ищут способов выработать

новые типы существования, более сложного, наполненного более содержательными деятельностями. С этой целью они вступают в союзы друг с другом; они объединяют свои силы, частично отказываясь от своего исключительного себялюбия и подчиняясь какому-либо деятелю, изобретшему более сложный образ жизни. Они образуют союзное тело такого более развитого деятеля и служат ему, как органы его. Таким путем возникают, напр., атомы, т. е. такие типы жизни, как кислородность, фосфорность и т. п.; далее возникают молекулы, т. е. такие типы жизни, как вода, поваренная соль и т. п. Громадный шаг вперед по пути усложнения и обогащения жизни совершили деятели, изобретшие органическую жизнь, растительную и животную. Дальнейшая ступень развития жизни на земле есть появление человека. Земной человек есть существо, восходящее от животности к духовности. Жизнь по типу земной человечности изобретена теми деятелями, которые, опираясь на весь свой предыдущий опыт неорганической, затем растительной или животной жизни, поднялись до осознания абсолютных ценностей и долженствования творить их в своем поведении. На предыдущих ступенях своего развития эти деятели были только потенциальными личностями; доразвившись до человечности, они стали действительными личностями. Это утверждение возможности развития одного и того же деятеля от типа жизни электрона до типа жизни человека и далее выше человечности, напр. в форме жизни социального я, есть не что иное, как учение о перевоплощении.

Лосский защищает учение о перевоплощении в той форме, как оно выработано Лейбницем под именем метаморфозы. (1)

Это учение Лейбниц считал приемлемым для христианских богословов, так как он признает, что переход монады (субстанциального деятеля) от животности к разумной человечности совершается благодаря дополнительному творческому акту Бога, который он называет словом **транскреация**. Такое учение о происхождении человека есть сочетание теории предсуществования души с теорией креационизма. Вообще развитие типов жизни, о которых Библия повествует, как о шести днях творения, совершается путем свободной творческой деятельности грешных существ, однако не абсолютно самостоятельно, а при содействии

(1) См. Н. Лосский, Учение Лейбница о перевоплощении как метаморфозе, Сборник Русского Научного Института в Праге, т. II, 1931; Leibniz' Lehre von der Reinkarnation als Metamorphose, Archiv für Geschichte der Philosophie, V. XL, H. 2, 1931.

Господа Бога. Все доброе, что вырабатывается в мире, достигается путем сочетания «природы» и «благодати» Божией.

Лосский говорит, что в процессе перевоплощения все деятели рано или поздно преодолевают свой эгоизм и удостоются обожения по благодати. Но так как процесс развития совершается путем свободных творческих актов, то он часто бывает не прямым восхождением вверх к Царству Божию, а содержит в себе временные падения и отклонения в сторону. Ту линию развития, которая ведет прямо к порогу Царства Божия, Лосский называет **нормальной эволюцией**.

Впервые в Царстве Божиим субстанциальный деятель реализует сполна свою индивидуальность, как абсолютно ценное звено мира. Так как всякий деятель координирован со всем миром в его настоящем, прошлом и будущем, то в подсознании деятеля имеется предвосхищение его будущего совершенства в Царстве Божиим. Это будущее есть для каждого деятеля его **нормативная индивидуальная идея**. Совесть деятеля есть оценка им своего поведения с точки зрения его нормативной индивидуальной идеи. Тождество личности деятеля, несмотря на множество перевоплощений его, сохраняется потому, что даже и на тех ступенях его развития, на которых он не помнит своей прошлой жизни, привычки и способности, выработанные в ней, сохраняются в новом этапе жизни в форме инстинктивных симпатий и антипатий, способностей и умений. Но особенно важно то, что весь этот процесс развития совершается в связи с одною и тою же нормативно индивидуальною идеею, благодаря чему все этапы жизни деятеля образуют индивидуальное единое целое.

Учение о том, что Бог сотворил мир согласно своим Божественным идеям, которые входят в состав Его бытия, Н. Лосский отвергает на том основании, что Бог и мир онтологически сполна отличны друг от друга и не имеют никакого тождественного аспекта. Идеи, необходимо входящие в состав мира изначала, напр. математические идеи, суть уже **тварное бытие**, а не состояния Бога. Это свое учение о Боге и мире Лосский считает крайнюю противоположностью пантеизму, т. е. наиболее чистою формою теизма. (1)

Поэзия пантеизма сохраняется потому, что онтологическая пропасть между Богом и миром не препятствует тому, чтобы

(1) См. Н. Лосский, О творении мира Богом, Путь, 1937; Ueber die Erschaffung der Welt durch Gott, «Schildgenossen», 1939.

Бог всегда и везде вступал в связь со Своим творением как любящий Отец. Эта связь может быть особенно интимною потому, что Бог-Сын, конкретный Логос, стал изначала, уже при творении мира Богочеловеком, именно Небесным человеком, и всякое добро, особенно абсолютное совершенство Царства Божия осуществляется не иначе, как при благодатном содействии Богочеловека.

Как Небесный человек, Богочеловек интимно близок к членам Царства Божия, но все же еще мало понятен нам, грешным людям, членам психо-материального царства бытия. Поэтому, подготовив исторически существа, достигшие разумности, к Своему появлению, Богочеловек подвергнул свою небесную богочеловечность ограничению (кенозису) и, приняв на Себя «образ раба», осуществил вторую степень воплощения, появился на нашей планете, как земной человек Иисус Христос.

Христианское миропонимание имеет антропоцентрический характер, поскольку во главу мира оно ставит Богочеловека. При этом, обыкновенно, имеется в виду умаленная грехом природа земного человека. Поэтому такое понимание мира можно назвать **микроантропоцентрическим**. В учении Н. Лосского о Богочеловеке первичное боговоплощение понимается, как творение и осуществление Логосом идеально совершенного, всеобъемлющего человека; поэтому такое христианское миропонимание можно назвать **макроантропоцентрическим**. Макроантропоцентрическое учение не отрицает микроантропоцентрического, а содержит его в себе, как часть.

Богочеловек Иисус Христос интимно близок к нашему психо-материальному царству бытия благодаря своей земной жизни в Палестине. Благодатное воздействие Его на нас особенно облегчено, когда мы, становясь членами Его в Церкви, возглавляемой Им, живем и под современным влиянием Его, и под влиянием живого участия в Его жизни на земле, увлекательно изображенной в Евангелии и продолжающей существовать для нас конкретно в богослужении.

Сотрудниками Иисуса Христа в руководстве жизнью нашею служат ангелы и святые, члены Царства Божия. Во главе всего мира, как наиболее близкий Христу сотрудник Его, стоит тварное существо, Мировой Дух, Св. София. Дева Мария есть воплощение на земле Св. Софии, которая таким образом послужила делу воплощения Иисуса Христа. Таким образом Н. Лосский усваивает софиологию русских религиозных мыслите-

лей, однако лишь в той ее части, где речь идет о тварной Софии, от века стоящей во главе твари и непричастной никакому падению.

Проблемы эстетики Лосский разрабатывает тем же способом, как аксиологию и этику, именно исходя из учения о Царстве Божиим. Первая глава его эстетики посвящена вопросу об идеале красоты, осуществленном в Царстве Божиим. Под идеалом красоты он понимает совершенную духовную жизнь, посвященную творению и усвоению абсолютных ценностей и притом телесно воплощенную, а потому доступную чувственному восприятию. Исходя отсюда, он решает все вопросы эстетики в нашем царстве бытия, в котором красота всегда бывает ущербленной: всякий предмет в царстве грешного бытия имеет аспект красоты, но вместе с тем и аспект эстетического безобразия. Этим объясняется возникновение такого заблуждения, как релятивизм в эстетике.

В своих книгах и статьях, касающихся религиозных проблем, Н. Лосский занят не столько богословием, сколько задачей разработать метафизику, необходимую для христианского миропонимания.

НА ЗАПАДЕ

ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ НА ЗАПАДЕ

Г. К. ЧЕСТЕРТОН (1874-1936)

ПАРАДОКСЫ ХРИСТИАНСТВА

Наш мир плох не тем, что он неразумен, и не тем, что он разумен. Чаще всего беда в том, что он почти разумен — но не совсем. Жизнь — не бессмыслица и все же логике она не по зубам. На вид она чуть-чуть логичней и правильней, чем на самом деле; разумность ее — видна, бессвязность — скрыта. Приведу довольно поверхностную параллель. Представьте, что житель луны изучает человека. Конечно, он сразу увидит, что наше тело — симметрично. Человек — это пара, два близнеца, правый и левый. Заметив, что правой руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследователь предскажет, что слева и справа — одинаковое число пальцев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий. Он выведет закон и, обнаружив слева сердце, смело предскажет, что оно есть и справа. Тут он ошибется — именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте.

Все отклоняется от разумной точности на один дюйм. Может показаться, что в мироздание закралась измена. Апельсин или яблоко достаточно круглы, чтобы сравнить их с шаром; и все же они — не шары. Сама земля — как апельсин. Она достаточно кругла, чтобы простаки-астрономы называли ее шаром; и все же она — не шар. Во всем на свете что-то чуть-чуть не так. Не все можно взять логикой, но выясняется это только в последний момент.

Так можно проверять глубину и ясность взгляда. Глубоко и ясно видит тот, кто может предугадать эту потаенную неправильность. Увидев две руки и две ноги, лунный человек выведет, что у людей — по две ключицы и по два мозговых полушария. Но если он угадает, что сердце — одно, нам придется признать его не только ученым.

Именно это случилось с христианством. Оно не просто вывело логичные истины — оно становится нелогичным именно там,

где истина неразумна. Оно не только правильно — оно неправильно там, где неправильная жизнь. Оно несложно и разумно там, где истина разумна и проста; но упорно противится простоте и разуму там, где истина сложна и неразумна. Она признает, что у нас две руки, но ни за что не признает, что у нас — два сердца. В этой главе я постараюсь показать одно: когда что-то в христианском учении кажется нам странным, мы обнаруживаем, к концу концов, ту же странность в правде.

Как я уже говорил, теперь нередко считают, что та или иная вера невозможна в наш век. Конечно, это глупость — в любом веке можно верить во что угодно. Однако, в определенном смысле вера действительно связана с веком: в сложную эпоху основания для веры тверже, чем в простую. Если христианство годно для Бирмингема, это доказывает больше, чем его пригодность для средневековой Италии. Чем сложнее совпадение, тем оно убедительней. Если узор снежинки похож на Эдинбургскую темницу, это может быть случайностью; если все снежинки в точности повторяют узор лабиринта, я бы скорее назвал это чудом. Современный мир так сложен, что совпадение доказывает теперь много больше, чем в старые века. Я начал доверять христианству в лондонских предместьях. Не случайно изобилует вера тонкостями догм, раздражающими тех, кто восхищается, не веря. Верующий гордится сложностью догматики, как гордится ученый сложностью науки. Чем догмы сложнее, тем убедительней совпадения. Балка или камень могут случайно прийтись как раз по дыре; ключ со скважиной случайно совпасть не могут. Они сложны; если ключ подошел — значит, он от этой двери.

Однако эта полнота совпадения очень усложняет мою задачу. Трудно защищать то, во что веришь полностью. Куда легче, если ты убежден наполовину; если ты нашел два-три повода и можешь их привести. Для того, кто убежден по-настоящему, все на свете подтверждает его веру; а все на свете перечислить нелегко. Если мы спросим врасплох обычного, неглупого человека, почему он предпочитает цивилизацию варварству, он растерянно оглядится и забормочет: «Ну, как же, вот книжный шкаф... и уголь... и рояль... и полиция...» Защищать цивилизацию трудно, слишком много она дала. Казалось бы, если доводов много, ответить очень просто; на самом деле именно поэтому ответить невозможно.

В убежденном человеке есть какая-то неуклюжая беспомощность. Особенно трудно ему потому, что доказательство можно начать с чего угодно. Все дороги ведут в Рим — отчасти поэтому

многие туда не приходят. Защищая христианство, я могу начать с любого предмета — скажем, с репы или с такси. Однако, мне хочется, чтобы меня хорошо поняли; и будет умнее, если я протяну дальше нить предыдущей главы — той, где я говорил о первом совпадении моих взглядов с христианством или, верней, о первом подтверждении моих взглядов.

Все, что я знал о христианском богословии, отпугивало меня. Я был язычником в 12 лет, полным агностиком — в 16; и просто не могу себе представить, чтобы кто-нибудь перевалил через 17, не поставив такого простого вопроса. Я питал смутное почтение к отвлеченному Творцу и чисто исторический интерес к основателю христианства. Я считал его человеком; хотя и чувствовал, что даже в этом виде он чем-то лучше тех, кто о нем пишет. Их я читал — во всяком случае, я читал ученых скептиков; а больше я не читал ничего, то есть — ничего о христианстве. Правда, я любил приключенческие книжки, которые не отступают от здоровой и славной христианской традиции, но я этого не знал. Я не читал тогда апологетов, да и сейчас читаю их мало. Меня обратили не они. Гексли, Герберт Спенсер и Брэлоу посеяли в моем уме первые сомнения. Наши бабушки не зря говорили, что вольнодумцы будоражат ум. Они будоражат. Начитавшись рационалистов, я усомнился в пользе разума; кончив Спенсера, я впервые задумался, была ли вообще эволюция; а когда я отложил атеистические лекции Ингерсолла, страшная мысль пронзила мой мозг.

Великие агностики будили сомнения, более глубокие, чем мой собственный скепсис. Примеров можно привести очень много. Приведу один. Пока я читал и перечитывал рассказы нехристиан и антихристиан о христианстве, страшное ощущение овладевало мной. Мне все сильнее казалось, что это христианство — в высшей степени странная штука. Мало того, что его пороки были один хуже другого — они еще и противоречили друг другу. На христианство нападали со всех сторон и по самым несовместимым причинам. Не успевал один доказать, что оно слишком Западное, как другой не менее убедительно доказывал, что оно слишком Восточное. Не успевал я возмутиться его вопиющей угловатостью, как мне приходилось негодовать по поводу его гнусной, сытой округлости. Если читателю все это незнакомо, я рассмотрю несколько случаев — первые, какие вспомню. Приведу я их четыре-пять; останется еще полсотни.

Меня очень взволновало обличение бесчеловечной печали христианства; я ведь считал тогда (как, впрочем, и теперь), что

искренний пессимизм — страшный грех. Неискренний пессимизм — светская условность, скорее даже милая; к счастью, почти всегда пессимизм неискренен. Если христианство и правда всегда противилось радости, я был готов немедленно взорвать собор св. Павла. Но — странное дело! — доказав мне в главе 1, что христианство мрачнее мрачного, мне доказывали в главе 2, что оно чересчур благодушно. Сперва мне говорили, что оно слезами страхами отрывает человека от поисков счастья и свободы, а потом — что оно глушит нас утешительным обманом и держит всю жизнь в бело-розовой детской. Один великий агностик негодовал: почему христиане не считают природу безгрешной, а свободу — легко достижимой? Другой, тоже великий, сетовал, что они скрывают от нас жестокость природы и полную невозможность свободы. Не успевал один скептик сравнить христианство с кошмаром, как другой сравнивал его с кукольным домиком. Обвинения явно уничтожали друг друга, а я удивлялся. Христианство не могло быть ослепительно белой маской на черном лице мира и, одновременно, черной маской на белом лице. Неужели христианин бежал, как трус, от всего тяжелого и в то же время, как дурак, бежал от всего хорошего? Если христианство искажает мир, то в какую же сторону? Как ухитряется оно стать сразу и розовыми, и черными очками? Я смаковал, как все юнцы той эпохи, горькое обвинение Свинберна:

Ты победил, о бедный Галилеянин, мир серым стал в дыхании твоём.

Но вот, я читал то, что Свинберн написал о язычестве (например, «Атланту») и выяснилось, что до Галилеянина мир, если это возможно, был еще серее. Свинберн, в сущности, говорил, что жизнь предельно мрачна; и все же Христу как-то удалось омрачить ее еще. Тот, кто уличал христианство в пессимизме, сам оказывался пессимистом. Я удивлялся все больше. Мне даже подумалось на минуту — правильно ли, что о радости и вере судят те, кто не знает ни веры, ни радости?

Не думайте, я не считал, что обвинения — лживы или обвинители — глупы. Я просто решил, что христианство очень уж чудовищно. Бывают, наверное, люди, часть — очень толстые, а часть — очень тощие; но это монстры. В ту пору я думал только о странностях христианства; я еще не подозревал странностей рационализма.

Другой пример. Очень серьезным доводом против христианства были для меня рассуждения об его робком, нерешительном, немужественном духе, особенно же — об его отказе от всякой

борьбы. Великие богоборцы XIX века были мужественны и тверды; и, по сравнению с ними, христианство казалось каким-то беззубым. Я знал евангельский парадокс о щеке; знал, что священники никогда не сражались; сотни доводов говорили мне, что христианство пытается превратить мужчину в овцу. Я в это верил тогда, и, не прочитай я ничего другого, верил бы и сейчас. Но я прочитал другое. Я перевернул страницу моего агностического писания, и вместе с ней перевернулся и мой мозг. Оказывается, христиан надо было ненавидеть не за то, что они мало борются, а за то, что они борются слишком много. Как выяснилось, именно они разожгли все войны. Одни и те же люди обличали непротivление монахов и насилие крестовых походов. Несчастное христианство отвечало и за то, что Эдуард Исповедник не брал меча, и за то, что Ричард Львиное Сердце его взял. Мне объясняли, что квакеры — единственные последовательные христиане, а резня Кромвеля — типично христианское дело. Что могло это все значить? Что же это за учение, которое запрещает ссору и вечно разжигает войны? В какой стране чудес родилось это беззубое и кровожадное чудовище? Христианство стало непонятней.

Третий пример — самый странный, так как здесь вступает в игру единственное серьезное возражение против христианства. Действительно, христианство — всего лишь одна из вер. Мир велик, людей много, они очень разные. Можно сказать, не погрешая против логики, что христианство годится одним, не годится — другим; что оно родилось в Палестине и укоренилось в Европе. Когда я был молод, это меня вполне убеждало; я склонялся к любимой доктрине этических обществ, которые считают, что есть одна огромная церковь, основанная на единстве совести. Меня учили, что религии разъединяют людей, мораль — объединяет. В самых дальних веках и землях мы натываемся на все те же законы. Мы отыщем Конфуция под китайским деревом и увидим, что он пишет «Не укради»; расшифруем древнейшие иероглифы и прочитаем «Дети не должны лгать». Я верил, что люди — братья во здравом нравственном чутье; верю и сейчас, хотя не только в это. И меня очень сильно огорчало, что, по свидетельству скептиков, христианство отказывало целым эпохам и империям в справедливости и разуме. Но тут я удивился снова. Скептики считали все человечество, от Платона до Эмерсона, единой церковью; но утверждали, тем не менее, что мораль зависит от века и добро одной эпохи становится злом в другой. Если я, предположим, затоскую по алтарю, мне скажут, что он

не нужен, потому что люди (наши братья) дали нам общую, единую веру, включающую — все вековые обычаи. Но если я робко замечу, что один из таких обычаев и есть богослужение, мои наставники сделают полный поворот и объяснят, что люди всегда прозябали во мраке дикарских суеверий. Христианство обвиняли без устали в том, что оно считает одних — познавшими свет, а других — пребывающими во тьме. Однако, те же обвинители гордились, что их прогресс и наука — идеал просвещенных, а все остальные томятся в невежестве. Главный недостаток христианства оказывался их главным достоинством. И недостаток, и достоинство они очень подчеркивали, и что-то тут было нечисто. Когда речь заходила об язычнике или скептике, они вспоминали, что у всех — одна вера; когда речь заходила о мистике, они поражались, какая глупая вера у некоторых. Мораль Эпиктета хороша потому, что мораль неизменна. Мораль Боссюэ плоха, потому что мораль изменилась. Она изменилась за двести лет, но не за две тысячи.

Это становилось подозрительным. Мне начинало казаться, что дело тут не в исключительной порочности христианства, способного совместить несовместимое, а в том, что всякая палка хороша для борьбы с ним. Что же за учение, если его так хотят опровергнуть, что по ходу дела готовы опровергнуть самих себя? Примеры множились. Слишком долго приводить все, но, чтобы вы не подумали, что я произвольно выбрал три, приведу еще несколько. Одни писали, что христианство подтачивает семью, уводит женщин от детей и дома к уединению и созерцанию. Другие — что оно преступно сковывает нас узами семьи, привязывает женщину к детям и дому, не давая ей предаться и созерцанию. Ссылаясь на некоторые стихи из Посланий, христианство обвиняли в презрении к женщинам; и тут же сами презирали их, заметив, что «только женщины» еще ходят в церковь. Христианство порицали за восхваление бедности, за пост и власяницу; а через минуту его же ругали за пышность обрядов, за пурпур и золото. Христианство винили в том, что оно сковывает половую жизнь; но Брэдлоу и Мальтус считали, что оно ее сковывает мало. В одной и той же атеистической брошюре я прочитал, что в христианстве нет единства («Один говорит одно, другой — другое»), и что ему не хватает свободы спора («Только разница мнений не дает миру пойти ко всем чертям»). В одной и той же беседе один и тот же вольнодумец, мой приятель, ругал христианство за антисемитизм и за еврейское происхождение.

Я хотел быть объективным тогда, как хочу и сейчас; и не

решил, что все нападки — лживы. Я решил, что христианство — единственно в своем роде. Бывают на свете люди, соединяющие мотовство со скупостью; но их немного. Бывают развратники — чистоплюи; их тоже немного. Если действительно существует эта смесь кровожадности с беззубостью, роскоши с нищетой, женоненавистничества с женской глупостью, мрачайшего уныния с идиотским благодушием, — если она существует, она предельно, поразительно ужасна. Мои рассудительные наставники не объясняли, почему христианство так чудовищно. Для них (в теории) оно было просто одним из обычных заблуждений. Они не давали мне ключа; а чудище, тем временем, перерастало пределы естественного. Его поразительная порочность становилась непонятной, как непогрешимость Папы. Всегда ошибаться так же странно, как не ошибаться никогда. Уж не порождение ли это преисподней? Действительно, если Иисус — не Христос, он не кто иной, как Антихрист.

И тут, в один прекрасный час, странная мысль поразила меня, словно беззвучный удар грома. Мне пришло в голову еще одно объяснение. Представьте, что вы слышите сплетни о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком высок, другие — что он слишком низок; одни порицают его полноту, другие — его худобу; одни называют его слишком темным брюнетом, другие — светлым блондином. Можно предположить, что он очень странный с виду. Но можно предположить и другое: он такой, как надо. Великаны считают его карликом, карлики — великаном. Старые обжоры считают его тощим; старые денди — тучноватым на их элегантный вкус. Шведы, светлые — как солома, назовут его темным; негры — светлым. Короче говоря, что чудище — просто обычный, или вернее — нормальный человек. Быть может, и христианство нормально, а критики его — безумны, каждый на свой лад? Чтобы это проверить, я постарался вспомнить, нет ли чего необычного в самих обвинителях. К моему удивлению, ключ подошел. Вот, например: в наше время христианство ругают и за аскетизм, и за пышность. Но именно теперь исключительная разнузданность плоти сочетается с исключительной невзрачностью быта. Современный человек считает одежды Фомы Бекета чересчур пышными, а пищу его чересчур скудной. Но ведь сам современный человек очень странный; никогда еще люди не ели так изысканно и не одевались так тучно. Церковь слишком проста для нас именно в том, в чем жизнь слишком сложна; церковь слишком пестра и украшена в том, в чем наша жизнь слишком сера. Тот, кто обличает пост и про-

стую еду, приучен к изысканным закускам. Тот, кому не нравится парча, носит нелепые брюки. Но если еда может быть неразумной, неразумны именно закуски, а не хлеб и вино.

Я перебрал все примеры; ключ подошел всюду. Суровость христианства раздражала Свинберна потому, что он больше любил наслаждения, чем любит их здоровый человек. Мальтузианцы нападали на христианство не потому, что в нем есть что-нибудь особенно неразумное, а потому, что в них самих есть что-то нечеловеческое.

И все же я чувствовал, что христианство — не просто разумная середина. В нем действительно была какая-то предельная интенсивность, какая-то крайность, граничащая с безумием, и оправдывавшая неглубокие нападки скептиков. Быть может, оно мудро — я все больше в это верил; но мудрость его — не мешанская умеренность. Пусть кротость монахов и ярость крестоносцев уравнивают друг друга; но монахи — предельно кротки, крестоносцы — предельно яростны. Додумавшись до этого, я вспомнил свои прежние мысли о самоубийстве и мученичестве. Там тоже две до безумия диких точки зрения, каким-то образом оказывались здравыми. Там тоже было противоречие, там был один из парадоксов, которые доказывали скептикам несостоятельность веры. То противоречие оказалось истиной, парадокс оказался правдой. Христиане сильно ненавидели самоубийцу, сильно любили мученика — но не сильнее, чем любил и ненавидел я сам задолго до того, как стал размышлять о христианстве. Тут началась самая трудная и занимательная часть моих размышлений: сквозь сложность богословия я смутно различил очертания принципа. Принцип был тот самый, о котором я догадался, рассуждая о пессимисте и оптимисте: нам нужна не смесь, не компромисс, а оба качества во всю свою силу — скажем, пламенная любовь и пламенная ненависть. Сейчас, здесь, я применю этот принцип только к этике; на самом деле он пронизывает все богословие. Так, правоверные богословы всегда защищали догму о том, что Христос — не существо, отличное от Бога и от человека (как, скажем, эльф), и не полу-Бог, полу-человек (как герой греков), но самый настоящий Бог и самый настоящий человек. А теперь я расскажу об этом принципе, следуя ходу тогдашних моих рассуждений.

Все здравомыслящие люди поймут, что здравый смысл — своего рода равновесие, что безумно обжираться, но безумно и голодать. Правда, в наши дни пытаются отвергнуть аристотелеву логику — одни мыслители говорят, что надо свести еду на нет, дру-

гие — что надо есть все больше и больше. Однако, великий трюизм Аристотеля остается в силе для здравомыслящих; мыслители вывели из равновесия только самих себя. Итак, равновесие; но как удержать его? Эту проблему пыталось решить язычество, эту проблему, мне кажется, решило христианство, и решило в высшей степени странно.

Для язычества добродетель — компромисс; для христианства — схватка, столкновение двух, казалось бы, несовместимых свойств. Конечно, на самом деле несовместимости нет; но сочетать их действительно трудно. Возьмем тот ключ, которым мы пользовались, когда говорили о самоубийце, и подумаем о смелости. Настоящая смелость — парадокс; очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит... *). Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам и альпинистам; его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадокс — суть мужества, даже самого грубого. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить, он трус. Если он только готов умереть, он самоубийца. Но смелый любит жизнь, как жаждущий — воду, и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической истины, не выразил ее и я. Христианство же сделало больше: оно прочертило границу между смелым и самоубийцей — показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти, и смерть ради жизни. Потому и осенила наши копья тайна рыцарства — христианской смелости, презрения к смерти, а не китайской смелости, или презрения к жизни.

Тут я стал замечать, что этот принцип — ключ, ко всем проблемам этики. Возьмем другой пример — скромность. Как найти равновесие между гордостью и самоунижением? Обычный язычник (или агностик) скажет, что он доволен собой, хотя не слишком — есть люди лучше его, есть и похуже. Это разумно и достойно; однако, можно возразить, так как мы возражали Мэтью Арнольду. Компромисс практически обесценил обе крайности, в нем нет силы, нет чистоты цвета. Он уже не поднимет сердце горё, как словно зов боевых труб; ради него не оденешься в золото и пурпур. Он не очистит душу огнем, не сделает прозрач-

*) См. И. 12,25. Честертон дает здесь не прямую цитату (там — «душу свою»), а привычное толкование. См. сноски в Евангелиях, где говорится, что «душа» в данном случае означает «жизнь».

ной, как стекло, — из-за него не уподобишься ребенку, сидящему у подножья травы. Чтобы увидеть чудо, надо смотреть снизу — Алиса стала очень маленькой, чтобы проникнуть в сад. Умеренная, разумная скромность лишает нас и поэзии гордости и поэзии смиренья. Христианство пошло своим странным путем, и спасло их — обе.

Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Человек смог гордиться, как не гордился никогда; человеку пришлось смириться, как он никогда не смирялся. Я — человек, значит — я выше всех тварей. Но я — человек, значит я — ниже всех грешников. Смирению пессимизма — презрение к людям — пришлось уйти. Заглохли сетования Екклезиаста «Нет у человека преимущества перед скотом» *) и горькие слова Гомера о печальнейшей из тварей земных. Человек оказался подобием Божьим, поселенным в саду. Он лучше скота, печален же он потому, что он — не скот, а падший Бог. Человек так велик для христиан, что его величие может выразить только солнце венцов и павлиньи перья опахала. Но человек так мал и слаб, что это выразят только пост и розга, белый снег св. Бернарда и серая зола Доминика. Когда христианин думает о себе, он имеет право на самую горькую правду и самое беспощадное уничтожение. Реалист или пессимист может разгуляться вволю. Пусть зовет себя дураком и даже проклятым дураком (хотя здесь есть призыв к кальвинизму); только пусть не говорит, что дураки не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек ничего не стоит. Христианству и тут удалось соединить несоединимое, соединить противоположности в самом сильном, крайнем виде. Надо ценить как можно меньше себя самого. Надо ценить как можно больше свою душу.

Возьмем другой пример — сложную проблему милосердия, которая кажется такой простой немилосердным идеалистам. Милосердие — парадокс, как смирение и смелость. Грубо говоря, «быть милосердным» значит прощать непростительное или любить тех, кого очень трудно любить. Представим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он сказал бы, вероятно, что одних простить можно, других — нельзя; что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться, а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже мертвого. Если проступок простителен, человека можно простить, и наоборот. Это разумно, и даже мудро; но это — смесь, компромисс, раствор. Не остается места чистому ужасу перед неправдой, который так прекрасен в детях.

*) Еккл. 3,19.

Не остается места чистой жалости к человеку, которая так прекрасна в добрых. Христианство нашло выход и здесь. Оно взмахнуло мечом, и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до семидесяти семи. Преступление прощать не нужно. Раб, укравший вино, вызывал и раздражение, и снисходительность. Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырвались на волю, им есть теперь, где разгуляться. И чем больше я присматривался к христианству, тем яснее видел: оно установило порядок, но порядок этот выпустил на волю все добродетели.

Свобода чувств и разума не так проста, как нам кажется. Здесь нужен баланс, такой самый, какой вносят законы в свободу политическую. Средний эстет-анархист, стремящийся к бесформенной свободе чувств, попадет в ловушку — он ничего не может чувствовать. Он разбивает оковы дома, чтобы отдалиться поэзии; но, не зная этих оков, он уже не поймет «Одиссея». Он освобождает себя от патриотизма и национальных предрассудков, освобождает тем самым, и от «Генриха V». Он оказывается за пределами литературы; он — скованней, чем фанатик. Ведь если между вами и прочим миром — стена, так ли важно, с какой вы стороны? Никому не нужна свобода от всего на свете; нужна другая свобода. Можно освободить вас от чувств, как освобождают от тюрьмы; можно освободить и так, как выгоняют из города. И вот, как же выйти за стену, выпустить чувства на волю, и не наделать зла? Эту задачу решила церковь, провозгласив свой великий парадокс о совместимости несовместимых страстей. Она знала и верила, что дьявол воюет с Богом; она восстала против дьявола; и в беде и мятеже мира ее гнев и ее радость загревели во всю силу, как водопад или стихии.

Св. Франциск мог славить все доброе радостней, чем Уитмен. Св. Иероним мог обличать все злое мрачнее, чем Шопенгауэр. И радость, и мрачность вышли на волю, потому что обе встали на свое место. Теперь оптимист вправе славить веселый зов труб и пурпур знамен; но не вправе сказать, что бой ненужен. Пессимист волен предупредить об увечьях и усталости, но не вправе сказать, что битву все равно не выиграть. Так было во всем, чего бы я ни коснулся: с гордостью, состраданием, противлением злу. Церковь не только сохранила несовместимые на первый взгляд вещи — она довела их до накала, который в миру ведом разве что анархистам. Кротость стала безумней безумия. Христианство перевернуло нравственность; его добродетель поразительней язы-

ческих, как деяния Нерона поразительней будничных проступков. Дух гнева и дух любви стали странными и прекрасными: гнев Бекета ринулся как пес на величайшего из Плантегенестов, любовь св. Екатерины целовала окровавленные головы. Стихии воплотились в жизнь. Это величие и красота действий исчезли вместе с мистической верой. Святые, в своем смущении, действовали великолепно, как в театре, мы для этого слишком горды. Наши наставники ратуют за реформу тюрем; но вряд ли нам доведется увидеть, как видный филантроп целует обезглавленное тело. Они обличают миллионеров; но вряд ли мы увидим, как Рокфеллера секут в храме.

Да, обвинения спекулятистов не только сбивают с толку — они помогают понять христианство. Наша церковь действительно довела до предела и девственность, и семью — они сьеркают рядом, как красное и белое на щите св. Георгия. Христианству всегда была присуща здоровая ненависть к розовому. В отличие от философов, оно не терпит мешанины; не терпит того компромисса между белым и черным, который так недалек от грязно-серого. Быть может, мы выразим все наше учение, если скажем, что белое — цвет, а не бесцветность.

Так, христианство обвиняют и в непротивлении, и в воинственности. Конечно оба обвинения верны. Оно действительно вручало меч одним, вырывало его у других. И действительно, те, кто воевал, были страшны как молния, а те, кто не воевал — спокойны, как статуя. Церковь умеет использовать и своих нищихианцев и своих толстовцев. Что-то есть в бою, если столько прекрасных людей любили битву. Что-то есть в пацифизме, если столько прекрасных людей радовала полная непричастность к войне. Но церковь не дала исчезнуть ни тому, ни другому. Она сохранила обе добродетели. Тот, кто, как монахи, не мог пролить крови, просто становился монахом. Такие люди были не сектой, а особым человеческим типом, вроде клуба. Монахи говорили все, что сказал Толстой; оплакивали жестокость битвы и обличали пустоту отношения. Но толстовцы недостаточно правы, чтобы вытеснить из мира всех других; в века веры им не давали той веры и мир не лишился по их вине знамени Иоанны. А иногда чистая милость и чистая ярость сочетались в одном человеке — так, выполнив пророчества, лев и ягненок возлегли рядом в сердце св. Людовика. Не забудьте, что этот текст толкуют однобоко. Многие, особенно те же толстовцы, считают, что возлегли рядом с ягненком, лев уподобится ему. Это истая насмешка над львом; ягненок просто проглотил бы льва, как прежде лев поглощал

его. Дело в другом. Может ли лев лечь рядом с ягненком и сохранить свое величие? Так поставила вопрос церковь, такое чудо она свершила.

Вот это я и имел в виду, когда говорил о скрытых разумностях жизни. Церковь поняла, что сердце слева, что земля — шар и не шар. Она не только постигла закон — она предсказала исключения. Те, кто полагает, что христианство открыло сострадание, недооценивает христианство. Сострадание мог открыть всякий; всякий его и открывал. А вот совместить сострадание с суровостью мог только тот, кто предвидит странные нужды человека; ведь никто не хочет, чтобы большой грех прощали, словно маленький. Всякий мог сказать, что жить — не очень хорошо и не очень плохо. А вот понять, до какой черты можно ощущать зло жизни, не закрывая от себя добра — это открытие. Всякий мог сказать: «Не возносись и не юродствуй», и сковать людей. Но тот, кто скажет: «Здесь гордись, а здесь — юродствуй», людей освободит.

Сила христианской этики в том, что она открыла нам новое равновесие. Язычество как эта колонна, пропорциональная и симметричная. Христианство — огромная, причудливая скала: кажется тронешь ее — и упадет, а она стоит тысячи лет, потому что огромные выступы уравнивают друг друга. Бекет носил власяницу под золотой парчой, ему была польза от власяницы, окружающим — от парчи; наши миллионеры являют другим мрачный траур, а золото держат у сердца. Но не всегда равновесие в одном человеке; часто оно — во всем человечестве. Человек предавался молитве и посту в северном монастыре — и южный город мог украшать себя в праздник цветами. Пустытники пили воду в песках Сирии — и крестьяне могли пить сидр в английских садах. Христианский мир строже и интересней языческой империи. Так Амьенский собор не лучше, а сложнее и интересней Парфенона. Если вам нужен довод из современности, подумайте о том, почему христианская Европа, оставаясь единым понятием, раскололась на маленькие страны. Патриотизм — великолепный пример такого, нового равновесия. Языческая империя повелевала: «Вы — римские граждане, так пусть же германец не будет таким послушным и медлительным, а галл — таким мятежным и быстрым». Христианская Европа говорит: «Пусть немец останется медлительным и послушным, чтобы француз мог быть мятежным и быстрым. Нелепица Германии уравновесит безумие Франции».

И, наконец, самое главное. Только так мы поймем, что никак

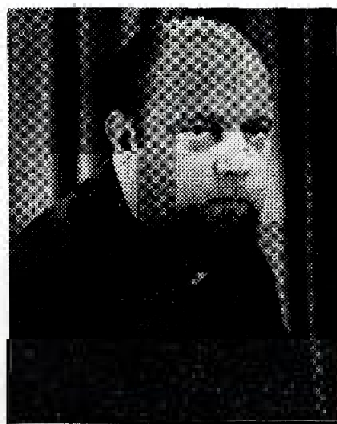
не могут понять современные критики христианства; имею в виду чудовищные схватки из-за мельчайших тонкостей догмы, истое землетрясение из-за жеста или слова. Раз, речь шла о дюйме; но дюйм — это все, когда надо удержать равновесие. Ослабьте одно, и немедленно другое станет сильнее, чем надо. Пастырь вел не овец, а тигров и диких быков — каждая из доктрин могла обернуться ересью опустошить мир. Помните, что церковь — укротительница львов, водительница опаснейших идей. Непорочное зачатие, смерть Бога, оставление грехов, выполнение пророчеств можно, сдвинув чуть-чуть в сторону, превратить во что-то ужасное и кощунственное. Ювелиры средиземноморья упустили крохотное звено — и лев древнего отчаяния сорвался с цепи в северных песках.

О самих богословских спорах я скажу позже. Здесь мне важно напомнить, что мельчайшая ошибка в доктрине может разрушить всю человеческую радость. Неточная фраза сломала все статуи, остановила все пляски, оголила рождественские елки и разбила пасхальные яйца. Доктрины надо определять строже строгого хотя бы для того, чтобы люди могли вольнее радоваться. Церкви приходится быть очень мелочной, чтобы мир был беззаботен.

Вот она, романтика правоверности. Люди говорят о скуке и тяжеловесности догмы. На самом деле нет и не было ничего столь опасного и поразительного. Ортодоксия — это нормативность, здоровье, а здоровье поразительней безумия. Церковь ранних веков ничуть не была фанатичной. Она не была в одну точку — она разила вправо и влево, сокрушая огромные опасности. Она сокрушила арианство, чуть не сделавшее ее слишком земной; и тут же принялась за ереси, чуть не сделавшие ее слишком бесплотной. Она никогда не шла на компромисс, никогда не была респектабельной, осторожно разумной. Легче было поддаться земной власти ариан. Легче было, в XVII веке, сползти под откос. Церковь никогда не была предопределенная. Легко быть сумасшедшим; легко быть еретиком, легко быть скотом, идти — на поводу у века. Легко было угодить в одну из тех ловушек, которые мода за модой, секта за сектой стояли на пути церкви. Легко упасть; падают под многими углами, стоят только под одним. Легче легкого было свалиться в любую из ловушек, от агностицизма до христианской науки. Но избежать их — истинный подвиг, от которого захватывает дух. И я вижу, как мчится по векам колесница, тусклые ереси падают перед ней. Истина правит ею.

(Перевод с английского)

Прот. Кирилл ФОТИЕВ



О ДУХОВНОМ ОБЛИКЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Интеллигенция в русском понимании этого слова — беспокойная, оторванная от своего народа и томящаяся бессильным идеализмом — появилась в Америке сравнительно недавно. Ее первые, одиночные предтечи появились на левом берегу Сены после первой мировой войны. Сейчас количество их возросло, но соответственно понизился их интеллектуальный уровень. В моей статье речь будет идти скорее просто о тех американцах, которые получили высшее образование и, кроме ежедневной газеты, читают также книги.

Духовные «дрожжи», вскормившие Америку и определившие собой ее духовный облик, суть протестантство и просвещение наивно-прогрессивного толка. Уходя от несправедливостей, конфессиональных преследований и от экономического гнета старой Европы, переселенцы неизменно везли с собой Библию, которая по сей день лежит в ночном столике каждого американского «мотеля». Руководствуясь прямолинейно и примитивно понимаемыми образцами ветхозаветных теократий, переселенцы часто пытались в Новом свете создать свои общины «праведно, по Библии». По своей нежизненности эти попытки проваливались и от них оставался или конфессиональный фанатизм — в Коннектикуте еще в первой половине 19 века вешали квакеров — или, по меньшей мере, нравственный педантизм, часто очень мелочный и лицемерный: во многих штатах так называемого «библей-

ского пояса» продажа спиртных напитков до сих пор подвержена разным степеням запрета. Библия, понимаемая под углом зрения протестантского морализма, постепенно стала не благой вестью об освобождении через усыновление Богу, а символом всяческих кар ослушникам — своего рода огромным придорожным знаком «стоп» — «не смей, а то будешь наказан»... В силу этой установки, а также по причине своей деноминационной раздробленности, протестантизм очень скоро ушел с «большой дороги» молодого и мощно-развивающегося государства; стал тем, чем он, по своей основной идее, и является — религией личного спасения — оставив «большую дорогу» открытой всем ветрам. Но в этой принципиальной отрешенности от судьбы мира и общества, в «тишине келейной» семейная Библия американского протестантизма принесла свои несомненные плоды, отрицать которые невозможно. Слово Божие таинственно проростало в сердцах суровых поселенцев — природный американец чище сердцем, чем средний француз, немец или англичанин, от отзывчив и щедр, у него более живая совесть и больше готовности к беспощадному и откровенному суду над самим собой. Но голос американского христианства никогда не прозвучал «соборно» — «общее дело» никогда не выходило за рамки превосходно организованной и мощной благотворительной деятельности, никогда не стало фактором общественного и мировоззренческого развития. Америка никогда не знала и, по самой своей природе, никогда не могла знать такого явления, как рыцарство — это был удел дворянской, католической Европы, а не переселившихся за море «разночинцев». Один из последних рыцарей и романтиков, великий польский поэт Адам Мицкевич, умерший с оружием в руках, незадолго до своей смерти сложил «литанию»:

«О великой войне за свободу народов,
Молимся Тебе, Господи.
Об оружии и знаменах наших
Молимся Тебе, Господи.
О счастливой смерти на поле брани
Молимся Тебе, Господи...»

Скажем прямо — таких слов не только не смог бы написать ни один из типичных для Америки поэтов, но даже само чувство, которое за этими словами Мицкевича стоит, решительно чуждо всему духовному складу Америки. Ее мироощущение можно передать словами поэта О. Э. Мадельштама, сказанными им по поводу невозможности для декабристов «раскачать» Россию и по-

вести ее по пути гражданственности и свободы: «но жертвы не хотят слепые небеса / вернее труд и постоянство...» Когда некоторые европейцы справедливо упрекают покойного президента Рузвельта, одного из величайших американских президентов, спасшего Америку от социальной катастрофы, что он не только не возглавил «крестового похода» против коммунизма, но по отношению к Сталину оказался просто слепым и наивным, они забывают, что Рузвельт всего-навсего был выразителем духа своей страны, которая лишь при нем, да и то очень неохотно, отказалась от политики «изоляции». Американцы не склонны к «крестовым походам» и не ждут для себя удачи в идеологических схватках, ибо их собственная идеология — приблизительно и прагматична, это — программа действия, а не лозунг, написанный на знаменах. Здесь следует искать также корни того сопротивления, которое вызывает в американском обществе война во Вьетнаме. Никакая полицейски-превентивная война, да еще за тысячи миль от собственных границ, не может быть популярна. Но что особенно раздражает в этом случае американскую интеллигенцию, не только «левую», это претенциозность самого замысла — «янки из Оклахомы возомнили себя спасителями одного из самых древних народов земли»...

В отсутствии, резко-очерченных — и потому нетерпимых к инакомыслящим — идеологий американец видит гарантию от всякой попытки установить духовную, мировоззренческую или политическую диктатуру. Именно поэтому антикоммунизм никогда не был в Америке популярен, за годы «холодной войны» он успел надоесть и сейчас стал чуть-ли ни бранным словом. Следует также добавить, что наиболее яркое проявление американского антикоммунизма, связанное с именем сенатора Мак-Карти, было отмечено духом сыска и неприкрытым призывом к погрому — завсегдатаям пивных предлагалось пересчитать ребра «гнилым интеллигентам» и выяснить — не марксисты ли они? Это не могло не вызвать обратной реакции. Что принципиальная «антиидеология» в свою очередь может стать идеологией, и даже идеологией нетерпимой и воинственной, не доходит до сознания. Именно такой подход к социальным и политическим судьбам мира впитывает в себя молодое поколение американцев в стенах высших учебных заведений. Корни такой установки уходят, как я пытался показать, очень глубоко, они определены, даже если это сейчас сознают лишь немногие, обликом ее религиозных традиций. Никакого «общего дела» — его немедленно возглавит

тиран! Никаких «целостных мировоззрений» — оно приведет к диктатуре католического или советского типа!

Сознательная приниженность американского общественного идеала, который исчерпывается, по- существу, требованием свободы и хорошего функционирования государственных учреждений, приводит к тому, что американец всегда сдержан в осуждении даже таких явлений, как коммунистическая диктатура. Признавая, что диктатура и политический гнет — явления отрицательные и достойные осуждения, американец сразу же сошлется на особенности той страны, в которой эта диктатура смогла утвердиться и непременно добавит: «у нас тоже много недостатков в нашей политической и общественной жизни». Но если американец, как и всякий, впитавший в себя принципы американского мышления, сдержан в спорах об идеологии и о порядках в других странах, он проявляет лучшие качества своего ума и совести, когда речь заходит не о «судьбах мира», а о судьбе конкретного человека. Мне представляется, что лучшим — и может быть единственным — средством показать мыслящим людям Америки всю бесчеловечную сущность советской диктатуры будет рассказ об их современниках — жертвах расправы с инакомыслящими. Что может быть проще, трагичнее и убедительнее, чем рассказ Г. М. Шаламова (распространяется в СССР «самиздатом»; напечатан в журнале «Грани» № 79) — рассказ молодого интеллигента о том, как его травили, преследовали и, наконец, оторвали от жены и ребенка и бросили в сумасшедший дом, где подвергали насильственному воздействию разрушающих ум и волю препаратов — только за то, что он верит в Бога и эту веру исповедует! Я убежден, что когда в Америке найдутся люди, которые так будут говорить о нашем времени и его трагизме, о том несказанном зле, которое воплощают в себе тоталитарные диктатуры и об угрозе, нависшей над той частью человечества, которая пока еще от них свободна — им дано будет в значительной мере переменить то состояние умов, которое сегодня преобладает в Америке. Ибо если мышление американцев развращено смесью наивности и фактопоклонства, то совесть их жива и максималистична.

Второй элемент, оказавший решающее влияние на американское мышление, особенно же на дух американского университета, это — позитивизм, уходящий своими корнями как в учение французских энциклопедистов, так и в эмпиризм, характер-

ный для английской философии двух прошедших столетий. Сущность этой установки можно выразить следующим образом — истинно то, что доказуемо и постижимо путем научного анализа. За пределами научно-доказуемого лежит область догадок и прозрений, которым место в «личной философии» или в религиозных убеждениях каждого; это есть область «частного дела». Но наука и научное исследование должны быть свободны от предпосылок и даже от выводов метафизического характера — иначе наука теряет свою высшую ценность — объективность и вызывает бесплодные споры, которые лишь тормозят прогресс науки и накопление чистого знания. В области научного метода и подхода американцы остаются, пользуясь русским понятием, вечными «шестидесятниками», и в капитуляции перед этой коренной установкой Америки и состоит сущность всего так называемого «нового богословия» протестантских проповедников вроде Робертсона и Пайка. В американских университетах читаются лекции о Священном Писании, но оно рассматривается только с точки зрения сравнительного литературоведения и анализа текста, как «продукт» исторических судеб, этических воззрений и поэтики скотоводческих времен, живших на Ближнем Востоке две-три тысячи лет тому назад... Насколько сильна эта замкнутость и окаменелость в позитивизме американского научного подхода видно из того, что даже величайшие ученые нашего времени, заново осмыслившие истины христианского откровения в свете того, что говорит современная наука о мире и человеке, не оказали на Америку почти никакого влияния. Американская академическая интеллигенция прошла мимо Анри Бергсона и его философии интуитивизма, незамеченными оказались и Леконт де Ньюи и Алексис Каррель и Тейар де Шардэн — называю лишь немногих, влияние которых на культурную элиту Европы было и остается огромным.

Давая своей интеллигенции такой избыток материальных благ и интеллектуальной информации, который и не снился людям в другие времена и в других странах, Америка одновременно заключает их в невидимую тюрьму, стены которой состояли, во всяком случае до совсем недавнего времени, из проповеди безусловной ценности прогресса и благополучия, из рационализирующих или сентиментальных поучений носителей выдохшейся протестантской религии и из привитых им школой навыков, заставляющих вопрошать о смысле жизни. За последние годы лишь немного дрогнул идеал прогресса — его помяли вызванные им проблемы экологии... Замените проповедников традиционной ре-

лигии партийными начетчиками — и перед вами возникнут стены другой тюрьмы, скрепленные, в отличие от Америки, не только предрассудками, а всеми средствами тоталитарного властвования...

Шумная ломка этих стен бунтующим молодым поколением — одно из наиболее характерных явлений нашей эпохи. При отсутствии идеалов это разрушение становится бегством в пустоту, в стадо бунтарей и «ниспровергателей основ», в политический радикализм или фрондерство. Но даже при несомненном кризисе политических идеалов и идейного водительства, который характерен не для одной Америки, у нас нет оснований утверждать, что этот бунт молодежи есть приговор Америке и провозвестник ее конца. О наркоманах и «волосатиках» знают все, но далеко не все замечают их сверстников и братьев, жертвенно работающих в «корпусе мира» и на социальной работе в трущобах больших городов. После того, как приходской священник стал частью буржуазного общества, сократилось количество молодых людей, поступающих в семинарии, но кризис не коснулся ни монастырей, ни миссионерских обществ. В Америке, заведенной в тупик позитивизмом интеллигенции и бессилием протестантских сект, есть еще живые силы, есть жажда веры и способность на подвиг.

Питает и спасает только истина. Великая миссия Америки состоит в том, чтобы напомнить об этом. Всякий традиционализм, удовлетворяющийся привычным обрядом или ссылкой на евангельскую цитату, в Америке обречен. Тем более обречен он в Советском Союзе. Паскаль точно выразил чувство молодого поколения наших дней, когда он сказал, что верит лишь тем свидетелям, которые дали себя зарезать. Америка, в отличие от Советского Союза, не есть страна мучеников и исповедников в прямом и страшном смысле этого слова, но и в Америке сможет победить лишь та проповедь, за которой будет чувствоваться готовность на подвиг. Перед Православием — с его безусловной верностью всей полноте учения древней Церкви и его свободой от вероучительного приспособленчества к духу века сего, с его светлым космизмом и живым опытом стяжания Святого Духа, с его богослужением, которое, вопреки усилиям «старообрядцев» всех толков, есть и остается трепетным и радостным созерцанием Творца, Который нисходит к творению и возводит его в полноту дарованного Им Царства — во всем мире и в Америке открыты миссионерские возможности, при мысли о которых захватывает дух.

РОСТКИ НАДЕЖДЫ

Что делать? Как жить? Чему верить? Есть ли хоть малейшая надежда на то, что на эти вопросы, в наше сумбурное время, существует настоящий ответ?

Я думаю, что ежедневно миллионы людей ставят себе эти вопросы, и тщетно пытаются ответить на них, вглядываясь в события быстротекущих дней. А события эти, со всех концов планеты, стекаются и пестрят, мелькают и исчезают в экране телевизора, как в окне быстрого поезда. И у нас, пассажиров, остается только тяжелое впечатление того, что мировая бессмыслица настолько велика, что надежды на осмысление нашей жизни, надежды на победу над хаосом — нет никакой.

И впрямь, где они, эти силы сопротивления духовному разложению всего человечества? В Восточной части мира, хотя и развенчан 15 лет тому назад величайший из тиранов, однако дело оздоровления мало подвинулось с тех пор, и совсем не кажется странным то, что такой крупный русский писатель, каким является Андрей Синявский, просидел в концлагере более пяти лет, что Солженицына от той же участи несомненно спасла только Нобелевская премия, а десятки других, молодых и старых, талантливых и неталантливых русских людей, поплатились за независимые взгляды более страшным наказанием — попали в «психотюрьмы», то есть загнаны на неопределенный срок в сумасшедший дом. Ещё не пойман нацистский доктор Менгеле, а уже появился новый, советский — доктор Лунц, ничуть не менее страшный. Конечно, наука, медицина, тут не причем, но так же очевидно, что сама по себе никакая наука надежды не может дать и не дает.

А на Западе? Разве «гошисты», да «новая левая» не сводят на нет всякую надежду на то, что возможно оздоровление мира? Ведь польский философ Лешек Колаковский совершенно прав, считая что «новая левая», вся эта «маоцетунгирующая» молодежь, верящая в спасение насильем и диктатурой — симптом болезни, а не лекарство. Симптом зловещей болезни, пятьдесят лет тому назад первой поразившей Россию.

Существуют ли на Западе силы, которые могут противостоять болезни, а не только ее симптомам? Я их пока не вижу.

Главной силой всех тоталитарных движений нашего века была и есть жажда веры, отчаянное желание покинуть одиночную камеру своей души во что бы то ни стало. Что на Западе может противостоять этой тяге к тоталитаризму? Наука? Она тут ни при чем. Высокий материальный уровень жизни? Вряд ли. Политическая демократия? Но ведь она-то сама нуждается в религиозном фундаменте (хотя это часто не осознается), и без него, с легкостью разваливается.

А там, еще дальше на Востоке, крепнет с каждым днем самая фанатичная и многочисленная тоталитарная сила, какую видел мир, и невольно вспоминаются пророчества Нострадамуса о порабощении Европы желтой расой.

И над всей этой суматохой идеологий, партий, сект, вождей и войн, витает, как будто кем-то нарочно нагнетаемый, страх от возможности уничтожения планеты в мировой термоядерной войне. Страх — плохой союзник, и мне кажется, что он помогает только силам организованного хаоса, ибо как ни крути, всех нас, ныне живущих на земле, через, максимум, 120 лет, — не будет в живых, даже если не произойдет не только война, но и не будет ни одной автомобильной катастрофы в течение этого времени. И поэтому страх от ядерного уничтожения есть ложный, вымышленный страх, который сковывает и без того порабощенные силы человеческого духа.

И тем не менее, где-то в глубине своей души, человек интуитивно чувствует неуничтожимость и свою, и человечества. А так как это чувство невозможно до конца вытравить, то силы организованного хаоса и смерти внешним шумом пытаются заглушить его — лозунгами, выкриками, маршами, рекламой. Потому что силам организованного хаоса, смертельно опасен свободный человек, а человек свободен только тогда, когда чувствует, что там, в глубине его души, тот самый центр центров, называемый «я» каждого из нас, — неуничтожим никакими внешними силами, будь то законы природы, насилие, смерть, и что потеря этого центра — самое страшное что может произойти с человеком. И там где-то в глубине, это «я» каждого из нас соприкасается с другими «я», и это соприкосновение и есть любовь, или религия. Когда же закрыт в человеке путь в его собственную глубину, то невыносимое одиночество можно иллюзорно покинуть только в поверхностном объединении с себе подоб-

ными, оторванными от глубины, именно в таких псевдорелигиозных движениях, как Фашизм, Нацизм, Коммунизм. В этом и есть вся суть тоталитарных движений. И никакое так называемое «высоко развитое научно-индустриальное общество» не может противостоять тоталитаризму, ибо оно своей структурой подготавливает почву тоталитарному движению тем, что, поработав человека внешней рационально-механической и технологической структурой жизни, отсекает ему путь в глубину самого себя, туда где коренится истинное, а не ложное (расовое, классовое, национальное) единение душ человеческих, и где всегда космос, и никогда — хаос. Мы все отделены друг от друга нашим неверием в надличную, надреальную связь наших глубинных личностей. И только когда через глубину своего «я» чувствуешь реальность других «я», — возможна политическая демократия, и наоборот, оторванный от своего глубинного корня, человек не чувствует реальности чужих «я», и легко склоняется к насилию над другими.

Но вот что самое интересное — такая же молодежь, что на Западе в подавляющем числе склоняется в сторону тоталитаризма, в уже оформленных тоталитарных системах, выступает с прямо противоположными требованиями, с требованиями всего того, что западная молодежь считает «отжившим», «буржуазными предрассудками»: свобода слова, печати, законность. А как оценить все чаще появляющиеся в России искры новой, возрожденной религиозности у молодых людей, проживших всю жизнь в сугубо атеистическом обществе? И вот, вспоминаются слова Джузеппе Маззини: «В страданиях рабства народы учатся любить свободу».

И если точно, что побег от одиночества в тоталитарное движение оканчивается рабством (а вся история XX века об этом говорит), то страшные страдания рабства, какими-то неизвестными нам душевными процессами, открывают дорогу человеку в глубь его души, тем самым освобождают от одиночества, которое и толкнуло к тоталитаризму, и в то же время таким способом создается фундамент для свободного, демократического, органического, а не тоталитарно-механического общества, на этот раз не национальных, а планетарных размеров.

Невольно напрашивается сравнение теперешней России, страны самого длительного тоталитаризма, с положением героя романа Достоевского «Преступление и наказание» Раскольниковым, во время его пребывания на каторге. Но вот, кажется близится день чуда, тот момент, когда убийца, выстрадав свой грех насилия, снова способен любить, то есть — жить. Молодежь За-

пада, к сожалению, чересчур похожа на Раскольникова, только что собравшегося совершить насилие.

Последние новинки подпольной советской литературы, появившиеся недавно, поражают той глубокой осмысленностью происходящего в мире. В то время как орган ООН ЮНЕСКО прославляет юбилей «великого гуманиста» Ленина, Василий Гроссман, некогда известный «соцреалист», в посмертном романе-исповеди «Все течет», с большой силой раскрывает психический образ Ленина как творца самой рабской из всех существовавших в истории общественных систем. В то время как на Западе интеллигенция все «левет» и левеет, а консерваторы-традиционалисты считают возможным бороться против тоталитаризма военно-техническими и экономическими преимуществами, — Надежда Мандельштам, жена погибшего в лагерях крупного поэта, пишет о том, что как когда-то Россия спасла Европу от татарского нашествия, так и теперь Россия спасет западную цивилизацию от рационализма, порождающего то одиночество, из которого вытекает тоталитаризм, тем что в себе самой найдет силы для победы над тоталитаризмом. Ибо извне — он непобедим.

Внести смысл в наш мир, и победить хаос, ныне не может никакое политическое движение, никакая тщательно разработанная общественная система, никакая наука и техника, а единственно — истинное религиозное возрождение, выстраданное своим собственным опытом. Кажется, что необходимо пройти до конца путь насилия и зла, активно веря в него, или пассивно покоряясь, для того чтобы навсегда перестать верить в силу и непобедимость зла. И парадоксально можно сказать, что без этих бесконечно долгих лет тоталитарной диктатуры, не смогла бы в России появиться завтрашняя свобода, которая, конечно, не будет иметь ничего общего с тоталитаризмом.

Величайший вопрос состоит в том — можно ли к этой настоящей свободе, демократической законности, органическому порядку, прийти не переболев болезнью тоталитаризма? От ответа на этот вопрос зависит судьба Запада. Или угроза азиатского тоталитаризма ускорит процесс болезни, и выздоровления? Но где тостки надежды на Западе? Ведь студенты, беднота, цветное население, все те, в которых верит Маркузе, все они более или менее заражены духом насилия, значит тоталитарным духом.

В пророческом романе Джорджа Орвелла «1984», рисующего весь мир в тисках трех тоталитарных супер-государств, главному герою кажется, что единственная надежда человечества, это

— «пролы», пролетариат, не зараженный духом тоталитарной партии. И вот сейчас, в суматохе мировой бессмыслицы, во многом подтверждающей гениальные видения Орвелла, можно с полным правом сказать, что единственная надежда на «Зеков», советских заключенных, людей, из числа которых появляются те, чьи жизни и мысли суть живая надежда, осмысляющая и нашу жизнь. И страдания, ежечасно вызываемые мучительными вопросами и бессмыслицей телевизиорных видений, облегчаются, ибо, как говорил Ницше, — дело не в том, что человек не может вынести великих страданий, — а в том, что невыносимы бессмысленные страдания.

Вот эти ростки надежды, появляющиеся там, где их менее всего ожидали — в настоящее время являются единственным ответом на вопросы, поставленные в начале статьи.

Апрель, 1971.

Белград, Югославия.

СУДЬБЫ РОССИИ

Прот. Александр ШМЕМАН



ЗРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ*)

1.

Писать о книге это — для меня — свидетельствовать об услышанном. Пусть специалисты спорят о том, что хотел сказать Солженицын в своем «Августе Четырнадцатого», а историки подтвердят или опровергнут его истолкование, его оценку военной катастрофы, с которой началась для России первая мировая война. Что касается меня, я знаю только, что вот прошло уже несколько дней как закрыл я эту удивительную — светом, печалью, радостью, гневом, любовью — пронизанную книгу, а в душе все то же ощущение: ощущение праздника, и трудно возвращаться в будни, к «текущим делам». словно поднял, вознес меня Солженицын на некую солнечную вершину, где такой чистый воздух, откуда видно только главное и важное и невозможным кажется снова начать дышать отравленным воздухом наших низин. А в душе звучит таинственным утешением и обещанием звенящая музыка: «...это был как храмовой праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих веселых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страданье в этой...». И если так переживаешь эту книгу здесь, на свободе, где ничто не угрожает,

*) Первую статью прот. А. Шмемана о Солженицыне см. **Вестник**, № 98, стр. 72-87.

кроме разве злой газетной статейки и пузырей, идущих от нее по застоявшемуся эмигрантскому болоту, то, думаешь, — как же должна прозвучать она там, в тупой и страшной серости советской казенщины?

2.

Почему же праздник? Ведь опять пишет Солженицын о страданиях и смерти, о зле и слабости, ведь все время, пока читаешь, сжимается сердце от жалости к этой обреченности, от ужаса перед этой бессмыслицей, ведь, как уже сказано об этой книге, вся она, действительно, — «плач по России». А между тем, еще раз, не открывая ее, проверяю себя, свое впечатление и настроение, и снова чувствую: — праздник. Но праздник не в простом житейском смысле этого слова, а такой, каким дано нам, да и то редко-редко, «не по закону, а по благодати» — ощутить его в церкви: как прорыв в какую-то глубину, как прикосновение к скрытой сути вещей, как приобщение тому, что за видимым, внешним и преходящим.

И, прежде всего, конечно, самого Солженицына я ощущаю как новый праздник русской литературы, новое торжество России. Что в такое время есть у России такой писатель — это одно уже наполняет ликованием, это одно можно только праздновать. Ведь, вот, всю жизнь читал я западную литературу, а французскую, например, со школьной скамьи привык ощущать как свою. И знаю отлично, что не превзойден присущий ей уровень вкуса, меры, умения, слова, присущая ей внутренняя «иерархичность культуры». Великие писатели, средние, малые. Вечные, временные. Но как отлично все они пишут, как знает каждый свое место и выполняет свою функцию, как все добротное, умело, закончено. И конечно, это и есть культура и это нужно любить, ценить, действительно — «культивировать». Ибо, по сравнению с этой организацией и иерархичностью культуры, как много еще у нас пробелов, хаоса, первобытного беспорядка. Несколько бесспорно великих, несколько средних, а далее все какие-то шеллеры-михайловы и боборыкины, но обязательно с притязанием на глубину, пророчество и учительство. Но почему же, читая западных, даже «великих», все-таки почти всегда можешь прервать чтение — для ужина, прогулки или отдыха, всегда помнишь, что это именно «культура» — насыщенная, питательная, обогащающая и насладительная часть жизни, а все-таки не сама жизнь. А вот, читая Достоевского, Толстого и теперь — Солженицына, и ужин

и прогулки и отдых воспринимаешь как тягостное и ненужное насилие, ибо, действительно — «нельзя оторваться», ибо все, о чем написано, совершается действительно со мною, во мне, все это моя жизнь, все это мне и для меня, и узнав все это, приобщившись этому, уже нельзя ни жить, ни чувствовать как прежде. И в чем же тайная сила этих русских писателей, захватывающих целиком, без остатка, как бы снимающих саму грань между «культурой» и «жизнью», перемалывающих душу да так, что пустым и ненужным начинает казаться умное и ученое западное «литературоведение» да и наша собственная, петушком поспевающая за ним, хилая критика?

А именно таков Солженицын. До «Августа Четырнадцатого», может быть, и могло еще казаться, что успех и резонанс его от острой актуальности его тем, от трагической единственности его места и роли в «современности». Но теперь взял он темой давно всеми забытый эпизод, с таким избытком захлестнутый, казалось бы, волной последовавших беспримерных трагедий и катастроф. И написал роман трудный, без малейшей поблажки для «почитывающего» читателя, произведение почти технического. Но вот, стал для нас тот далекий солнечный август, те столетние сосны, песок и озера Восточной Пруссии, движения корпусов и споры генералов, стало все это для нас не только нашей судьбой, нашей трагедией, но и надвременным, вечным свидетельством о человеке, мире и жизни. А это и есть дело великого писателя.

Я не буду возвращаться здесь к тому, что уже раньше, хотя и мимоходом, сказал о для меня несомненных, «литературных достоинствах» Солженицына. Об удивительной гибкости и правдивости его языка. О даре воплощения и претворения. О внутренней свободе его от современных литературных фетишей, от характерного для нашего времени писательского «оборота на себя». Все это стало, мне кажется, в «Августе Четырнадцатого» еще очевиднее, как сильнее и глубже стал писательский «охват» Солженицына, его творческая щедрость и изобилие. Замечу только, что и вкрапленные в ткань романа и иным не понравившиеся кинематографические «экраны» я не считаю ненужными, надуманными. Мне кажется, что Солженицын — писатель, прежде всего, **зрительный**. Все, что он пишет, есть как бы словесный «комментарий», почти реакция, на то, что он сначала **видит**. И когда до предела сгущается это виденье, когда можно и нужно уже **только видеть** — законными, творчески — оправданными воспринимаются и эти «экраны. Ибо когда закрываешь эту книгу, оно остается,

прежде всего, именно видением, целостным и неразложимым, превратившим все детали, все действия и само время в один неповторимый, тем августовским солнцем навеки освещенный, живой образ.

3.

Я назвал Толстого и Достоевского. Но не для ненужного и бессмысленного сравнения, не как дань избитому обычаю все мало-мальски значительное в нашей литературе возводить к этим двум великанам, а потому, что своей писательской, человеческой и, в данном случае уместно сказать — русской совестью, обращен Солженицын к ним так, как ни к кому другому в России.

Имя Толстого не случайно, конечно, проходит через весь роман, да и почти начинается он с явления яснополянского пророка. Имя Достоевского не названо, правда, ни разу, однако не менее явственно присутствие и действие в романе и тех умонастроений и той «тональности», что, правильно или неправильно, но оказалось связанным в русском сознании с пророком Пушкинской речи и «Дневника писателя». Причем и то, что от Толстого, и то, что от Достоевского, это то, что у них **общее**, несмотря на все различия между ними. Это некий **миф о России**, по разному, конечно, окрашенный каждым из них, но, на последней глубине, тот же по своей «тональности» и по тому, главное, как услышан и воспринят он был русским сознанием. И именно против этого мифа восстает в своем романе Солженицын, его вскрывает как ложный и губительный, как то, в чем, при всей своей великой и непреходящей правде в другом и главном, оба наши великана **ошиблись**. И потому, даже если не с них началась эта ошибка, а исподволь нарастала в русском сознании, именно к ним и именно потому, что они так подлинно велики, так нераздельно слиты с Россией, так сами **суть** Россия, не может не быть обращена русская совесть после пятидесяти лет владычества над Россией всевозможных «бесов».

Ибо в «Августе Четырнадцатого» речь идет о России, о начале ее гибели, об «узле», в котором уже завязываются нити ужасного ее будущего, начинает нарастать распад и конец. Какие же **силы** действуют в этом романе? Не случайно, повторяю, начинается он со студента-толстовца, добровольцем идущего на войну. И так же едет «чистый гегельянец» Костя и мечтающий слиться с народом Ярослав Харитонов и даже болтливые, всевозможной «интеллигентщиной» начиненные, курсистки юбечут об «очи-

щающем подвиге» войны. Нет, не расслаблена и не разложена еще Россия ни толстовским «непротивлением», ни революционными «бесами», не «сменился еще состав нации» и много еще «тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, не себялюбивых выражений». Жива, сильна Россия. Толстой — Толстым, революция — революцией, а вот — «Россию жалко» — и нужно идти и идут. Кого же и что встречают они, все эти идущие, на войне, в этот судьбоносный момент напряжения всех сил? Встречают как раз тот самый «миф», о котором мы только что говорили и в оценке которого не обойти, увы, двух священных для нас имен. С одной стороны, встречают они тоже «толстовцев», только генералов от кавалерии и инфантерии, пропитанных толстовски-кутузовской верой в «дух» — таинственный и неизъяснимый — русского воинства, дух, заменяющий и стратегию и заботу об аммуниции и просто заботу о солдате, верящих в идеал капитана Тушина и Платона Каратаева. Встречают толстовское презрение к Вейротерам и вообще немцам, а заодно и к инициативе и к действию, как чему-то не русскому, не тому, чем исконно и подспудно живет будто бы Россия и что делает ее заведомо непобедимой. А с другой стороны, встречают их там, где — как мистическое предзнаменование! — оказалась церковь Николая Кочана, Христа ради юродивого, Двор, столь же твердо верующий что не может быть Бог ни с кем, как с нами, русскими, а Божья Матерь не способствовать взятию Львова. А под всем этим религиозно-патриотическим елеем — «милейшие» и «добрейшие» царедворцы и генералы, не то в угоду «верхам», не то по убеждению, спрашивающие солдат не о том, ели ли они и отдыхали ли, а о храмовых праздниках их деревень... А в результате — страшное и бессмысленное поражение, трагически-очевидная неслучайность и предопределенность его и потому — значение его как начала уже неминуемо надвигающегося конца. Ведь вот, в сущности, основная тема «Августа Четырнадцатого», тема до нельзя простая и горькая.

Но в том-то и смысл этой книги, почти целиком посвященной одному военному поражению — в котором, кажется, ни один историк не усмотрел еще ничего, кроме именно «военного поражения», что вскрывает она его как поражение духовное, возводит его к его духовным корням и прозревает в нем духовные его последствия. А корни его не там или, во всяком случае, не только там, где привыкли видеть их мы, с нашим — и на Толстом и на Достоевском — возвращенном «мифе» о России. Нет, конечно, не против Толстого Солженицын — кто же против добра, любви

и справедливости? И, конечно, вслед за Достоевским отвергает он «бесов» революции, дешевого отрицания корней, преданий, традиций — всего, что составляет душу и плоть отечества. Но вот даже своего маленького взвода не может «разложить» подпоручик-революционер Саша Ленартович. Он может только бессильно и пассивно следовать — даже в атаку! — за своими солдатами, а потом — за кучкой героев, выносящих из немецкого окружения тело своего убитого полковника. Его час, если и придет, то придет позже. Тем роковым августом этот час готовит, этот взвод разлагает, это поражение — тем более страшное, что «военно» не оправданное — вызывает, не Саша Ленартович и, в нем воплощенные, «темные силы», и не Дума — требовавшая, оказывается, но бесплодно, ассигновок на усиление русской артиллерии, не «интеллигентщина» и даже не плохие генералы. Его на глубине готовит ложная «мифология», завладевшая волей и разумом России и парализующая их, тем более опасная, что рядится она в ризы света, начинена псевдо-мессианской псевдо-мистикой, той, говоря языком христианской аскетики, духовной «прелестью», которой всегда больше всего боится всякая подлинная духовность.

Да, это очень страшно. Было бы неизмеримо легче и проще, если бы вину за все трагедии мы могли всегда возлагать на кого-то другого, на что-то «чужое». И уж нет ничего страшнее, чем видеть мерзость запустения, стоящую на «месте святе». И потому не удивительно, если к гонению на Солженицына, понятному, самоочевидному — со стороны советчины, прибавится теперь гонение и со стороны тех, кто все еще пребывает в «прелести» и правде предпочитает «мифы» и там и здесь, за рубежом. Вот уже пущена в оборот зловещая идея о том, что Солженицын — некое коллективное создание КГБ. Подождем продолжения. Ибо как часто не любим мы правды, а любим самоупоение и самоопьянение всевозможными мифами. И уже почти безразличной становится теперь внешняя окраска этих мифов, ибо та же у них тональность, та же плененность изнутри — ложью, та же подспудная ненависть к правде.

А вот Солженицын **любит правду**. Любит как самое драгоценное и незаменяемое что есть на земле. И именно она, эта почти чудесная по своей трезвости любовь к правде привела его к теме «Августа Четырнадцатого», к событиям, ответственность за которые не возложить на одни привычные, хорошо пристрелявшиеся, «темные силы». И суждено ему, по-видимому, занять трагическое по своему одиночеству место в современной русской ли-

тературе: место **экзорциста** русского сознания, освободителя его от всех идолов, пленявших и пленивших его, от свойственного нам, увы, идолопоклонства, называется ли он «там» — страшным прессом кошмарного режима или же «здесь» — мистически жутким самодовольством и слепотой блюстителей «чистых риз».

С каждым своим новым произведением все глубже и шире, все беспощаднее охватывает Солженицын эту неразделимую правду и в «Августе Четырнадцатого» подходит к самому первому и глубокому ее «узлу». Вот почему эта техническая книга о генералах, окружениях и прорывах есть снова и по новому глубоко христианская книга. Ибо нет в христианской вере более важного и нужного призыва, чем призыв различать духов — от Бога ли они, нет более губительной опасности, чем подмена, подделка и ложь.

4.

Вот снова подошел я к тому, что для меня — главное в Солженицыне, к самой сути того праздника, что так нечаянно, так ослепительно дан нам и раскрывается в его произведениях. Эту суть, этот тайный двигатель солженицынского творчества я назову **зрячая любовь**. Я убежден, что ею, на последней глубине, определен **строй души** самого Солженицына, а потому и духовный строй его творчества, та, одновременно и детская, но и бесконечно-мудрая, его правдивость, которая, больше чем что-либо иное в этом мире, обрекает на непонимание и гонение.

Зрячая любовь. Не просто любовь, которая может быть, и так часто бывает, и слепой и страстной и непросветленной, которая как раз и создает идолов и которая во всех этих случаях уже не христианская любовь, не та, что заповедана нам в единственной **новой заповеди Христа**. Но и не просто зрение, которое отлично может совмещаться и с неправдой и с ненавистью и с подозрительностью, про которое можно сказать: «глазами своими будете смотреть и не увидите». Нет, именно зрячая любовь, таинственное сочетание любви и зрения, в котором любовь, очищенная «зрением» от всякой иллюзии, пристрастия, слепоты, становится подлинной любовью, в котором зрение, углубленное и омытое любовью, становится полным зрением, способным вместить всю правду, а не разорванные ее обрывки, идолопоклонниками всех «лагерей» выдаваемые за целое. Именно такая зрячая любовь и лежит в основе солженицынского творчества, являет нам его как некое чудо совести, правды и свободы.

Солженицын, прежде всего, поразительно свободен. Но свобода его от зрячей любви, и потому свободен он той высокой, нравственной свободой, которой, увы, «разучились» столь многие русские люди всех идеологий, всех «лагерей». Я говорил о гонениях на Солженицына. Но с неменьшим страхом жду я и того его «признания», в котором он будет восторженно «признан» выразителем как раз **нашей** идеологии, в которой нам, как дважды два четыре, докажут, что потому он и хорош и велик, что говорит как раз то, что всегда утверждали мы. Докажут, что он монархист или же анти-монархист, консерватор или же прогрессист, «истинно-православный» или же «модернист»: в котором, иными словами, препарируют и преподнесут нам «идеологию» и «учение» Солженицына, начиненные жеванными и пережеванными и оскомину набившими «идеями» и ими, как серыми тучами, закроют праздничное утреннее солнце, обещавшее, наконец, после тяжелой и душевной ночи, свободу, свежесть, радость.

Тогда как от всякой «идеологии» и свободен как раз Солженицын и нас может освободить. Тогда как пишет он не еще один трактат о лекарстве, а сам есть то лекарство, по которому истоквался наш организм. Тогда как в том и праздничная сила его творчества, что берет он слова: Россия, вера, народ — слова, давно уже переставшие быть словами, а превратившиеся в «лозунги» и «проблемы», наполнившиеся идеологической узости и ненависти, пропитавшиеся злобой, ставшие только разделять и мучить, берет и, омыв своей зрячей любовью, возвращает нам, ничего как будто и не объяснив — новыми, целыми, правдивыми и жизнеспособными.

5.

«Россию... жалко» — говорит толстовец Саша. И вот, нужно идти воевать за нее, нужно чтобы «не переломили ей хребет» немцы. Почему нужно? Потому ли, что у нее какая-то особенная «стать», особенная «суть», в которые, как учили нас, «можно только верить»? Потому что обязательно и самоочевидно **за** нее, а не **за** немцев, Бог и Божья Матерь? Потому что она все то, что возмечталось о ней в горделивом русском мечтании и что уже выдохшейся дешевой мистикой и разменной монетой пестрит в газетных вырезках наряду с коньяком Шустова и «идеальным бюстом», доступным «всякой даме»? Да нет, совсем нет — как бы спокойно, правдиво и смиренно отвечает Солженицын. А потому

просто, что Россия **есть** и что она, а не другая страна, наше отечество, подаренное нам как солнце, как воздух, потому что она — наш дом и наше тело и нет человека без дома и тела. Конечно, лучше бы для России мир и союз с Германией, чем эта ненужная война, лучше бы поучиться у этих самых немцев — порядку, организации, производству. Но вот, дошло до войны и, значит, нужно воевать. И это **нужно**, это **жалко Россию** убедительнее, самоочевидней и правдивее всей мессианской риторики, как самоочевиднее и риторики обратной — революционной. И потому что самоочевидно, ничего не отвечает Саша — «ему нечего было ответить». Но словно подарена нам снова Россия — живая, сложная, сильная, слабая, греховная, праведная, умная, глупая... Россия, которая **есть**. В которую не нужно «верить» — ибо верить нужно только в Бога! — но для которой нужно жить и за которую, если нужно — нужно и умереть.

А если воевать, то делать это следует как можно лучше. Как освежитель в наш век лицемерного «пацифизма» и «отрицания войны» и столь же лицемерно-елейного ее «оправдания» всевозможными идеологиями, простой и частный интерес к ней Солженицына. Не отрицает он войны, но и не оправдывает, ибо и то и другое бессмысленно. Война **есть**. И его интерес к ней, это не интерес специалиста и не любительство «любителя», это глубокое внимание человека, знающего войну как тяжелое и страшное дело, которое требует от человека напряжения всех его сил — ума, воли, но и совести и, в последнем итоге — всей человечности. Ибо здесь проверка всему в человеке. Здесь берет в нем верх либо самое лучшее, либо самое худшее, здесь мера отношения его к жизни, мера способности на жертву и бескорыстие. И отсюда именно — детальность, почти техничность описания войны у Солженицына и отрицание им всякой ее «романтики» — положительной или отрицательной. Ибо не чудесами и не предзнаменованиями ведется и решается она, а, вот, тем — удастся ли ликвидировать пустоту на левом фланге, двинется или не двинется корпус Благовещенского и кавалерия Ренненкампа, выполнит ли — умело, умно и по совести — каждый генерал, офицер и солдат то, чего требуют от него обстоятельства? С этой точки зрения «Август Четырнадцатого» это тоже ответ Толстому, ответ «Войне и Миру», опровержение толстовско-кутузовской «мифологии», как и всякой другой «мифологии». Если плохи генералы и офицеры, а их много — плохих, нерешительных, неспособных — то все разлагается и бежит. Хорош генерал, знает свое дело

офицер — и все держится и совершаются, действительно, чудеса храбрости и **можно** и побеждать и победить.

Все это, как в фокусе, сходится в трагическом образе генерала Самсонова, «семипудового агнца», обреченного на гибель и извне и изнутри. Извне — тяжестью всех «мифологий», парализующих армию сверху до низу. Изнутри — невозможностью для него преодолеть их, освободиться от них иначе, как обрывом всех «коммуникаций», отречением от власти и, в пределе, смертью. Гибель Самсонова — чистого, честного, знающего, умного и храброго генерала, ясно сознающего от чего он гибнет и сознающего также, что «ничего не мог иначе», это вершина зрячей любви Солженицына, это ключевой символ «Августа Четырнадцатого». Ибо если так легко, так безболезненно принимают эту гибель «милейшие» и «добрейшие» люди, заседающие в ставке, если все снимается, заглаживается и разрешается елейными ссылками на «подчинение воле Божией» — то, действительно, начинает завязываться узел обреченности над Россией. Ибо «молитвой квашни не замесишь» говорит Солженицын и в конце бросает страшное: «не нами неправда стала, не нами и кончится...» И говорит это писатель-христианин, не допускающий, чтобы слово Бог печаталось с маленькой буквы, от Бога выводящий и к Богу возводящий судьбы и всего мироздания и каждого человека. И тут мы подходим к последней правде Солженицына, которую как это ни трудно, но нужно услышать, иначе незачем и читать «Август Четырнадцатого».

6.

Ибо, конечно, у Солженицына над всем и над всеми — Бог. Но читая его, вспоминаешь и с новым трепетом понимаешь почему даже произносить имя Божие запрещено было древнему Израилю. Нет, Солженицынский Бог не тот, чье имя можно склонять во всех падежах в приказах и донесениях и которое, как это ни страшно, тоже духовно написано с маленькой буквы. Не Бог, ссылками на Которого снимается человеческая ответственность, замазывается правда и оправдывается бессмыслица, не Бог, позволяющий всегда кого-то свяшенно ненавидеть, а себя любить и превозносить. Не Бог, Которого всегда можно использовать, Которым всегда можно все объяснить, построив гладкую, с виду смиренную, а по сути бесконечной гордыни исполненную «историософию». Бог Солженицына — Бог живой и истинный, «неизреченный, неведомый,

невидимый, непостижимый». Бог бесконечно далекий, Всевышний и бесконечно близкий и живой, единственной и бесценной душе человеческой. Бог, Который **есть**. И потому что Он есть, стоит перед Ним человек, живой и неповторимый, свободный и ответственный. Не пешка в руках таинственных и стихийных сил, «темных» или «светлых», не раб безличных кумиров и идолов, а ответчик Богу за данную ему жизнь, за себя и за братьев своих и за врученные ему таланты. Только нашел бы он **строй души**, только был бы верен — не на словах, а на деле, только пребыл бы он смиренен, мудр, правдив, свободен и совестлив. И тогда в нем и через него отражаются лучи Божественной славы и любви, тогда, в нем и через него, даже в аду страдания, бессмыслицы и смерти, царит лад и светит свет и спасается человек.

За что умирает полковник Карабанов? Почему гибнет Дорогобужский полк? В ответ на эти вопросы нет у Солженицына ни одной «громкой» фразы — даже о России или о «славе русского оружия». Так спокойно, почти по деловому, замечает он, что «всегда, во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа». И затем: «отрезано: такие же как мы, другие — уходят, уйдут, вернутся домой, а мы не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтобы они жили после нас...») И вот, без громких фраз, над бессмыслицей и безнадежностью воцаряется тот один смысл, который вечен и не зависит ни от чего в этом мире, та одна правда, что торжествует и над иррациональной историей и над муравейником человеческим и над самой смертью. Та, о которой, как о мере всего и о сущности всего и о победе над всем, сказано в Евангелии «**за други своя...**» И когда несут несколько всеми брошенных солдат тело своего начальника и совершается, в солнечное и мирное утро, на светлой полянке, под высоким и праздничным небом, это удивительное отпевание — «напевом проверенным голосом слитным» — мы и не спрашиваем больше: за что, почему. Ибо дано нам участие в таинственном празднике, который всегда «не от мира сего», но светом, правдой, красотой и радостью которого только и можно жить в мире этом.

Так, на последней глубине, и религию «освобождает» и очищает Солженицын от облепившего ее маленького человеческого идолопоклонства, от подчинения его себе и своему, от всего в сущности псевдо-религиозного и псевдо-христианского в ней. И, может быть, это важнее всего сейчас, ибо ничто не затемнило так лик Божий в мире и не мешает так людям видеть Его, как все

эти «человеческие, слишком человеческие» — политические, социальные, расовые, националистические **редукции** религии. Но очищая, снова и по настоящему ставит ее Солженицын в центре всего. Нет, не о религии, не о религиозных «проблемах» и «исканиях» его книга. Но вот, закрываешь ее и само собой приходит: «О Боге великом он пел...» Ибо от Бога — эта совесть, эта правдивость, это мужество, эта свобода от всех идолов, от всякой лжи. От Бога это виденье мира, человека и жизни. От Бога, наконец, эта зрячая любовь к поистине многострадальной России. И потому что от Бога, потому и свидетельство о Нем.

Какая это прекрасная, освобождающая, очищающая книга, какой это праздник! Каким полным, заслуженным счастьем должен быть счастлив написавший ее Александр Солженицын.



Надежда МАНДЕЛЬШТАМ

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ *)

— Пора подумать — не раз говорила я Мандельштаму, — кому это все достанется... Шурику? Он отвечал: «Люди сохранят... Кто сохранит — тому и достанется». «А если не сохранят?». «Если не сохранят, значит, это никому не нужно и ничего не стоит...» Еще была жива любимая племянница О. М. Татка, но в этих разговорах О. М. никогда даже не упомянул её имени. Для него стихи и архив не были ценностью, которую можно завещать, а скорее весточкой, брошенной в бутылке в океан; кто поднимет ее на берегу, тому они и принадлежат, как сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар. О. М. обрекал свои стихи и прозу на «дикое» хранение, но если бы полагаться только на этот способ, стихи бы дошли в невероятно искаженном виде. Но я случайно спаслась — мы ведь всегда думали, что погибнем вместе, — и овладела чисто советским искусством хранения опасных рукописей. Это не простое дело — в те дни люди, одержимые безумным страхом, чистили ящики своих письменных столов, уничтожая все подряд: семейные архивы, фотографии друзей и знакомых, письма, записные книжки, дневники, любые документы, попавшие под руку,

*) Завещание Н. Я. Мандельштам, дополняющее её **Воспоминания**, широко распространено в Самиздате.

даже советские газеты и вырезки из них. В этих поступках безумие сочеталось со здравым смыслом. С одной стороны бюрократическая машина уничтожения не нуждалась ни в каких фактах и аресты производились по таинственному канцелярскому произволу. Для осуждения хватало признания в преступлениях, которые с легкостью добывались в ночных кабинетах следователей путем конвейерных или упрощенных допросов. Для создания «группового» дела следователь мог связать в один узел совершенно посторонних людей, но все же мы предпочитали не давать следователям списков своих знакомых, их писем и записок, чтобы они не вздумали поработать на реальном материале... И сейчас, по старой памяти, а может в предчувствии будущих невзгод, друзья Ахматовой испугались, услышав, что в архивы проданы письма её читателей и тетради, куда она в период передышки начала записывать, кто, когда и в котором часу, должен её навестить. Я, например, до сих пор не могу завести себе книжку с телефонами своих знакомых, потому что привыкла остерегаться таких «документов»... В нашу эпоху хранение рукописей приобрело особое значение — это был акт, психологически близкий к самопожертвованию — все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто-то бережно хранит вопреки всему этому горсточку человеческого тепла. О. М. был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право наследования дает этот единственный возможный у нас знак уважения к поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и ещё будет жить... Мне удалось сохранить кое-что из архива и почти все стихи, потому что мне помогали разные люди и мой брат Евгений Яковлевич Хазин. Кое-кто из первых хранителей погиб в лагерях, а с ними и то, что я им дала, другие не вернулись с войны, но те, кто уцелел, вернули мне мои бумаги, кроме Финкельштейн-Рудаковой, которая сейчас ими торгует. Среди хранителей была незаконная и непризнанная дочь Горького, поразительно на него похожая женщина с упрямым и умным лицом. Многие годы у неё лежала «Четвертая проза» и стихи. Эта женщина не принадлежала к читателям и любителям стихов, но кажется, ей было приятно хранить старинные традиции русской интеллигенции и ту литературу, которую не признавал её отец. А я знала наизусть и прозу и стихи О. М. — могло ведь случиться, что бумаги пропадут, а я уцелею — и непрерывно переписывала (от руки, конечно) его вещи. «Разговор о Данте» был переписан в десятках экземпляров, а дошло из них до наших дней только три.

Сейчас я стою перед новой задачей. Старое поколение хранителей умирает, и мои дни подходят к концу, а время попрежнему удаляет цель: даже крошечный сборник в «Библиотеке поэта» и тот не может выйти уже одиннадцать лет (эти строки я пишу в конце декабря 1966 года). Все подлинники попрежнему лежат на хранении в чужих руках. Мандельштам верил в государственные архивы, но я — нет. Ведь уже в начале двадцатых годов разразилось «Дело Ольденбурга», который принял на хранение в архив Академии Наук неугодные начальству документы, имевшие, по его словам, историческую ценность; притом мы ведь не гарантированы от нового тура «культурной революции», когда снова начнут чистить архивы. И сейчас уже ясно, что я не доживу до издания этих книг и что эти книги не потеряли ценности, отлеживаясь в ящиках чужих столов. Вот почему я обращаюсь к Будущему, которое подведет итоги, и прошу Будущее, даже если оно за горами, исполнить мою волю. Я имею право на волеизъявление, потому что вся моя жизнь ушла на хранение горсточки стихов и прозы погибшего поэта. Это не вульгарное право вдовы и наследницы, а право товарища черных дней. Юридическая сторона дела такова: после реабилитации по второму делу меня механически, как и других вдов реабилитированных писателей, ввели в право наследства на 15 лет (до 1972, как у нас полагается по закону). Вся юридическая процедура происходила не в Союзе писателей, а просто у нотариуса, и потому мне не чинили никаких препятствий и всё произошло, как у людей. Юридический акт о введении в права наследства лежит в ящике стола, потому что я получила оседлость, а до этого я около десяти лет держала его в чемодане. Теоретически я могла бы запретить печатать Мандельштама — положительный акт: разрешить — не в моей власти. Но во-первых, со мною никто не станет считаться, во-вторых, его все равно не печатают и лишь изредка какие-то озорные журнальчики или газеты возьмут и тиснут случайную публикацию из своих «бродячих списков» — ведь, как говорила Анна Андреевна, мы живем в «догугенберговской эпохе» и «бродячие списки» нужных книг распространяются активнее, чем печатные издания. Эти журнальчики, если будет их милость, присылают мне за свои публикации свой дружеский ломаный грош, и я этому радуюсь, потому что в нем веяние новой жизни... Вот и все мои наследственные права, и как я уже сказала, со мной никто не считается. И в своем последнем волеизъявлении я веду себя так, будто у меня в столе не нотариальная

филькина грамота, а полноценный документ, признавший и утвердивший мои непререкаемые права на это горестное наследство.

А если кто задумает оспаривать мое моральное и юридическое право распоряжаться этим наследством, я напомним вот о чем: когда наша монументальная эпоха выписывала ордер на мой арест, отнимала у меня последний кусок хлеба, гнала с работы, издевалась, сделала из меня бродягу, выселила из Москвы не только в 1938, но и 1958 году, ни один человек не позволил усомниться в полноте моих вдовьих прав и в целесообразности такого со мной обращения. Я уцелела и сохранила остатки архива наперекор и вопреки советской литературе, государству и обществу, по вульгарному недосмотру с их стороны. Есть замечательный закон: убийца всегда недооценивает силы своей жертвы, для него растоптанный и убиваемый это «горсточка лагерной пыли», дрожащая тень Бабьего Яра... Кто поверит, что они могут воскреснуть и заговорить?.. Убивая, всякий убийца смеется над своей жертвой и повторяет: «Разве это человек?... Разве это называется поэтом». Тот, кто поклоняется силе, представляет себе настоящего человека и настоящего поэта в виде потенциального убийцы: «Этот нам всем покажет...» Такая недооценка своих замученных, исстрадавшихся жертв неизбежна, и именно благодаря ей обо мне и о моей горсточке бумаг позабыли. И это спасение наперекор и вопреки всему дает мне право распоряжаться моим юридически оформленным литературным наследством.

Но — юридическое право иссякает в 1972 году — через пятнадцать лет после «введения в права наследства», которыми государство ограничило срок его действия. С таким же успехом оно могло назвать любую другую цифру или вообще отменить это право. Столь же произвольна выплата наследникам не полного гонорара, а пятидесяти процентов. Почему пятьдесят, а не семьдесят или не двадцать? Впрочем, я признаю, что государство вправе как угодно обращаться с теми, кого оно создало, вызвало из небытия, кому оно покровительствовало, кого оно ласкало, тешило славой и богатством. Словом — купило на корню со всеми побегами и листьями. Наследственное пятнадцатилетие в отношении нашей литературы лишь дополнительная милость государства да ещё уступка европейской традиции.

Но я оспариваю это ограничение пятнадцатью годами в отношении к Мандельштаму.

Что сделало для него государство, чтобы отнимать сначала пятьдесят, а потом все сто процентов его литературного наследства с помощью своих писательских организаций, официальных комиссий по наследству и чиновников, именующихся главными, внешними и внутренними редакторами? Они ли — бритые или усатые, гладкие любители посмертных изданий — будут перебирать горсточку спасенных мною листков и решать, что стоит, а чего не стоит печатать, в каких вещах поэт «на высоте», а что не мешало бы дать ему на переработку? Может, они и тогда еще будут искать «прогрессивности» со своих, продиктованных текущим моментом и государственной подсказкой, позиций? А потом делить между собой, издательством и государством, доходы — пусть ничтожные, пусть в два гроша — с этого злосчастного издания? Какой процент отчислят они тогда государству, а какой его передовому отряду — писательским организациям? За что? По какому праву?

Я оспариваю это право и прошу Будущее выполнить мою последнюю и единственную просьбу. Чтобы лучше мотивировать эту просьбу, которая, надеюсь, будет удовлетворена государством Будущего, какие бы у него ни были законы, я перечислю в двух словах, что Мандельштам получил от государства, Прошлого и Настоящего, и чем ему обязан. Неполный запрет двадцатых и начала тридцатых годов: «не актуально», «нам чуждо», «наш читатель в этом не нуждается», украинское, развеселившее нас «нэ треба», поиски нищенского заработка — черная литературная работа, поиски «покровителей», чтобы протолкнуть хоть что-нибудь в печать... В прессе: «бросил стихи», «перешел на переводы», «перепевает сам себя», «лакейская проза» и тому подобное... После 1934 года — полный запрет, даже имя не упоминается в печати вплоть до 1956 года, когда оно возникает с титулом «декадент». Прошло почти тринадцать лет после смерти О. М., а книга его все еще «готовится к печати». А биографически — ссылка на вольное поселение в 1934 году — Чердынь и Воронеж, а в 1938 году — арест, лагерь и безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге. Уничтожение рукописей, отобранных при обысках, разбитые негативы его фотографий, испорченные валики с записями голоса...

Это искаженное и запрещенное имя, эти ненапечатанные стихи, этот уничтоженный в печах Лубянки писательский архив — это и есть мое литературное наследство, которое по закону должно в 1972 году отойти к государству. Как оно смеет претендовать на это наследство? Я прошу Будущее охранить меня от этих законов и от этого наследника. Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной точке. Неужели государству не совестно отбирать эту кучку каторжных стихов у тех, кто по ночам, таясь, чтобы не разделить ту же участь, оплакивал покойника и хранил память об его имени? На что ему этот декадент?

Пусть государство наследует тем, кто запродал свою душу: даром, ведь, оно ни дач, ни почестей никому не давало. Те пускай и несут ему свое наследство хоть на золотом блюде. А стихи, за которые заплачено жизнью, должны остаться частной, а не государственной собственностью. И я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами и прошу его вступить за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно не ссылалось. Это невесомое имущество нужно охранить от посягательства государства, если по закону или вопреки закону оно его потребует. Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве.

Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами. И потому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц.

Ведь чего доброго, оно может отдать доходы с этого наследства своим писательским организациям. Можно ли такое пережить: у нас так уважают литературу, что посылают носителя стихотворческой силы в санаторий, куда за ним приезжает грузовик с исполнителями государственной воли, чтобы в целости и сохранности доставить его в знаменитый дом на Лубянке, а оттуда — в теплушке, до отказа набитой обреченными, протаскать через всю страну на самую окраину к океану, и без гроба бросить в яму; затем через пятнадцать лет не после смерти, а после реа-

билитации завладеть его литературным наследством и обратить доходы с него на пользу писательских организаций, чтобы они могли отправить ещё какого-нибудь писателя в санаторий или в дом творчества... Мыслимо ли такое? Надо оттеснить государство от этого наследства.

Я прошу Будущее, навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцати стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.

Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов... Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застрашиванию, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы все, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях, самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство нам, и что поэзия обращена к людям, к их живым душам, и никакого отношения к государству не имеет, кроме тех случаев, когда поэт, защищая свой народ или свое искусство, сам обращается к государству, как иногда случается во время вражеских нашествий, с призывом или упреком. Свобода мысли, свобода искусства, свобода слова — это священные понятия, непререкаемые, как понятия добра и зла, как свобода веры и исповедания. Если поэт живет, как все, думает, страдает, веселится, разговаривает с людьми и чувствует, что его судьба неотделима от судьбы всех людей — кто посмеет требовать, чтобы его стихи приносили «пользу государству»? Почему государство смеет объявлять себя наследником свободного человека? Какая ему в этом польза, кстати говоря? Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живет в сердцах людей, а государство делает все, чтобы её стереть...

Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставляю наследство Мандельштама, сделать все, чтобы сохранить память о погибшем — ему и себе на радость. А если мое наследство принесет какие-нибудь деньги, тогда комиссия сама решает, что с ними делать — пустить ли их по ветру, отдать ли их людям или истратить на собственное удовольствие. Только не

создавать на них никаких литературных фондов или касс, стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали ее дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казенной литературе. И еще я прошу не забывать, что убитый всегда сильнее убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе.

Такова моя воля и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит её хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.

Георгий АДАМОВИЧ



НА ПОЛЯХ ВЗДОРНОЙ КНИЖКИ

Маленькая книжка под названием «Идея Бога». Автор — некто Е. Дулуман. На обложке печать Академии Наук СССР.

Перелистал я ее рассеянно, да пожалуй и не стал бы и перелистывать, если бы не подзаголовок «полемический очерк», возбуждавший любопытство. Какая в самом деле возможна полемика об «идее Бога»? Книжка оказалась пустой и вздорной, как и следовало ожидать. Но книжка заставила и тягостно задуматься: не над «идеей Бога», нет, конечно, нет, а в десятый, в сотый раз над тем, куда же, в какой тупик забрела наша Россия, что творится сейчас в России с русской культурой, что с благословения или по крайней мере с попустительства Академии Наук внедряется в миллионы русских голов, многие из которых по культурному своему возрасту вероятно еще наивно-доверчивы к печатному слову и могут принять ложь и тьму за истину и свет? Возможно это тем более, что Дулуман обманчиво и без всякого основания старается предстать в своем очерке человеком широко осведомленным, даже эрудитом, и для этого приложил к своему очерку длинейший список источников, довольно-таки смехотворный, если в него вчитаться. Когда-то он был человеком верующим. «Одно время, — пишет он, — я даже испытывал наслаждение от усиленных бдений, постов и молитв». Но с этими «иллюзорными радостями, которые можно уподобить радостям опьяненного алкоголем человека», он решительно порвал. Помилуйте, подобная отсталость в эпоху торжества марксизма-ленинизма! Поповщина, обскурантизм, Владимир Ильич окончательно разъяснил... и так далее.

В чем смысл жизни? — спрашивает автор «полемиического очерка» на первой же странице и тут же утверждает, что на этот вопрос «религия дает неверный ответ». Дулуман, видите ли, знает в чем смысл жизни и считает, что только люди одурманенные или одураченные могут иметь на счет этого какие-либо сомнения. Правда, существуют ученые и мыслители, настроенные религиозно. Но объяснить этот прискорбный факт легко: с одной стороны, тут налицо «крах буржуазной науки, бессилие ее методологии», с другой — «желание блюсти классовые буржуазные интересы». Читаешь подобную чушь и останавливаешься в недоумении, чуть ли не в растерянности: всем ли в России ясно, всем ли понятно, что это именно чушь, ничто другое?

Дулуман твердо знает, что Христос — лицо мифическое, никогда не существовавшее. Говорит он об этом вскользь, небрежно, как о факте бесспорном, давно установленном. Полезно было бы ему вспомнить хотя бы только вступительный эпизод в повести Булгакова «Мастер и Маргарита», где таинственный незнакомец, выходец с того света, прислушавшись к болтовне двух московских писателей-безбожников, внушительно шепчет им:

— Имейте в виду, Иисус существовал.

Добавлю, что в данном случае, т. е. в вопросе об историческом существовании Христа, булгаковский дьявол сходится с убеждением большинства современных ученых, независимо от их отношения к христианству как к религии. Вопрос тут ведь вовсе не в вере, не в приверженности к церковным догматам, а только в знании источников и в чутье к их достоверности или, наоборот, к их апокрифичности. Можно бы назвать ряд историков, категорически отрицающих сомнения в подлинном существовании Иисуса. Есть, например, в капитальном труде Шарля Гиньебера «Иисус» несколько исключительно убедительных страниц в опровержение мифологических теорий по вопросу о существовании Христа, — теорий, основанных, по утверждению Гиньебера, на «научном диллетантизме». А ведь был этот большой ученый рационалистом, скептиком, крайне далеким от церкви и от какой-либо религиозности вообще.

Однако Дулуман говорит о христианстве сравнительно мало. Poleмический его задор обращен преимущественно на то, чтобы вскрыть несостоятельность всех без исключения доказательств бытия Божия. Он утверждает, что доказательства эти верующим насущно нужны, что верующие и по сей день бьются над тем,

как бы найти самое хитроумное из них. Не знаю, умышленно ли он плетет небылицы или заблуждается искренне. Едва ли ведь найдется в наше время хоть один мало-мальски образованный человек, который не знал бы, что существуют понятия одинаково недоказуемые и неопровержимые. Да, в течение веков, или точнее до Канта, некоторые великие умы были увлечены попытками неосуществимых логических доказательств. Платон, — которого Дулуман, кстати сказать, мимоходом и с явным пренебрежением обзывает «идеологом рабовладельческих классов», не считая нужным что-либо к этой характеристике добавить, — Платон доказывал бессмертие души и повидимому думал, что доказательство ему удалось. Паскаль, другой великий гений, стремился логически доказать существование Бога. Но это было в далеком прошлом, — и в частности по отношению к Платону, «божественному Платону», хочется сказать, что это было во времена младенчества человеческого разума, в годы первых его взлетов, в годы его увлечения собой, своей впервые осознанной силой и гибкостью, — а теперь эти попытки давно оставлены. Не случайно Карл Ясперс, виднейший мыслитель и верующий человек, в своих публичных лекциях о «Философской вере» высказал убеждение, что после Канта доказывать или опровергать бытие Божье способны только мыслители мало добросовестные. Кант освободил веру от рассудочного контроля, Кант показал, что если веру внушает человеку внутренний опыт, то нет, не было и никогда не будет логического, рассудочного довода, который обнаружил бы в вере ошибку, — так же, конечно, как нет, не было и никогда не будет логического довода, который убедил бы атеиста в том, что он заблуждается.

Дулуман о Канте и о «Критике чистого разума» что-то как будто слышал. Слышал что-то и о «Критике практического разума». Но с той же хлестаковской «легкостью в мыслях необыкновенной», с которой он обличил Платона в «рабовладельческой идеологии», этот смельчак-недоучка упрекает Канта в «непоследовательности». Что же, бумага все терпит, Академия Наук СССР очевидно тоже терпит все, — или по крайней мере принуждена терпеть. Кант непоследователен будто бы потому, что категорически отбросив доказательства существования Бога, он не нашел оснований отбросить и веру в Него. Дулуман не таков, Дулуман таких оплошностей не допускает. Например, на странице 91 своего очерка он меланхолично признает, что «дать прямое доказательство небытия Бога невозможно», а тремя страничками даль-

ше торжествующе заявляет, что «наш научный атеизм имеет убедительнейшие доказательства несуществования Бога». Блестящий образец последовательности в мыслях, вот бы Канту ей поучиться!

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Будь такая книжка явлением случайным, одиночным, не стоило бы о ней и говорить. Но ведь подобных книг выходит в Москве множество и рассчитаны они на «широкого читателя», как указано в редакционном предисловии к «Идее Бога». Распространяется заведомая ложь. Религия высмеивается, как отживший предрассудок и не придается ни малейшего значения тому факту, что многие, многие крупные ученые, мыслители, передовые деятели науки, творцы великих научных открытий в Бога верят, и не потому верят, что действительно озабочены были бы «солидарностью с классовыми интересами буржуазии», как не колеблясь и не краснея от стыда за свою лживость или за свою глупость пишет Дулуман, а потому, что чувствуют присутствие в мире какой-то непостижимой для них тайны. Чувствовал эту тайну великий математик Анри Пуанкаре, утверждавший, что наукой она «лишь отодвигается вдаль», верил в Бога Ньютон, верил Лейбниц, светочи культуры, как в наше время склоняются к вере бесчисленные их преемники и последователи. Да, не к чему подражать советским методам, не к чему отрицать, что среди авторитетных новейших ученых не мало и убежденных атеистов. У всех, например, еще в памяти нашумевшая, умная, безнадежная книга Жака Моно о «Случайности и необходимости», многих повидимому взволновавшая именно своей безнадежностью, своим утверждением, что в беспредельном мироздании человек абсолютно одинок, — книга неожиданно оказавшаяся «бест-селлером», отчасти может быть потому, что при крайней трудности некоторых страниц, при строго-научной ее объективности есть в ее замысле и что-то чуть-чуть хлесткое. Жаку Моно возражают, но малограмотных «полемических очерков» в опровержение его метафизических выводов не пишут. Иначе и быть не может по бесконечному разнообразию человеческих натур, умов и душ. В современной духовной культуре нет единства, не может единства быть, вопреки тому тупому, слепому, безотрадному единообразию, которое популяризируется и насильственно насаждается на нашей родине. Соблюдая установленную табель о рангах, Дулуман заканчивает свой очерк цитатой из Ленина, цитатой настолько удручающе-плоской, что невольно повторяешь: «Есть с чего с ума сойти!»

Да, «есть с чего с ума сойти», — если не изменяет мне память, — воскликнул Герцен в другие, тоже суровые времена, но времена все же менее самодовольные и духовно ограниченные, менее нивелирующие и обездаривающие, не решавшиеся провозгласить, что истина обнаружена и что, значит, думать, искать, сомневаться, недоумевать, спрашивать, тревожиться не о чем, разве что об очередных общественных и государственных требованиях и задачах. Долго ли это будет длиться в России, в нашей России, пушкинской, толстовской, тютчевской, блоковской, розановской, в несчастной, незадачливой и гениальной России, где произнесены были когда-то незабываемые слова об «этих бедных селениях», об «удрученном ношей крестной», о том, что «да, и такой», запутавшейся, сбившейся с пути она русскому человеку по-прежнему «всех краев дороже»? Нельзя этого забыть, нельзя наперекор теперешнему оскудению и мертвечине не верить, не ждать, что настанет просветление и воскресение.

Николай ЗЕРНОВ



БОЛЬШЕВИЗМ И РЕЛИГИЯ

Почему ленинistas продолжают преследование верующих в России?

В последнее время мне удавалось неоднократно задавать этот вопрос лицам, приезжающим из Советской России. Среди них были и верующие и неверующие и партийные и беспартийные. Большинство из них было озадачено моим вопросом и не могли дать на него удовлетворительного ответа. На первый взгляд такое положение может показаться трудно объяснимым. В течение более 50 лет советская диктатура ведет упорную борьбу с религией, тратя на нее огромные средства. Книги, газеты, журналы в многотысячных тиражах объясняют населению вред, приносимый верующими. Целая армия пропагандистов брошена на работу в этой же области. Как же в таком случае возможно, что советский гражданин до сих пор не понимает причин обязывающих партию делать все, что в ее силах, для искоренения веры в Бога.

Как иллюстрацию этого парадокса я приведу следующий пример. Недавно мне пришлось иметь ряд интересных бесед с одним молодым ученым. Он был партиец, веривший в конечную победу ленинизма. Он живо интересовался идеологическими проблемами и охотно спорил на эти темы. Когда я задал ему все тот же вопрос, он сперва хотел уклониться от него, сославшись на

официальную версию, что верующим предоставлена свобода в советской России. Однако он быстро согласился, что в действительности положение совсем иное. Признав факт преследования, он постарался объяснить его себе и оказался в трудном положении. «Мы боремся не с христианством, а с церковью», начал он говорить мне, «церковь имеет слишком много праздников и они вредят трудовой повинности населения». Будучи умным человеком он согласился со мною, что довод этот не достаточен для всех тех жертв и разрушений, которые были принесены в результате борьбы с церковью. Его заключением было, что преследование верующих есть пережиток культа личности, начатого при Сталине, и что надо надеяться, что они прекратятся с укреплением законности в управлении страны. Я цитирую этот пример, так, как мой собеседник был политически образованный человек, но и он не имел для себя ответа на вопрос, затрагивающий миллионы людей, управляемых его партией.

Мне представляется, что разрешение этой загадки следует искать в самом характере антирелигиозной борьбы в России. Она с самого начала и до настоящего времени велась путем сознательного обмана и потому литература, издаваемая партией, вместо того чтобы объяснить причины гонений, только запутывает вопрос и таким образом мешает как верующим, так и их противникам понять то, что делает невозможным их мирное сожительство.

Эта ложь началась со времени самого Ленина. До революции он утверждал, что религия дело частное, что государство и церковь должны быть отделены друг от друга и никакое насилие не должно применяться в вопросах веры. Захватив власть он сразу приступил к ожесточенной борьбе с церковью. Конфисковав все церковное имущество, запретив религиозное преподавание, наводнив страну антирелигиозной литературой он надеялся на быструю победу. Его первые декреты о религии даже разрешали поэтому как антирелигиозную, так и религиозную пропаганду всем гражданам, но и эта уступка была очередной обман, так как вся пресса оказалась в руках партии. Сталин был более правдив и в 1929 году он объявил, что верующие свободны отправлять религиозный культ, но религиозная пропаганда карается законом, как государственное преступление.

В этот первоначальный период борьбы с религией официальное оправдание ее строилось на обвинении верующих в контрреволюционных заговорах. Доказательств этого никто не искал и

тут опять Ленин давал примеры клеветы и обмана (1). Но в действительности не политические, а другие личные причины делали Ленина и его наследника Сталина непримиримыми врагами христианства. Ленин был маньяк, одержимый своим мессианством. Он верил, что он сможет зажечь пожар мировой революции и освободить человечество от ига эксплуатации и подчинения государству. Он считал себя спасителем людей. Для него Иисус Христос был опасный обманщик, учивший о любви к врагам, о прощении и примирении. Ленин был неистовый богоборец, он ненавидел Того, Кого издеваясь он называл «боженькой». Сталин возомнил себя сверхчеловеком, верховным распорядителем судеб всех людей. Каждый, кто верил в иного Судью вселенной был в его глазах бунтарь и возможный враг. При Ленине и Сталине христиане осуждались на смерть за их веру в Бога, но это тщательно замалчивалось советской властью, которая лживо уверяла, что все пострадавшие наказаны за разные другие преступления. Церкви взрывались и уничтожались, духовенство и миряне массами гибли в лагерях, а советская печать продолжала уверять, что все рассказы о гонениях злостная клевета эмигрантов. Митрополит Сергей принужден был заявить иностранным корреспондентам, что церковь не преследуется в России (15 фев. 1930 г.). В своем послании в 1929 году он даже благодарил правительство за его внимание к нуждам православного населения.

Накануне нападения Германии на советскую Россию церковь казалась окончательно разбитой. Молниеносное продвижение немцев к Москве, поражение красной армии на всех фронтах неожиданно изменило положение. Произошло чудо воскресения православия. Церковь, оказалось, не была уничтожена Сталиным, но лишь загнана им в подполье. Сталин пошел на существенные уступки верующим. Был выбран патриарх, открыты богословские школы, многие храмы были возвращены прихожанам. Эта сравнительная терпимость продолжалась недолго; как только Хрущев занял главенствующее положение, он начал новый поход на церковь; его политику продолжает и свергнувший его Брежнев. Вражда против верующих в эпоху романтики революции питалась грандиозными планами радикального переустройства жизни человечества, она находила свой пафос в мегаломан-

(1) Вестник Р.С.Х.Д. (№ 98. 1970) — обнародовал секретное письмо Ленина к Молотову предписывающее ему ложно обвинить духовенство и мирян города Шун в сокрытии церковных ценностей для того, чтобы расстрелять их. (Письмо от 19 марта 1922 г.).

нии Ленина и Сталина. Что же заставляет современных прозаических диктаторов настаивать на преследовании христиан, несмотря на очевидную непопулярность этих гонений даже среди рядовых членов партии?

Официальная пропаганда в настоящее время, как и при Ленине и Сталине, не дает правдивого ответа, она выставляет мнимые причины, которые обычно сводятся к трем основным пунктам.

I. Вера в Бога несовместима с фактами установленными наукой. Материя вечна, мир не имеет создателя. Человек уничтожается со смертью своего тела. (Ленин и здесь представляет некоторое исключение, «над ним время не властно»). Борьба с верующими таким образом оправдывается на основании необходимости поднять умственный и научный уровень населения.

II. Многие обряды и обычаи христиан не гигиеничны и вредны для здоровья. Как, например, причастие из одной чаши или крещение младенцев. Государство стремится заменить церковные праздники более рациональным ритуалом, соответствующим нуждам современного населения.

III. Христианство опасно с моральной точки зрения. Оно ослабляет людей, делает их пассивными, настаивая, что человек должен принимать волю Божью. Оно учит о любви к врагам, а это несовместимо с классовой борьбой и с задачей построения нового и лучшего социального строя. Своим учением о грехе оно лишает людей радости жизни, подрывает их оптимизм, обещая им счастье в будущей несуществующей жизни, оно делает их безразличными к несовершенству того, что сейчас окружает их. Христианин чуждый элемент в советском обществе, он не идет нога в ногу с коллективом.

Только последнее обвинение приоткрывает нам истинные причины преследования верующих, они действительно стоят особняком и имеют другие ценности, недоступные обезбоженному советскому человеку. Чтобы понять, где проходит черта разделяющая верующих и неверующих в советской России, нужно забыть о всех якобы научных причинах их разногласия. Вечность или не вечность материи вопрос, который едва ли сможет разрешить человек, живущий во времени и пространстве. Спор на эту тему представляет лишь академический интерес. Даже и экономика и политика не находятся в прямом отношении к религиозно-му конфликту. Церковь существовала и существует в странах с

самым противоположным государственным устройством. Подлинный водораздел между верующими и безбожниками в современной России определяется их отношением к ценности отдельного человека.

Октябрьский переворот явился одним из рубежей в истории человечества. Жизнь многих народов пошла по иному руслу. В задачу этой статьи не входит подведение итогов этого переворота, совершенного ради освобождения людей от ига государства и приведшего их к тоталитаризму с его поглощением личности в коллективе. Время еще не настало, когда возможно будет решить является ли это лишь временным отклонением от ранее намеченного пути или же в тоталитаризме раскрылась сама сущность ленинизма. Есть другая его сторона, которая требует своего исследования. Коммунизм с новой остротой поднимал труднейший моральный вопрос: имеет ли один человек право убивать другого ради осуществления своих политических или социальных идеалов или, иными словами, священна ли жизнь человека и не является ли поэтому всякое посягательство на нее преступлением и грехом. Ленинизм оказался одной из наиболее радикальных попыток доказать, что насилие и террор способны дать человечеству благоденствие и свободу. 50 лет советской действительности не оправдали пока этих радужных ожиданий. В этом нет ничего неожиданного для христиан. Они всегда знали, что взявший меч от меча и погибнет.

В советской России есть популярная поговорка: «лес рубят — щепки летят». Много жестокого и несправедливого прикрывается этими циничными словами. Для верующего нет щепок, но есть люди, каждый со своей неповторимой судьбой, каждый созданный по образу и подобию Бога. Начав смотреть на людей как на безличный материал для построения нового социального строя советская власть дошла до идеи использования людей для принудительной работы, оканчивающейся их гибелью. Еще страшнее были испытания над живыми людьми действий различных ядов, делавшиеся в секретных лабораториях Кремля при Сталине (1). Эти чудовищные преступления, в которых были одинаково повинны как Сталин так и Гитлер, были логическим завершением учения Ленина, осуществленным Дзержинским. Если ради успеха революции можно было расстреливать случайно арестованных

(1) См. Новый Журнал. № 102. (1971). Статья Н. Турова. Чекисты за Решеткой.

и ничего преступного не совершивших людей, как это делалось по приказу Ленина, то почему же нельзя было обрекать на мучительную смерть другие жертвы, если это казалось целесообразным «мудрому и всеильному отцу народов». (1)

«Великая социалистическая революция» была началом долгой, беспощадной братоубийственной борьбы. В ней боролись отцы с сыновьями, братья с братьями, друзья с друзьями, не было такой жестокости, того предательства, того издевательства над человеческой личностью, которыми не запятнали себя ее участники. Гражданская война, чека Дзержинского с ее институтом заложников, зверское и подлое убийство царской семьи, принудительная коллективизация и искусственный голод, сопровождавший ее (2), ежовщина, сталинское массовое уничтожение населения, включая партийную верхушку, все эти этапы братоубийства вовлекли все население страны. Даже те, кто не убивал, не насилывал, не предавал не мог не быть вовлеченным в нее. Все были принуждены одобрять убийства, требовать казни жертв красного террора, прославлять палачей, называть их спасителями и благодетелями человечества. До сих пор русская земля осквернена памятниками палачей вроде Дзержинского или Свердлова, в их честь переименованы улицы и города, они восхваляются как примеры для подражания. Те кто сейчас распоряжаются судьбой народа получили свою власть от тех, кто залил Россию кровью невинных людей.

Только покаяние может очистить братоубийц, принести им прощение и примирение, позволить им начать новую жизнь. Но человек может каяться лишь перед Богом, Он один имеет власть отпускать грехи. Советская бюрократия упорно твердит, что Бог не существует, что никто и никогда не потребует ответа за все совершенное ею. Ее однако страшит мысль, что есть иной суд над человечеством и на нем в ином свете предстанут и обожествленный Ленин, и гениальный грузин Сталин и Дзержинский, названный изолгавшимся Горьким человеком с золотым сердцем. Но пойти по пути покаяния современные властители русского народа не могут решиться. Им нужно покорное население, как и они сами боящееся поверить в Бога, не терпящее духовной свободы,

(1) Чекист Кедров посланный Лениным в Вятку начал свою деятельность там расстрелом 200 заложников. Ленин одобрил это преступление. Новый Журнал. № 102. стр. 46.

(2) Потрясающее описание коллективизации и голода на Украине дано в книге В. Гросмана. Все течет. Франкфурт. 1970.

не смеющее смотреть в глаза правды. (1) Вожди партии стремятся в культе материи найти убежище от голоса совести. Они тратят грандиозные средства на космонавтику, на вооружение, на изобретение новых все более страшных средств для уничтожения жизни на земле. Подвластное население жадно стремится к обогащению, к приобретению материальных средств. Автомобиль становится символом успеха, источником благополучия. В этой атмосфере верующий человек звучит диссонансом, он говорит другим языком. Он утверждает, что не одним хлебом жив человек, что тот, кто весь мир покорит своей власти, но в то же время погубит свою душу, является несчастнейшим из несчастных, что не ненависть ко врагам, а любовь к нас обижающим ведет к победе, и что зло может быть преодолено только добром. Все, чему учит христианство, неприемлемо для современных правителей России, их диктатура построена на сознательном отрицании евангельского благовестия, поднявшего человечество на высшую ступень своего духовного и морального развития. Ленинизм как и гитлеризм в своем отрицании христианской истины вернули человечество в мир произвола, преклонения перед тиранами, и культа права сильного. Вот почему именно на фронте антирелигиозной борьбы советская бюрократия не готова идти на какие либо существенные уступки, в то время как в области политики и экономики она отступила во многих основных заданиях, поставленных перед партией Лениным. Первоначальный интернационализм заменился советским патриотизмом, уравниловка сменилась строгой иерархией привилегий и отличий, беспогонные красноармейцы превратились в маршалов и генералов увешанных орденами. Вершители судьбы России стараются убедить население, что они борются с верующими, так как они хотят поднять культурный уровень опекаемых ими жителей и просветить их последними открытиями науки, которая сама лишена свободы в советских условиях, но эти объяснения есть не что иное, как очередной обман, истинные причины гонений связаны со страхом правителей допустить духовное обновление народа и освобождение его от последствий братоубийственной брани.

Русские люди отдались стихии разрушений, ненависти имести. Они превзошли все другие нации в своих попытках зачеркнуть свое прошлое, отречься от своего имени, превратиться в

(1) Русские люди соблазнившись идеей земного рая, построенного на насилии и будучи вовлечены в братоубийство, оказались в массе своей жертвами коллективного безбожия.

безличную советскую массу. Они переименовали свои исторические города, назвав их именами революционных авантюристов, разрушили свои храмы, осквернили свои святыни, уничтожили миллионы своих лучших, более стойких и предприимчивых людей, искалечили физически и нравственно целое поколение. Но насилие и ложь не могут принести людям мира и счастья, приближается время расчета и только покаяние может преобразить Россию. Хочется верить, что не далеко то время, когда и руководители партии и сам народ поймут это и тогда возможно будет приступить к построению такого строя, который сохранит и приумножит все то положительное, чему научилось население в грозные годы революции. Но для этого так же необходимо решительное отвержение всего того темного и бесчеловечного и лживого, что залило и опорочило русскую землю, когда правящая верхушка, отрекшись от Христа, попыталась переустроить жизнь народа на отрицании евангельской истины.

Оксфорд.

Первое мая 1971 года.

СЛОВО НОВИЧКОВ *)

Скромно, но неустанно на Руси идет процесс религиозного возрождения. Долгие старания противоборствующих человеческих организаций сделать Православие религией старух окончились неудачей. И хотя сегодня нашей Церкви еще очень зыбко, а завтра ее туманно, — чудо уже произошло. В этом — Промысл Божий.

«Промысл — не готовый заведенный механизм; он совершается творчески, из новизны свободы Божией, но «также» и из новизны нашей маленькой свободы. Не где-нибудь, а здесь. Не вообще, а сейчас. Промысл — тайна Бога Живого, и ты познаешь его в той мере, в какой самого себя живым включаешь в него, — не ждешь, чтобы над тобой свершилось, а со-действуешь. Ты призываешься». (Р. Гуардини. О Боге Живом).

Мне, одному из многих призванных, представляется необходимым сказать здесь несколько слов о наших грехах, об опасности нашего пути.

Путь. Это слово дважды пронизывает нашу душу. Есть путь наш, каждого человека, путь отдельной души. Но это всегда путь, а не покой, ибо нет и не может быть христианина, который был бы рад застыть и не двигаться. Своим, пусть и очень малым, подвижничеством христианин преодолевает холод своей скованности, одиночества, обстановки — и идет. Путь согревает его. Бог протягивает ему руку.

На этом очень легко остановиться, увидеть только человеческое я и Бога. Верно ли это? Конечно, но это полуправда и, если ограничиться только ею, то она обратится ложью.

«Приготовляйте пути Господу» — вот где еще мы встречаем слово «путь». И то, что мы читаем в Св. Писании о приходе Спасителя, относится не только к отдельному человеку, но и ко всем людям, ко всем народам и странам, к армиям и сообществам. Не пройдем же мимо этого и, говоря о святых, вспомним, что подвижничество их было не ради своего личного спасения, но и ради

*) Эта самиздатская статья перекликается со *Словом отступников* старшего поколения (см. *Вестник*, № 99 стр. 109)

других, не ради своих близких, но и ради дальних, ради своей страны, всего христианского и не только христианского мира.

Легко написать это на бумаге, но трудно соединить в жизни. Будем же молиться «да будет Воля Твоя» и сами станем Его Волей.

«Да придет Царствие Твое» и сами огнем своей жизни, пусть слабым, но живым светильником вырвем из мрака еще полшага узкой дороги к Его Царствию, ибо деятельной любви, а не застывшего законничества требует от нас Господь.

Сегодняшний неопит, придя в Церковь Христову в нашей стране, попадает в странное и ложное положение. Он теряет всякую опору в современности, его насущные жизненные вопросы большей частью остаются без ответа. Он не мог найти на них ответа вне Церкви, но не находит его и в Церкви, потому что уже не хочет искать. Это может показаться парадоксальным, но это так. Подавленный — другого слова тут и не подберешь — прошлым могуществом Православия, и зачастую даже не могуществом любви святых подвижников, но могуществом обер-прокурора Святейшего Синода, современный молодой человек начинает читать книги хорошо еще, если только шестидесятилетней, а то и шестисотлетней давности. Пытаясь обрести «церковность», он подавляет свой характер, свои устремления.

Он идет путем послушания, скажете вы. Нет! Он зарывает свой талант, тот дар, который получил от Бога, он пренебрегает им, объявляя его бесовским. Так постепенно современность и бесовское становятся для него синонимами, он отказывается служить Богу силами от Бога полученными, но хочет служить Ему теми силами, которые не ему были даны, которых у него нет и не может быть. В конце концов он не служит Богу никак.

Очень часто подобное состояние обусловлено восхищением перед древними храмами и иконами, торжественным обрядом. Но душа тут не восхищена Богом, поскольку она сама себя похитила у Него. Это легко распознать, ибо такое эстетическое восхищение, принятое за высоту религиозного восхищения, ведет к бесплодию, к нежеланию двинуться, отдать себя — такого, каким ты создан Богом — Богу.

Каждую секунду мы должны быть готовы воскликнуть, как пророк Исаия: «Вот я, Господи!» Господь призывает нас ежечасно, а на ногах у нас гири, и вряд ли кто-нибудь из нас решится сказать посреди храма: «Вот я, Господи!» Мы постесняемся нару-

шить древний обряд благочестия и за запахом ладана не вспомним, Кому он курится. Да будет же прошлая слава Церкви Воинствующей не камнем, придавившим нас, но твердой каменной дорогой к Церкви Торжествующей.

Мы идеализируем прошлую Русь и лелеем нашу татарщину, все время повторяя: «Ах, как плохо на Западе, какой оттуда идет яд и моральное разложение». «Нешто армяшка может молиться!» — эту фразу я слышал от молодого неопита, получившего блестящее по нашим меркам образование, ума оригинального и не отравленного влиянием Запада. Комната была завешана закопченными иконами, ни в коем случае не раставрированными, и заставлена антикварной мебелью.

Жутко! Неужели, Россия, впустишь для тебя урок гнева Божия. Неужели твой квас остался для тебя дороже Истины Христовой, и ты опять уходишь в свое посконное самодовольство, заявляешь с омерзительной наивностью: «Русский народ — народ религиозный, русский народ — единственный религиозный народ».

Но где он, этот «русский народ»? Не он ли с невиданной жестокостью сжигал и разорял храмы, с восточной изощренностью измывался над Его священнослужителями и умножал с ненасытностью зверя число мучеников?

Запад породил Реформацию, но какая Реформация, какие религиозные войны могут сравниться с тем торжеством бесовских сил, через которое прошла Россия? Кто может сравниться с известными деятелями, «мощам» которых русский народ — с присущей ему истовостью — поклоняется по сей день?

«Россия слопала меня, как глупая чушка своего поросенка» — эти слова великого русского поэта автора «Двенадцати» могли бы повторить тысячи и миллионы русских людей, замученных в лагерях, расстрелянных и растерзанных во время братоубийственной резни.

Господи, упокой души их с миром в Царствии Твоем и прости неразумным детям их преступную забывчивость.

Никогда не забывая данного нам урока, следует с чрезвычайной осторожностью относиться ко всяким славословиям русского народа и русского духа. Нельзя забывать и того, что окружает нас сегодня, перекладывать вину только на западные идеи, разложившие русский народ, но трезво и ясно увидеть как по сердцу, как в лад пришли эти идеи нашему отечеству. Не идеализировать

русскую простоту и доверчивость, но осознать, к чему она тянется, эта доверчивость, чему она открылась эта сердечная простота.

Народ и партия едины. Это не пустые слова. Это надо помнить, как надо помнить и сказанное одним из наших религиозных поэтов в 1918 году:

О, Господи, расторгни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с Запада, Монгол с Востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

(М. Волошин. Демоны глухонемые.)

Иудин грех тяготеет над Россией, а значит и над каждым из нас, а не над идеями, пришедшими с Запада. Запад их не принял, а выбросил на свалку. Только России и Китаю они пришлось в самую пору.

Но Россия жива. По ней повеял животворящий Христов дух, и наше дело принять его, ибо за нас предстательствуют перед Богом сонмы русских подвижников, сонмы неканонизированных ленивой и угоднической иерархией мыслителей и мучеников нашей Родины.

«И клялся... что времени уже не будет.»

Будет так. Скоро ли? Далеко ли? Не нам знать сроки. Мы — строители и должны строить сейчас, сегодня. Мы должны понимать, что когда времени не будет, мы будем современниками или со-вневременниками с преподобным Сергием Радонежским и со святым Нилом Сорским, но ни в коем случае мы не будем жить **во времена** преп. Сергия и Нила Сорского. Времени вообще не будет.

Мы — свои современники. И наше служение не физический труд в лесной хижине. Оно не выше и не ниже служения тех времен — оно другое. Не надо поддаваться сентиментальным обольщениям. Они чужды истинному православию.

Больно и стыдно видеть молодого одаренного Богом человека, будь он математиком, химиком или художником, который, приняв христианство, отказывается от данного ему свыше таланта и пытается устроить из своей однокомнатной малогабаритной квартиры Фиваиду. Стилизация всегда есть красивая ложь, и не Рескин, а Руо истинно христианский художник.

В мире произошла научная революция. Россия осталась от нее в стороне по понятным причинам. Не будем сейчас разбирать, окончательно ли это, но где был ты, молодой человек, которому Бог дал проникать в тайны Логоса, ты, поставленный Церковью и призванный со смирением и благоговением постигать Божественное устройство мира? Кому ты отдал науку?

Прекрасные слова о христианских ученых сказал философ и математик Жан Ладриер: «В них произойдет, в преимущественном порядке, двойное движение — включение жизни логоса в жизнь благодати и проникновение благодатной жизни в жизнь логоса — и подготовится преобразование мира. У них есть, следовательно, особая роль не только в плане (проявления) естественного динамизма человека и вселенной, но и в сверхъестественном плане, в общей икономии (плане) спасения. Это означает, что у них особая миссия в Церкви и что они способствуют выявлению ее истинного лика и ее вселенскости...

Мы может быть достигли того момента истории, когда наука начинает становиться самостоятельной ценностью и тогда, соответственно, ее значение по отношению к делу спасения начинает быть очевидным. Если это действительно так, то это должно будет проявиться конкретным образом в жизни Церкви, то есть в жизни христианских ученых. И мы вероятно увидим новые формы святости, связанные с научной жизнью. То, что происходит вокруг нас в нынешнее время позволяет нам это предположить» (Ж. Ладриер. «Как научная деятельность включается в христианскую жизнь»).

Но то, что происходит вокруг нас, может только удручать. Безблагодатное постижение тайн логоса нашими русскими учеными подрывает всякое доверие к науке, отнимает у людей кусок хлеба и способствует только наращиванию военной мощи Восточной Империи, в то время как христиане, призванные Богом к научному служению, занимаются туристическими поездками по деревням (само по себе это, конечно, не плохо, но, оказывается, не столь уж безобидно).

В отличие от общемировой направленности религиозного возрождения, на Руси, однако, среди неопитов преобладают не ученые, а художники (в широком смысле слова). Возможно, это объясняется необыкновенно низким уровнем нашего естественнонаучного образования и отсутствием подлинной интеллигентности у ученых.

Художники в наше время также безусловно не являются духовно зрелыми людьми. Это скорее некий люмпен, страдающий от собственного провинциализма и неполноценности, для которого, к сожалению, Православие является удобной формой развернуть свой провинциализм и безграмотность каким-то знаменем над головой. Отсюда — стихи и картины, наполненные набожной жестикующей, подражанием «благочестивым разговорам» давно минувших веков.

Являясь людьми скорее мудрствующими, чем учеными, некоторые художники вообще отказываются от предназначенного служения, так как пришли к выводу, что это дело не святое, а «бесовское». Как этот отказ, так и кощунственная подражательная возня вокруг икон заставляет с большой осторожностью вглядываться в будущее христианской культуры на Руси. Пора понять, что занимаясь своим творчеством, художник занимается именно им, а не священнодействует. Дух Святой нисходил на великих творцов, когда они занимались своим делом, принося в дар Единственному Творцу именно его, а не доморощенные философские или теологические измышления. Бесконечно варьируя в своих произведениях слово «Господи», художник не станет от этого подлинным христианином.

«Нужно уметь поклоняться этой старине» — писал более полувека назад С. Н. Булгаков.

И тем не менее средневековое мировоззрение представляет для нас теперь, несомненно, уже историческое прошлое и притом невозвратное прошлое. Оно пережито и изжито, совершенно ясно осознана его односторонность и его неправда, и если эта неправда еще пытается испытывать над современностью свою гнилую силу, то какое голое, мертвящее насилие, без прежнего обаяния святости, без былого сияния вокруг потемневшего лика» (С. Булгаков. Два града).

Забвение воли Божией есть мерзость перед Господом. Но Воля Божия проявляется и в Его дарах тебе. Как бы добродетельно ты ни жил, художник, ты плохой христианин, если отверг их. Противоположность греху не добродетель, а вера, закрепленная в делах. Добродетели же есть аромат христианства и они приложатся, если будет вера.

Служение — это вера в Его дар тебе. Давид был бы наверно хорошим пастухом, и не было бы этой ужасной истории с Вирсавией, бывшей за Урией, если бы он им остался. Но мерзость перед Господом отказ от избрничества, и Давид ушел от своих

овец, и Авраам покинул Ур и пошел, хотя не знал, куда идет. Он верил. Бог звал его.

Правда, скажете вы, и служение не спасает от греха. Да, это так. Но не ближе ли к истинной вере смиренное принятие Его даров, чем презрение к ним?

Камень... Много раз это слово повторяется в Св. Писании. Много раз рядом с ним стоит слово «строить». Строители, стройте на камне, чтобы здание ваше устояло. Стройте из камня, а не из ветхой соломы, чтобы здание ваше не сгорело.

Наше основание истинно, скажете вы, — потому что это Иисус Христос. А как и из чего вы строите на нем?

«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится, ибо день покажет; потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, — тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3,12-15).

От прежней России что осталось? Только Камень Петров стоит незыблем во славе, пройдя через жуткие пожары. Устояла ли Русская Церковь? Да. Но как бы из огня спаслась. Это знамение нам, потому что от нас зависит ее будущее.

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА Ю. В. ТИТОВА *)

(Публикуется без ведома и без согласия художника)

Титов, Юрий Васильевич, родился 19 января 1928 г. во Владимирской области. Ребенком вместе с семьей переехал в Москву, где и проживает в настоящее время. В 1951 г. закончил Московский Архитектурный институт. Серьезно живописью стал заниматься со студенческих лет. Увлекался пейзажем, портретом. До 1957 г. в целом живопись Титова носила реалистический характер, хотя уже и в то время он писал картины символического и сюрреалистического содержания, окрашенные мрачными тонами. В то время наиболее любимыми художниками Ю. Титова были Веласкес, Тициан, Моне, Шишкин, Врубель. С 1957 г. после Международной выставки современной живописи в Москве Титов пробует свои силы в области абстрактной живописи и вплоть до 1962 г. пишет картины абстрактного содержания. В работах этого периода Титов ставил своей задачей выразить гармонию и дисгармонию современного мира и собственной души с тем, чтобы с помощью художественных средств проникнуть в загадочный и непостижимый мир духа и уловить сокровенный смысл божественной гармонии и единства.

В марте 1962 г. была устроена на частной квартире выставка абстрактной живописи Ю. Титова, которая вообще явилась первой неофициальной выставкой советского абстрактного искусства за последние 40 лет. Выставка, однако, просуществовала всего несколько дней, но пользовалась большим успехом и привлекла к себе много зрителей, особенно среди молодежи. Как известно, на выставке была даже книга отзывов, где каждый мог выразить свое мнение как по поводу выставленных работ, так и по вопросам современного искусства.

После этой выставки в творчестве художника наметилось движение в сторону более глубокого осмысления значения искусства в жизни человека. Эти поиски привели его к вере в Бога, внутреннему принятию христианского вероисповедания и наконец к крещению. Процесс этот наметился еще в период его занятий абстрактной живописью. Внешним же толчком к новому этапу

*) Как известно, за участие в демонстрации евреев требующих право на выезд в Израиль, Ю. Титов и его жена были арестованы и посажены в психиатрическую больницу. В начале июня они оба были освобождены.

творчества послужило знакомство с выдающимся американским дирижером Робертом Шоу, который в конце 1962 г. приезжал на гастроли в Советский Союз. В репертуаре хора была Си-минорная Месса Баха, которая в исполнении хора и оркестра, руководимых блестящим дирижером, явилась подлинным откровением для всей музыкальной Москвы и оставила в душе художника неизгладимое впечатление. Оно было настолько сильно, что художник решил посвятить Р. Шоу картину, изображающую Христа, и преподнес ее замечательному дирижеру.



Картина, работы Ю. В. Титова.

С этого времени и начался новый этап в творчестве Ю. Титова, который, насколько известно, продолжается и в настоящее время.

С 1962 г. Ю. Титовым написано большое количество картин религиозно-философского содержания.

Значение как прошлого, так и современного искусства теперь для художника определяется его духовностью, степенью пости-

жения им высших, т. е. религиозных ценностей. Судьбы нашей христианской цивилизации, по мнению художника, определяются сейчас больше, чем когда бы то ни было, словами ее Основателя Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14 гл., 6 ст.).

В наше апокалипсическое время, когда мир близок к самоуничтожению, мыслящему человечеству настала пора вспомнить об этом. В мировом искусстве, начиная с эпохи позднего Ренессанса и вплоть до наших дней, ослабевает стремление к уяснению вопроса о смысле и цели человеческой жизни. Забвение истины, открытой нам Священным Писанием, поставило современный мир на грань катастрофы. Современное искусство, за немногими исключениями, воспроизводит мир поверхностных явлений, забыв о его духовной первооснове. Это в конечном итоге не только не способствует формированию духовной личности, но приводит к омертвлению и разрушению души современного человека.

В свете вышеизложенного становится понятным, какие периоды в развитии мирового искусства художник считает наиболее ценными и значительными: в Западной Европе — искусство позднего средневековья и раннего Возрождения, в России — древнерусское искусство.

В настоящий период в творчестве Титова выражается трагическое восприятие атомного века, в котором извечная борьба начал добра и зла (религиозного и антирелигиозного мировоззрений) достигает наивысшего накала. Но художник не только констатирует апокалипсичность нашей эпохи, но и пытается указать единственно возможный, по его мнению, выход из тупика, в который зашло современное сознание.

Кроме работ религиозно-философского содержания, Ю. Титов в своем творчестве уделяет место поэтическому воспроизведению прошлого Руси (картины с историческим и сказочным сюжетом).

Европейские любители искусства имели возможность познакомиться с некоторыми работами религиозно-философского содержания, написанными художником в 1963-1964 гг.: в конце 1967 года в Стокгольме и других городах Скандинавии состоялась выставка работ Юрия Титова, о которой писали шведские газеты.

Художник, вероятно, был бы весьма рад тому, если бы любителям живописи во многих странах мира предоставилась возможность получить хоть какое-то представление о его творчестве.

Борьба за достоинство человека

НОВЫЙ ПРОТЕСТ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

МИНИСТРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР АНДРОПОВУ (*)

Многие годы я молча сносил беззакония ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятия половины ее, розыск моих корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на



(*) Впервые напечатано в *Русской Мысли*, № 2857, от 26 августа 1971 г.

садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудникам вашего министерства.

Но после вчерашнего налета я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал; обо мне был расчет у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова, съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса.

Горлов вступил внутрь и потребовал от налетчиков документы. В маленьком строении, где повернуться трем-четырем, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» — Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли в лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путем через кусты, унося к своим автомобилям свертки, бумаги, предметы (может быть и часть своей привезенной аппаратуры). Однако Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывал свидетелей. На его крик сбежались соседи с других участков, преградили налетчикам путь к шоссе и потребовали документы. Тогда один из налетчиков предъявил красную книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом, повели к машине. «Хороши же ваши методы!» сказал он сопровождающим. «Мы на операции, а на операции нам все позволено».

По предъявленному соседям документу — капитан, а по личному заявлению — Иванов, сперва повез Горлова в Наро-Фоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!!) обязательную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налетчик потребовал с Горлова подписку о неразглашении. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налетчик внушал Горлову в следующих буквально фразах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов кандидат технических наук, представил к защите докторскую диссертацию, работает в институте ГИПРОТИС (?) ГОССТРОЙ СССР) дальше не пойдет, никакой диссертации вам не защитить. Это отразится на вашей семье, на детях. А если понадобится — мы посадим».

Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь нависает над ним расправа.

Я требую от вас, гражданин министр, публичного поименования всех налетчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остается считать их направителем — вас.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР А. Н. КОСЫГИНУ

Препровождаю вам копию моего письма министру госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если правительство СССР не разделяет этих действий министра Андропова, я жду расследования.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

По данным западных газет, после протестов А. Солженицына, органы КГБ вызвали Горлова и принесли ему извинения за содеянное нападение. **Прим. Ред.**

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ «Послужной список» М. РОСТРОПОВИЧА

(ноябрь 1970 г.-май 1971 г.)

1. В начале ноября 1970 г. РОСТРОПОВИЧ написал Открытое письмо в защиту Солженицына (см. Хронику № 17).

2. С конца ноября 1970 г. не было ни одной радио-и телепередачи с его участием (на некоторое время сняты и передачи с участием его жены Г. ВИШНЕВСКОЙ).

3. Декабрь 1970 г. Возвращение из-за границы. Придирчивый обыск на Брестской таможне с прочтением личных писем.

4. Январь 1971 г. В «Советской культуре» опубликовано сообщение с присуждением советским музыкантам «Гран-При» за запись во Франции оперы «Евгений Онегин». Премию вручил лично РОСТРОПОВИЧУ министр финансов Франции. В газете перечислены не только главные исполнители, но даже директор фирмы звукозаписи, но фамилии РОСТРОПОВИЧА нет.

5. Зам. министра культуры СССР объявил РОСТРОПОВИЧУ, что на полгода отменяются его уже назначенные концерты за границей.

6. Февраль. 50-летие Большого оркестра радиовещания. Из юбилейной стенгазеты по указанию парткома убрана фотография РОСТРОПОВИЧА.

7. 1 апреля. По приказу директора ОЗНОБИЩЕВА, РОСТРОПОВИЧ уволен из числа солистов Московской филармонии, причем ему не сообщили об этом.

8. 28 апреля. В «Комсомольской правде» — единственной газете, откликнувшейся на гастроли в Москве Британского филармонического оркестра под руководством Б. БРИТТЕНА, где в качестве солистов выступали Рихтер и Ростропович, упоминается только Рихтер. В газете «Известия» статья об этом концерте была вообще снята, так как ее автор отказался вычеркнуть упоминание о Ростроповиче.

9. Конец апреля. Отменены анонсированные концерты РОСТРОПОВИЧА.

10. 11 мая. Отменен объявленный ранее концерт РОСТРОПОВИЧА в Московском университете под ложным предлогом болезни исполнителя.

11. Конец мая. В результате протестов крупных музыкальных деятелей РОСТРОПОВИЧ восстановлен на работе в Филармонии.

(Хроника текущих событий, № 20)

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Р. И. ПИМЕНОВА *)

в качестве свидетеля (по делу Зиновьевой В. И.) заместителем прокурора города Обнинска, в/ч 9367 Борисовым (Виктором Ивановичем) 24 апреля 1970 г.



В о п р о с . При обыске 18-19 апреля у Вас было изъято много отпечатанной на машинке литературы, искажающей советский государственный и общественный строй. Откуда она у Вас и с какой целью Вы ее имели? (Сформулированный в протоколе вопрос был зачитан Пименову не полностью; см. ниже об этом).

(Предъявляется сначала один сверток с семью статьями: «Размышления» акад. Сахарова, «2000 слов» в семи экземплярах, «Письмо из Праги — ноябрь 1969 г.», «Речь Кинцла», «Выписки из газеты «Руде право» о Яне Палахе», «Письмо читателя в газету «Творба» и ответ редакции» и «Чешская судьба» Милана Кундеры; на бумаге, в которую завернуты эти статьи, рукой следователя написано «антисоциалистические». Потом другой сверток (с надписью рукой следователя «антисоветские»): «Письмо Белинкова», «Писатели и КГБ» А. Кузнецова и «Письмо Кузнецову от Амальрика». И, наконец, третий сверток из около 20 наименований, в числе которых: «Бесплатная медицинская помощь» Н. Горбаневской, «Экстренное сообщение» крымских татар. «Дело Синявского и Даниэля», «Последнее слово» Галанскова, «Последнее слово» Гинзбурга, «Письмо Сталину» Ф. Раскольников, «Ночь смерти

*) Револьт Иванович Пименов (род. в 1931 г.) выдающийся Ленинградский математик, осужденный в октябре 1970 г. к 5 годам ссылки за антисоветскую пропаганду, переданную в устной форме обвиняемой Зиновьевой. См. более подробные данные в **Вестнике**, № 98, стр. 127-131.

Сталина», «Биологическая наука и культ личности» (выписки на 8 листах), «Письмо в Литгазету» Л. К. Чуковской, «Прокурору Москвы от Цукермана», «Меморандум о лояльности», «Заседание отдела истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, посвященное обсуждению книги «1941 год, 22 июня» Некрича», «Заявление Якубовича Генеральному прокурору СССР о процессе меньшевиков 1931 года, «Прокурору РСФСР от группы граждан», «Письмо П. И. Якира в редакцию журнала «Коммунист», «Письмо Касаевой» и др.).

О т в е т . Эта литература принадлежала моей матери, умершей недавно. Я перевез ее в конце марта и еще не разобрал: так и хранил все вместе в коробках. Мать моя заинтересовалась этим с момента моего ареста. О наличии ее у матери я знал в общих чертах, но подробностей о количестве и происхождении этой литературы не знал. За одним исключением: я специально сверял машинописный текст перевода «2000 слов» с текстом в чешских газетах, свободно приходящих в СССР по подписке; сверял в Библиотеке Академии наук СССР. Сверку предпринял из-за ожесточенных нападок «Литературной газеты» на «2000 слов», тогда как машинописный перевод не содержал ничего нелояльного, антисоциалистического. Оснований для нападок не было. Я подумал — не вводят ли меня в заблуждение фальшивым переводом, сверил и установил, что перевод по смыслу точен. Мать печатала в разное время на разных машинках, иногда и на моей.

В о п р о с . Это печатала Ваша мать?

О т в е т . Да.

В о п р о с . На какой машинке?

О т в е т . На разных. Она покупала и продавала в комиссионных. Последний раз продала незадолго до смерти, так как были нужны деньги на банкет после докторской защиты.

В о п р о с . Кто печатал для Вас Вашу статью «Как я искал шпиона Рейли» и кому Вы ее давали?

О т в е т . Черновые варианты печатал я сам, а начисто перепечатывала моя мать. Я посылал эту статью в журналы «История СССР», «Новый мир», «Простор». Фамилий лиц, которым я ее давал, не помню, но у себя дома мог давать гостям или рассказывать сюжет.

В о п р о с . Печатала ли Вам что-нибудь Зиновьева В. И.?

О т в е т . Нет, никогда, ничего.

В о п р о с . Вам зачитываются показания Зиновьевой от 19. 4. 70: «Всего у Пименова я была шесть раз. Печатала ему на его

пишущей машинке марки «Москва» доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС и «Как я искал шпиона Рейли». По одному экземпляру взяла себе, остальные оставила Пименову». Верны ли эти показания?

О т в е т. Нет, они не соответствуют действительности. Машинки марки «Москва» у меня не было. Доклада Хрущева у меня не было, и он у меня не изъят.

В о п р о с. Почему же она так говорит?

О т в е т. Не знаю, я не компетентен.

В о п р о с. Какие у Вас были отношения?

О т в е т. Ну, я никаких претензий к ней не имею. Кстати, вот я вижу тут, что Вы пропустили, не зачитали мне две строки, написанные Вами в первом вопросе. Если бы я знал, что Вы так формулируете вопрос, я бы иначе отвечал. Давайте запишем замечание к этому вопросу.

— Ну, я и сам хотел слышать от Вас политическую оценку изъятых у Вас материалов. Давайте и сделаем это в следующем вопросе.

В о п р о с. Что Вы хотите добавить к ответу на первый вопрос?

О т в е т. Мне не были зачитаны две строки первого вопроса, а именно, слова «искажающие советский государственный и общественный строй», оценивающие изъятые у меня материалы. Я считаю эту оценку совершенно неправильной. Эти материалы в своем большинстве содержат информацию, которую совершенно необходимо знать всякому человеку, любящему свою Родину. Хотя некоторые из них содержат оценки, с которыми я не согласен, и рекомендации, которые кажутся мне наивными, или написаны в излишне возбужденном стиле, — но независимо от этого в целом они доставляют важную информацию, позволяющую лучше понять те трудные проблемы, которые стоят перед нашей страной и советским правительством.

В о п р о с. Когда в последний раз Вы видели Зиновьеву?

О т в е т. Где-то в ноябре-декабре 1969 года, но точно не помню. Помню, она в шубке приходила.

В о п р о с. Вам зачитываются показания Зиновьевой: (делается попытка изложить своими словами, не зачитывая; после разъяснения Пименова о различии значений слов «зачитать» и «изложить» — зачитывается одна фраза). «Последний раз я была в Ленинграде в командировке с Ивановским в феврале 1970 года, останавливалась на квартире Ивановского и одна заходила к Пименову».

О т в е т. Возможно, это было в феврале, но тогда не было ее в ноябре-декабре. И мне помнится, она говорила про отпуск, а не командировку, но точно не ручаюсь.

В о п р о с. Давали ли Вы Зиновьевой что-либо напечатанное на машинке?

О т в е т. Нет.

В о п р о с. Вам зачитываются показания Зиновьевой от 19. 4. 70: (на деле — предъявляются; видимо, 19. 4. Зиновьеву допрашивали более одного раза, с оформлением отдельными протоколами допроса, поскольку один протокол допроса от 19. 4. заканчивается страницей 4, а другой протокол от этого же числа содержит страницы 6-7). «В феврале Ивановский заходил к Вербловской, взял у нее «В круге первом». В дополнение хочу сообщить, что тогда же взяла у Пименова «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, письмо Сахарова, «Декларацию прав человека», «О разделении властей», «2000 слов» «Материалы по Солженицыну» (в предъявленных показаниях Зиновьевой упоминалось еще 1 название, но не удалось запомнить). Что Вы скажете об этих показаниях?

О т в е т. Они не соответствуют действительности.

(На этом вопрос заканчивается. Ведущий вопрос просит разъяснить ему неформально, почему возникает интерес к такого рода литературе.

Р. И. Пименов объясняет: Это очень важная информация, а мы, интеллигенция, несем определенную ответственность за судьбы нашей страны.

— А почему не рабочий класс?

— Потому что это дело интеллигенции: собирать, перерабатывать и оценивать информацию. Рабочий работает с металлом, деревом, пластмассой, а интеллигент — с информацией. Мы, интеллигенты, отвечаем за информацию. При отсутствии информации могут приниматься неверные решения на основе ошибочных рекомендаций. Поэтому мы, интеллигенция, просто обязаны знакомиться со всей разнообразной информацией, порой противоречивой, по всем вопросам. Так как некоторая информация, дабы не повлиять отрицательно на неподготовленных людей, не публикуется в газетах, то ее приходится собирать в машинописном виде. От нас, интеллигенции, информация не должна скрываться, ибо это наша работа.

(Допрашивающий пытается отождествить понятия «ознакомить» и «навязать мнение», отождествить также «ошибочный» и «антисоветский»).

На этом неформальная часть допроса также заканчивается.

Допрос начался 24. 4. 70 в 14-30.

Окончен 24. 4. 70 в 16-45.

Записано по памяти 24. 4. 70.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА У Р. ПИМЕНОВА *)

18 апреля 1970г. гор. Ленинград. Старший следователь Прокуратуры гор. Ленинграда мл. советник юстиции Филимонов на основании своего постановления от 18 апреля 1970 г. с соблюдением требований статей 168-172, 176-177 УПК РСФСР произвел обыск у гр-на Р. И Пименова в гор. Ленинграде по Войнова ул. д. № 48 кв. № 2.

При обыске присутствовали Пименов Револьт Иванович и Пименова Вилена Анатольевна и понятые Стогова Валентина Николаевна прож. ул. Войнова 50, кв. 42 и Айвазян Тамара Михайловна, прож. ул. Войнова 50, кв. 17.

Перед обыском гр. Пименову Р. И. было предложено указать местонахождение отыскиваемого и добровольно выдать документы и предметы, указанные в постановлении, на что он заявил, что документов с указанным в постановлении содержанием у него нет, и что он имеет пишущую машинку, магнитофон вместе с приемником и фотоаппарат.

№№

п/п Наименование и описание обнаруженных предметов

1. Пленка магнитофонная — 26 кассет (согласно отдельной описи:

1. Ким и Визбор. 2. Блатные. 3. Галич. 4. Высоцкий. 5. Неподписанная 1. 6. Неподписанная 2. 7. Окуджава и Матвеева. 8. Окуджава. 9. Галич. 10. Высоцкий. 11. Галич и Ким. 12. Клячкин. 13. Пильняк. 14. Галич. 15. Матвеева. 16. Якушева и Окуджава. 17. Окуджава. 18. Шостакович. 19. Клячкин. 20. Галич. 21. Неподписанная 3. 22. Витковский. 23. Туристские. 24. Пильняк. 25. Горби. 26. Матвеева. 17. Шаламов. 28. Шаламов.

Пленки описывались без прослушивания по надписям на коробках.

Следователь намеревался изъять их без описи, числом; опись составлена по требованию обыскиваемого.)

*) Мы печатаем здесь полный протокол произведенного у Р. Пименова обыска, так как по нему можно себе составить представление об умственных и духовных интересах свободомыслящей интеллигенции.

2. Фотопленка негативная — 80 роликов (согласно отдельной описи:

1. Нерусская
2. Вересаев "В тупике" 1
3. Булгаков
4. Сербский словарь
5. Начало книги Неру "Автобиография"
6. "Инерция страха" Турчина 1
7. "Инерция страха" Турчина 2
8. Вересаев 3
9. Замятин — поправки к "Мы"
10. Непроявлено
11. "Конь вороной" Савинкова
12. Сербско-русский словарь
13. Космометрия
14. "Конь вороной"
15. Стенограмма процесса Савинкова
16. ВКП(б) в резолюциях 1
17. Сорокин — учебник социологии — на английском
18. Анненков "Трагедии моей жизни" 1
19. То же 2
20. Естественные языки и вычислительные машины
21. То же, что в 18, 3.
22. Стенограмма заседания Учредительного Собрания 23-59.
23. То же, что в 18, 4.
24. То же, что в 22.
25. Суханов "Записки о революции".
26. То же, что в 18, 5.
27. Савинков "То, чего не было".
29. То же, что в 5, продолжение.
29. То же, что в 22.
30. Документы о восстании в Кронштадте, 1.
31. Замятин "Мы".
32. То же, что в 30, 2.
33. То же, что в 18, 6.
34. То же, что в 18, 7.
35. То же, что в 30, 3.
36. То же, что в 31, 2.
37. "Новый мир" за 1926.
38. То же, что в 2, 3.
39. То же, что в 31, 3.
40. То же, что в 18, — брак.
41. То же, что в 30, 4.
42. То же, что в 18, 8.
43. "Обвинительное заключение и приговор... Бухарина и др."
44. "Обвинительное... по делу Николаева, и Зиновьева и..."
45. ВКП(б) в резолюциях, 2.
46. То же, 3.
47. То же, что в 13, 2.
48. То же, что в 13, 3.
49. То же, что в 16, 4.
50. То же, что в 16, 5.

51. То же, что в 13, 4.
52. То же, что в 13, 5.
53. Иллюстрации к Гамову "Мистер Томпкинс в стране чудес".
54. То же, что в 13, 6.
55. Один кадр из фильма "Диктатор" (см. № 3 общей описи).
56. То же, что в 13, 7.
57. История музыки в таблицах (позитив).
58. Моя картотека.
59. То же, что в 57, 2.
60. Магеровский "Фашистское государство".
61. То же, что 16, 6.
62. То же, 7.
63. То же, 8.
64. То же, что в 60, 2.
65. Заславский "Русский фашист Пуришкевич".
66. "В погоне за Нечаевым".
67. То же, что в 16, 9.
68. То же, что в 16, 10.
69. "Заседания Комитета временного Совета республики" (1917).
70. То же, что в 13, 8.
71. Грин "Бегущая по волнам".
72. Гумилев "Чужое небо".
73. Моя картотека министерств.
74. То же, что в 16, 11.
75. То же, что в 16, 12.
76. "Русская свобода (документальный разбор февральской революции)".
77. То же, 2.
78. Извольский "Воспоминания".
79. Слепцов "Классовые противоречия в 1 Государственной думе".
80. Без надписи.
81. Без надписи.

Микрофильмы описывались по надписям на коробочках, в которых они находились, без просмотра. Описывались по требованию обыскиваемого: следователь намеревался изъять их без описи, чистом.)

3. Кинопозитив с изображением Гитлера (см. № 55 описи микрофильмов).
4. Библия в русском переводе издания 1878 г.
5. Дело № Ш-232 на Солженицына на 83 листах.
6. То же на 75 листах.
7. Судебный процесс по делу демонстрации на Красной площади 25. 08. 68. на 12 листах.
8. Копия обвинительного заключения по обвинению Шарапова на 6 листах.
9. О споре Лифшица с Видмаром на 5 л.
10. Заявление Шарапова XXIII съезду КП СССР на 12 л.

11. Кассационная жалоба Шарапова — на 14 л.
12. Приговор в отношении Шарапова от 17. 12. 58 — на 4 л.
13. Рецензия на книгу Марухин и Слитенко "Именем закона" — на 12 л.
14. Справки и пояснения к этой рецензии — на 7 л.
15. Запись заседания Судебной коллегии Мосгорсуда от 16. 06. 67 — на 7 л.
16. Выписки из судебного заседания по делу Синявского и Даниеля — 14 л.
17. Раскольников "Открытое письмо Сталину" — на 3 л.
18. Последнее слово Галанскова (в двух редакциях) — на 3 л.
19. Последнее слово Гинзбурга — на 3 л.
20. Лебль "Меня судили со Сланским" — на 28 л.
21. То же, что в 18 — на 3 л.
22. То же, что в 19 — на 3 л.
23. "К мировой общественности" Л. Богораз и др. — на 2 л.
24. Письмо Владимира в поддержку Солженицына — в 3 экз., на 10 л.
25. Письмо Солженицына Съезду писателей — в 2 экз., на 6 л.
26. То же — на 3 л.
27. Турчин "Письмо Чаковскому" по поводу Солженицына — в 2 экз., на 6 л.
28. То же — на 3 л.
29. Аганбегян "Современное состояние советской экономики" — на 4 л.
30. Рукопись, начинающаяся словами: "Никогда не брал я сохи" и оканчивающаяся словами: "Все ломаю за собой" — на 9 л.
31. "Чужая боль" — на 6 л.
32. Выписки и конспект книги "Биологическая наука и культ личности" — на 6 л.
33. Чуковская "Письмо в Литгазету" о Солженицыне — в 2 экз. на 3 л.
34. Письмо Солженицына от 12. 09. 67 в Правление ССП — на 1 л.
35. Письмо Каверина Федину — на 2 л.
36. Домбровский "Докладная записка" — на 56 л.
37. Речь адвоката Каминской от 12. 01. 68 — на 12 л.
38. "Транзитка" (отрывок из "Крутого маршрута" Гинзбург) — на 68 л.
39. М. Булгаков "Письмо Советскому правительству" — на 5 л.
40. Карел Киндл "Речь в пражском горкоме" от 02. 06. 69 — на 3 л.
41. Выписки из "Руде право" от 07. 10. 69 (об избирательном законе, лишении депутатских мандатов и кооптации) — в 2 экз. на 8 л.
42. Последнее слово Даниеля — на 6 л.
43. "2000 слов" — на 6 л.
44. Заявление Цукермана (об Иржи Гаеке и гнз. "Известия") — на 13 л.
45. Письмо Ленина "Молотову для членов Политбюро и т. Калинина от 19. 04. 22 по поводу церкви — на 5 л.
46. То же в рукописи — на 7 л.
47. Пименов "Протест не в тот адрес" (рецензия на фантастику) — на 6 л.
48. Список адресатов, кому направлено письмо Солженицына — на 5 л.

49. Ахматова "Реквием" — на 7 л.
50. То же — на 6 л.
51. Письмо Яacobсона (об одном из процессов 1966-68) — на 1 л.
52. Выписки из "Руде Право" от 18. 01. 69 о чествовании Правительством памяти Яна Палаха — на 1 л.
53. То же, что в 23, — на 3 л.
54. Заявление Цукермана от 05. 12. 68 — на 7 л.
55. "Меморандум о лояльности" (Чалидзе и др.) — на 1 л.
56. Пименов "Как я искал шпиона Рейли" — на 53 л.
57. То же — на 51 л.
58. То же без приложения — на 30 л.
59. Приложение к тому же — на 17 л.
60. То же — на 44 л.
61. То же — на 53 л.
62. Бакшис "В Президиум XXIII съезда" — на 1 л.
63. Заседание отдела истории Вел. От. Войны при ПК (о Некриче) — на 8 л.
64. Шаламов "Букинист" — на 11 л.
65. (Бель) о книге Солженицына "В круге первом" — на 9 л.
66. Папка со стихами разных авторов — на 59 л.
67. Пименов "Желябов" (пьеса) — на 64 л., рукопись.
68. То же, перепечатанное на машинке, — на 118 л.
69. Вилин "40 дней" (пьеса о Бруно) — на 63 л.
70. Вилин "Оптимисты" (пьеса) — на 79 л.
71. Вилин "Братья по разуму" (пьеса) — на 79 л.
72. Савинков "Конь бледный" (рукописная книга) — на 60 л.
73. Пименов "Пока народ просыпается" (рукопись пьесы) — на 54 л.
74. Пименов "Дегаев" (рукопись пьесы) — на 53.
75. Изложение заседания Рязанского отделения ССП, где исключали Солженицына, — на 6 л.
76. "Солженицын. Биографическая справка" — на 9 л.
77. Д. Качевская "Заявление министру здравоохранения об увольнении из медицинского института" — на 5 л.
78. Якубович "Заявление генеральному прокурору о процессе меньшевиков в 1931" — на 8 л.
79. Балтер "Выступление на писательской конференции" от апреля 1966 — на 4 л.
80. Рецензия на статью "Как я искал шпиона Рейли", подписанная "Добровольец Самиздата", рукопись, и часть самой статьи — на 36 л.
81. Сулейменов "Казахстан" (стихи) — на 3 л.
82. Есенин "Ответ Демьяну Бедному" — на 3 л.
83. То же, что в 44, — на 13 л.
84. Коржавин "Начальник творчества" (поэма) — на 14 л.
85. Выступление (фамилия неразборчиво, вроде "Орловской") от 02. 03. 66 — на 5 л.
86. Померанц "Выступление от 03. 12. 65" — на 6 л.
88. Письмо Левина Вознесенскому от 27. 10. 67. — на 1 л.
89. Белинков "Открытое письмо" — на 4 л.
90. "Прокурору РСФСР" от Асановой, Габая, Григоренко и др. — на 7 л.

91. Заявление Национального комитета французских писателей по поводу исключения Солженицына — на 1 л.
92. То же, что в 59, на 20 л.
93. Обсуждение макета III т. "Истории КПСС" — на 18 л.
94. Соснора "Письмо в ССП о Солженицыне" — на 4 л.
95. "Повествование осведомителя ГБ Валентины Вахрамеевой, рассказанное им самим 15 лет спустя" — на 3 стр.
96. То же.
97. Вайс "Обращение к чехословацким писателям" — на 2 л.
98. Выступление адвоката Золотухиной от 12. 01. 68 — на 8 л.
99. Выступление Зориной от 28. 06. 66 — на 3 л.
100. Письмо Игнацию Силоне Ивану Антипову (1956 г.) — на 6 л.
101. Замятин "Письмо Сталину" — на 5 л.
102. Шифферс "Открытое письмо товарищу по профессии" от 15. 01. 68 — на 1 л.
103. Герлин "Рассказ об увольнении" — на 22 л.
104. То же, что в 89, — на 4 л.
105. Пильняк "Красное дерево" — на 36 л.
106. Судебное разбирательство 24. 04. 65 (иск Л. Чуковской) — на 6 л.
107. Л. Чуковская "Софья Петровна" — на 81 л.
108. Кузнецов "Писатели и КГБ" — на 6 л.
109. Орловский "Редактору газеты Правда" — на 2 л. без №. Открытое письмо жены Григоренко — на 3 л.
110. Скурлатов "Устав нрава" — на 5 л.
111. Якир "Письмо в журнал Коммунист" от 2. 03. 69 — на 8 л.
112. То же, что в 17, — на 6 л.
113. "Ночь смерти Сталина" — на 6 л.
114. То же, что и 42, — на 7 л.
115. Коржавин "Танька" (поэма) — на 6 л.
116. Свицкий "Выступление на партсобрании" — на 9 л.
117. То же, что в 23, — на 3 л.
118. То же, что в 33, — на 3 л.
119. То же, что в 43, — на 6 л.
120. То же, что в 113, — на 7 л.
121. Последнее слово Синявского — на 3 л.
122. То же, что в 42, — на 3 л.
123. То же, что в 19, — на 2 л.
124. "Разделение страстей" — на 6 л.
125. То же, что в 23, — на 1 л.
126. То же, что в 55, — на 1 л.
127. То же, что в 102, — на 1 л.
128. То же, что в 111, — на 7 л.
129. То же, что в 91, — в 2 экз., на 2 л.
130. То же, что в 43, — на 5 л.
131. Сахаров "Размышления о прогрессе, ..." — на 7 л.
132. Выписки из книги Кочетова "Секретарь обкома" — на 4 л.
133. Стихи "Письмо", "Ответ" — на 1 л.
134. "Извлечение" перевод с польского — на 6 л.
135. "Материалы к национальному вопросу" — на 2 л.

136. "Призыв писателей" (статья из "Морнинг Стар" от 10. 06. 67) — на 1 л.
137. То же, что в 29, — на 4 л.
138. То же, что в 29, — на 4 л.
139. Заседание СМосгорсуда от 16. 02. 67 по делу Габай и др. — на 7 л.
140. Померанц "Сколько будет дважды два?" — на 9 л.
141. То же, что в 101, — на 5 л.
142. Замечания по книге "Крутой маршрут" — на 2 л.
143. "С испанского" — у памятника Маяковскому, — на 2 л.
144. Работа IV съезда писателей — на 3 л.
145. Пастернак "Доктор Живаго" (фотокопия), т. 1 — на 130 л.
146. То же, т. 2 — на 154 л.
147. Пименов "Фридрих Ницше. К 110-летию". Рукопись, — на 132 л.
148. Вилин "Братья по разуму" (рукопись пьесы) — на 128 л.
149. То же, что в 71, — на 346 л.
150. Бубнов "Мы размножаемся" — на 28 л., рукопись.
151. Гамон "Мистер Томпкинс в стране чудес", рукопись — на 33 л.
152. То же, что в 43 — в 8 (незаконченных) экз. на 37 л.
153. Пастернак "Детство Люверс" — на 36 л.
154. Пастернак "Воздушные пути" — на 95 л.
155. Пастернак "Письма из Тулы" — на 6 л.
156. Пастернак "Гамлет Принц Датский" и др. — на 18 л.
157. Пастернак "Заметки к переводам шекспировских трагедий" — на 14 л.
158. Пастернак "Сборник рассказов" — на 73 л.
159. Цветаева "Лебединый стан" — на 65 л.
160. Письмо, начинающееся словами: "Дорогой Сережа" и кончающееся: "Отправь сам" (о рецензии на "Мертвую зыбь" в "Новый мир") — на 1 л.
161. Отрывки из "Мастера и Маргариты" М. Булгакова — на 27 л.
162. То же, что в 32, — на 19 л.
163. Платонов "Город Градов" — на 46 л.
164. Горбаневская "Бесплатная медицинская помощь" — на 18 л.
165. Амальрик "Письмо А. Кузнецову" — на 12 л.
166. Статья из "Дейли Уоркер" от 17. 03. 66 — в 2 экз., на 2 л.
167. Статья оттуда же от 15. 02. 66 — на 1 л.
168. Выписки из журнала "Творба" от 24. 09. 69 — на 1 л.
169. "Письмо из Праги. 1969 г. Ноябрь." — на 4 л.
170. "Глагол" — на 3 л.
171. Телесин "Заявление в Прокуратуру" — на 1 л.
172. Протокол допроса Телесина в КГБ 20. 10. 69. — на 3 л.
173. Протокол обыска у Телесина 24. 12. 69 — на 4 л.
174. То же, что в 108, — в 2 экз., на 12 л.
175. То же, что в 34, — в 3 экз., на 3 л.
176. "Экстренная информация" представителей крымско-татарского народа от 06. 06. 69 — в 2 экз. на 7 л.
177. Письмо Касаева в Совет министров — на 3 л.
178. Письмо о Григоренко в "Правду" — на 1 л.
179. То же, что между 109 и 110, — на 2 л.
180. То же, что в 176, — на 3 л.

181. Генерал МВД Климовский "Непреодолимая ценность" — на 1 л.
182. Обращение Священного Синода (1924-28 гг.) — на 1 л.
183. Протокол допроса Пименова по делу Левина в июне 1969 — на 9 л.
184. Альбом для рисования с надписью "В одиннадцатую Революту" — на 19 л.
185. Статья из "Трибуна Люду" от 20. 04. 56. — на 10 л.
186. Ян Котт "Мифология и правда" (1956) — на 12 л.
187. Запись обсуждения книги "Не хлебом единым" в ЛГУ — на 19 л.
188. Записки по симпозиуму, начинающиеся словами: "Разное" и кончающиеся словами: "Слушали-постановили" — на 5 л.
189. Очерк истории Боевой Организации П.С.-Р. — на 28 л., рукопись.
190. "Мысли", "Тетрадь 1" и "Тетрадь 2" — на 32 л.
191. Пименов "Истина ли?" (статья для "Нового мира") — на 8 л.
192. Пименов, копия письма в "Вопросы философии" — на 23 л.
193. Щербакова "Есть ли у нас в школе биология"? — на 7 л.
194. Щербакова "Несколько конструктивных предложений" — на 4 л.
195. Пименов "Обязательно прочтите" (ред. для "Нового мира" о "Мертвой зыби") — в 2 экз., на 8 л.
196. Милан Кундера "Чешская судьба" — на 4 л.
197. Пименов, рецензия на повесть (о самосуде над полицаем) для "Литгазеты" — на 4 л.
198. То же, что в 56, — на 50 л.
199. Б. Шоу "Иллюзии социализма" — на 7 л.
200. Пименов "Я за формализм" (то же, что в 197) — на 11 л.
201. Пименов "Разрешите поспорить", рецензия — на 11 л.
202. Пименов "Против ненаучного подхода к социальным явлениям", письмо в "Известия" осени 1964 — на 12 л.
203. Обсуждение в ИМЭЛ 1941-43 г.г. (часть статьи) — на 4 л.
204. Служба с текстом, начинающийся словами: "Тем не менее" и кончающийся словами: "Защищавших подсудимых" — на 1 л.
205. Стенограмма общемосковского заседания писателей, когда исключали Пастернака, от 31. 10. 58 — на 6 л.
206. Коржавин "Арифметическая басня" — на 1 л.
207. Советско-шведское коммюнике 1956 г. (о Валленберге) на 1 л.
208. Лист со стихами, начинающийся словами: "А он был в городе" и кончающийся словами: "для суда" — на 1 л.
209. "Из истории советской внешней политики. Август 1939." — на 1 л.
210. То же, что в 102, — на 1 л.
211. То же, что в 55, — на 1 л.
212. Приговор по делу Синкевич, Муха, Вайль и др. — в 4 экз., на 4 л.
213. Вилин "Обезьяна в лесу" (пьеса) — на 11 л.
214. То же, что в 43, — на 13 л.
215. То же, что в 74, но машинопись, — на 126 л., в 2 экз.
216. Пименов "Письмо в журнал История СССР" (о Рейли) — на 2 л.
217. Орловский "Письмо в ред. Нового мира" на 1 л.
218. Орловский, 6 писем в редакции — на 17 л.
219. Пименов, 2 письма — на 2 л.
220. Тихонова, "Письмо в Литгазету" от 02. 05. 67 (Баранову о нормах жилплощади) — на 3 л.
221. То же, что в 77, — на 1 л.

222. Лист, начинающийся словами: "Я обращаюсь" и заканчивающийся: "...не оставляйте." (повидимому, письмо Яхимовича) — на 1 л.
223. Заявление Пименова нач. владимирской тюрьмы от 26. 07. 63 и копия заявления Пименова о помиловании — на 2 л.
224. Альбом "Из архивов КГБ" — на 21 л.
225. Конверт с подписью "Рабочий набор агента НТС" — 1 шт.
226. Письма Пименова рукописные — на 4 л.
227. Именной указатель — на 30 л.
228. Материалы Международного коммунистического совещания — на 2 л.
229. Выписка из "Русского Архива" Бартенева (около 1913 г.) — на 3 л.
230. Заметки к истории гражданской войны — на 4 л.
231. Лист с записью, начинающийся словами: "Шел процесс." и заканчивающийся словами "... в исполнение немедленно", — на 1 л.
232. "Из уничтоженной части архива" — на 1 л.
233. Цветаева "Стихи" — на 97 л.
234. Подборка стихов разных авторов — на 36 л.
235. Подборка стихов рукописных — на 48 л.
236. Р. Тагор "Личное" — рукописная книга — на 186 л.
237. Блокнот с записями матери Пименова — на 52 л.
238. Записка, начинающаяся словами: "Сударь" и кончающаяся "Захарова" — на 1 л.
239. Лист с записями адресов Золотухина и др. — на 1 л.
240. Последний лист обложки книги "Изд. Наука" — на 1 л.
241. Записные книжки с адресами — 11 шт.
242. Переписка разная (письма и конверты) — 78 шт.
243. Лихтенберже "Философия Ницше" (франц.) 1898 — 1 шт.
244. Робинсон "Историко-философские этюды" 1908 — 1 шт.
245. С Булгаков "Два града" 1911 — 1 шт.
246. Стенограмма процесса контрреволюционной организации меньшевиков, 1931 — 1 шт.
247. Генкин "По тюрьмам и этапам", 1922 — 1 шт.
248. Лист записи, начинающийся словами: "Как бы вырываясь" и заканчивающийся "... может к Сталину" (видимо, из "В круге первом") — 1 л.
249. Лист с записью, начинающийся словами: "Начальник 01 отдела" и кончающийся: "...Абакумова непосредственно" — на 1 л.
250. Детский печатный набор (ГДР) — 2 шт.
251. Пишущая машинка марки "Мерседес" № 4487 с русским шрифтом, в чехле — 1 шт.
252. Корзинка с латинским шрифтом к этой машинке — 1 шт.
253. Журнал "Былое" №№ 2, 3, 4, 4, 5-6 за 1917; №№ 1, 2, 2, 9, 12 за 1918 — 10 шт.
254. Ницше, собр. соч. т. 11, (нем.), 1906, — 1 шт.

Всего изъято 254 наименования.

(Наименования №№ 5-29, 31-45, 47-66, 68-71, 75-79, 81-144, 149, 152-183, 185-186, 188, 190-222, 227, 233-234, 248-249 исполнены на разных пишущих машинках.)

Понятым были разъяснены их права и обязанности. Из обнаруженных при обыске предметов, указанные в пп. (прочерк) были опечатаны и изъяты следователем. Предметы, указанные в пп. (прочерк) сданы на хранение под расписку (прочерк). При обыске поступили следующие жалобы и заявления — Не поступило. Протокол прочитан — записано правильно.

Обыск начат в 13 час. Окончен в 0.45 мин. 19.04.70.

Подписи.

Копию протокола получил. Подпись.

(Из нарушений УПК при обыске:

1. Не указаны фамилии лиц, производивших обыск, т. е. тех троих в штатском, которые фактически искали, тогда как Филимонов в основном лишь описывал ими даваемое. Филимонов объяснил, что он не знает их фамилий и «постарается узнать». Пименов же за был спросить их документы.

2. Скопом без описи изъят ряд материалов, напр., 226, 241-242, не смотря на настояния Пименова описать их подробно (помещали дворники-понятые, которые устали).

3. Изъятые не были опечатаны вопреки типографскому тексту (ср. последующую утерю коробки с микрофильмами №№ 43-81).

4. Понятые (порознь) отсутствовали по часу-полтора. Одна понятая привела духлетнего сына, который вопил и создавал нервность.)

СУДЬБА ВСХСОНовцев.

Первый номер «Хроники» сообщал о процессе над участниками «Всероссийского социал-христианского Союза освобождения народа» (ВСХСОН). Были осуждены 17 «рядовых» членов ВСХСОН и отдельно четыре «руководителя»: Игорь Вячеславович ОГУРЦОВ, 1937 г. р. — «глава» организации; Михаил Юханович САДО, 1934 г. р. — «начальник отдела личного состава и ответственный за обеспечение безопасности организации»; Евгений Александрович ВАГИН, 1938 г. р. — «начальник идеологического отдела»; Борис Анатольевич АВЕРИЧКИН, 1938 г. р. — «хранитель материалов организации». Им вменялись «измена родине» (ст. 64-я УК РСФСР), т. е. в данном случае «заговор с целью захвата власти в стране»; «антисоветская агитация и пропаганда» (ст. 70 УК РСФСР) и «создание антисоветской организации» (ст. 72 УК РСФСР).

Всего в Мордовские лагеря и Владимирскую тюрьму в 1968 г. прибыло 18 ВСХСОНовцев (трех — Станиславу КОНСТАНТИНОВУ, Ольгерту ЗАБАКУ и Олегу ШУВАЛОВУ — сроки были определены по фактически отбытым во время предварительного следствия).

Теперь в Мордовских лагерях находятся: АВЕРИЧКИН (19 л/пункт, срок 8 лет), ВАГИН (там же, срок тот же): к ним была применена ст. 43 УК РСФСР («назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом»); Николай Викторович ИВАНОВ, 1937 г. р. (17-й, срок 2-6 лет); Владимир Федорович ИВОИЛОВ, 1938 г. р. (19, срок тот же); а также САДО (срок — 13 лет), переведенный из Владимирской тюрьмы в 1969 г. сначала на л/о 17-й, затем на 3 л/о. Теперь он работает в службе в 3 больничной зоне.

Игорь ОГУРЦОВ по приговору суда отбывает первые 7 лет пятнадцатилетнего срока во Владимирской тюрьме, затем — 8 лет в лагере и 5 лет — в ссылке.

В апреле 1971 г. Верховный суд СССР в порядке надзора рассматривал дело руководителей ВСХСОНа и не нашел оснований к смягчению участи ОГУРЦОВА.

Во Владимире находится также Леонид Иванович БОРОДИН, 1938 г. р., переведенный сюда с лагпункта 17-й Дубровлага осенью 1970 г. до конца срока (см. Хронику № 17). Срок его освобождения — 18 февраля 1973 г.

Десять других ВСХСОНовцев: Ю. БАРАНОВ, Г. БОЧЕВАНОВ, Ю. ВУЗИН, В. ВЕРЕТЕНОВ, А. ИВЛЕВ, М. КОНОСОВ, А. МИКЛАШЕВИЧ, В. НАГОРНЫЙ, А. СУДАРЕВ, С. УСТИНОВИЧ освободились в разное время, начиная с 9 июня 1969 г.

Юрий Петрович БАРАНОВ, 1938 г. р., бывший инженер-электрик клиники госпитальной хирургии XI-го ленинградского мединститута, освобожден 10 февраля 1970 г. и, спустя несколько недель после освобождения, внезапно умер.

7 февраля 1971 г. освобожден Михаил КОНОСОВ, отбывший 4-летнее заключение. М. КОНОСОВ, 1937 г. р. до ареста проживал в Ленинграде, был студентом-заочником Московского литературного института и работал слесарем Ленгаза. Печатался в газетах и журналах. В настоящее время КОНОСОВ прописан в гор. Луга Ленинградской обл.

(Хроника текущих событий, № 19)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«Хроника» помещает список (очевидно — не полный) кинофильмов последних лет, не дошедших до массового зрителя.

I. «Арестованные» кинофильмы

1. А. АDOB, В. НАУМОВ. «Скверный анекдот» (по рассказу Ф. Достоевского).

2. С. ПАРАДЖАНОВ. «Фрески киевские». Студия им. Довженко, 1966 (фильм не смонтирован).

3. Г. ПОЛОКА. «Интервенция» (по пьесе Л. Славина). Ленфильм, 1968. Пленки «арестованных» фильмов хранятся в Особом отделе Госкомитета СССР по кинематографии.

II. Фильмы, не вышедшие на экран

4. В. БЫЧКОВ. «Второе пришествие Христа». Беларусь-фильм, 1967 г. Запрещен.

5. М. КАЛИК. «Цена» (по пьесе Артура Миллера). Центральное телевидение, 1969. Запрещен к показу.

6. А. МИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ. «Про Асю Клячину, которая любила, да замуж не вышла, потому что гордая была» («Ася-хромоножка»). Мосфильм, 1966. В 1969 г. фильм переозвучен и под названием «Асино счастье» принят в кинопрокат. На экраны не вышел.

7. А. ТАРКОВСКИЙ. «Андрей Рублев». Мосфильм, 1966. В 1969 г. фильм продан за границу и получил премию во Франции. В 1970 г. председатель Госкомитета по кинематографии А. РОМАНОВ подписал приказ о тиражировании фильма. На экраны не вышел.

8. Л. ПЧЕЛКИН. «Поименное голосование» (о IV Съезде Советов, ратифицировавшем Брестский мир. Сценарий М. ШАТРОВА, в роли Ленина — М. УЛЬЯНОВ). Центральное телевидение, 1967-69. Запрещен к показу.

9. Л. ПЧЕЛКИН. «Один час в кабинете Ленина» (сценарий М. ШАТРОВА, в роли Ленина — М. УЛЬЯНОВ). Центральное телевидение, 1967-69. Запрещен к показу.

III. Фильмы «с ограничением»

10. Т. АБУЛАДЗЕ. «Мольба». Грузия-фильм, 1968. На столичный экран не вышел.

11. В. ДЕРБЕНЕВ. «Рыцарь мечты». Молдова-фильм, 1969. На столичный экран не вышел.

12. А. ГРИКАВИЧЮС-ДАУСА. «Чувства». Вильнюсская киностудия, 1969. В Москве шел три дня в одном кинотеатре.

13. Л. ОСЫКА. «Каменный крест». Студия им. Довженко, 1968. На столичный экран не вышел.

14. С. ПАРАДЖАНОВ. «Саят Нова». Арменфильм, 1968. В 1969 г. выпущен на экран в Армении под названием «Цвет граната». Принят к показу на всесоюзном экране. На столичный экран не вышел.

15. И. ТАЛАНКИН. «Дневные звезды» (по О. Берггольц). Мосфильм, 1967. Шел три дня в трех кинотеатрах Москвы и 3 дня в одном кинотеатре Ленинграда.

IV. Фильм с «приключениями»

16. М. КАЛИК. «Любить...» Молдова-фильм, 1968. Фильм был сокращен без ведома режиссера и в искаженном виде выпущен на провинциальный экран. После отказа Госкомитета по кинематографии снять фамилию режиссера с титров (на чем настаивал автор), Калик безуспешно пытался привлечь Госкомитет к ответственности. Из 15000 метров отснятой для фильма хроники в прокатный вариант вошло менее 1000 метров, и 900 метров остались у режиссера. Остальные 13000 метров арестованы. За демонстрацию собственного варианта фильма «Любить...» против КАЛИКА было возбуждено уголовное дело. (См. Хронику № 18).

(Хроника текущих событий, № 19)

Борьба за Церковь

ОТРЕЧЕНИЕ ЕПИСКОПАТА ОТ УПРАВЛЕНИЯ

К о п и я.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
МИТРОПОЛИТУ ПИМЕНУ,
ПАТРИАРШЕМУ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЮ

от православной мирянки
Дроздовой Татьяны Гавриловны,
проживающей по адресу:
Ленинград, С-29,
проспект Елизарова, 20, кв. 53

ЖАЛОБА

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!

В Вашем лице я обращаюсь к высшей церковной власти и приношу присягу, что буду ниже писать правду и только правду.

Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ленинграду и области ЖАРИНОВ Г. 18 января с. г. вызвал меня и страшал, чтобы я не писала больше жалоб в государственные органы по поводу расхищения церковных средств. По его речам выходит, что средства эти вообще не имеют хозяина. При этом он с некоторым жаром заявил мне дословно так: «ВАШ ЕПИСКОПАТ САМ ОТРЕКСЯ ОТ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОБОРЕ 1961 ГОДА». И он указал мне на № 8 Журнала Московской Патриархии того же года.

Журнала я не читала, но на собственном тяжелом опыте убедилась, что это значит. ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, мне Вас не судить, Вам с Вашей высоты виднее, и это дело Вашей архиерейской совести — какое это было «ОТРЕЧЕНИЕ». Дело моей совести рассказать Вам правду — что происходит на деле в приходе, где я работала церковной уборщицей. Я буду писать дальше о храме во имя Святыя Троицы, который в просторечии называют храмом «КУЛИЧ И ПАСХА», в Невском районе Ленинграда. Храм маленький, но с огромным притоком нагодных по-

жертвований, потому что он один на весь район с населением в несколько сот тысяч человек.

Начну в восходящем порядке описывать — кто же хозяйничает в этом приходе, в чью пользу «ОТРЕКСЯ ЕПИСКОПАТ», как выразился уполномоченный ЖАРИНОВ. Так называемая «Двадцатка» представляет собою не живую общину верующих, а БУМАГУ — список полумертвых душ. За все ШЕСТЬ ЛЕТ на моей памяти эта так называемая «Двадцатка» ни разу не собиралась. Ревизионной комиссии, достойной этого наименования, не существует. Председателем этой комиссии числится добрый старик, который сам заявляет, что назначил его на эту должность церковный староста и что ни к какой ревизии он не способен (двухклассная начальная школа). Дальше в восходящем порядке идет так называемый Исполнительный Орган, который действительно и распоряжается церковными средствами.

Кто эти люди? О старосте БОРИСОВЕ мне говорить неловко, потому что некогда он был ко мне добр, и потому что он умирает. Его помощник КАРЦЕВ никем на эту должность не выбран, да и не мог бы быть выбран, потому что представляет собою аморальное существо. Неверующий человек — он в расцвете лет бросил гражданскую работу, чтобы руководить церковным хозяйством. Третий член церковной администрации казначей РЕТИНСКАЯ тоже никем не выбрана, да и не могла бы быть выбрана эта дама, потому что она — не крещеная. Не поймите меня превратно — мы уважаем людей неверующих, заслуживающих уважения. Но какой отвратительный цинизм в том, что не крещеный человек руководит, например, крещением детей. «ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТА!» — строго командует она родителям. Не могу умолчать — бывали случаи, когда родители потом приходили и в сердцах называли нашу церковь «продажной конторой», потому что имена их становились известны.

Эти откровенно не-церковные люди не стеснялись заявлять, что «назначены Исполкомом» и что ими «руководит Уполномоченный». Они совсем не интересуются церковным пением и надлежащим обслуживанием верующего народа. Всякую заботу об этом они встречают с враждебной подозрительностью. Главное их занятие — организованное расхищение церковных средств. Контрольные талоны они сами нумеруют — сами себя контролируют. Одни и те же талоны используются не один раз и стоимость их присваивается. Невостребованные просфоры пускаются во второй оборот без оприходования. Наглядно Вы можете пред-

ставить себе это так. Получается с верующих, например, 1000 рублей, в алтарь посылают 1000 поминовений, а из 1000 талонов — 500 уже были в употреблении. В результате приходится 500 рублей, а другая половина, что называется, мощным потоком уходит «налево»... В своих жалобах я приводила достаточно конкретных фактов хищений, которые в любой другой системе вызвали бы немедленную ревизию. Но здесь — ПОЛНАЯ БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ.

С моей первой жалобой я обратилась к Ленинградскому митрополиту Преосвященному Никодиму. Мне представлялось, что дело церковного руководителя как-то вмешаться в церковное безобразии, что не к лицу нам, верующим, выносить эту грязь на суд гражданских властей. Увы, оказалось, что митрополит в своем церковном деле распорядиться не властен. Однажды я носила в алтарь поминовения, отнесла 198 записок на 198 рублей — и вдруг случайно обнаружила, что оприходовано только 98 рублей. Мне стало дурно, пошла носом кровь. Немедленно я поехала к митрополиту, написала ему про это дело. Но он меня не принял — сослался, что занят с японской делегацией. Но вот делегация уехала — а 100 рублей так и ушли по тому же направлению «налево»... Это я привожу один только случайно обнаруженный факт систематического воровства. Между тем есть очень простой способ всеохватывающей ревизии. Взять под надежный контроль хотя бы один день крупного поступления пожертвований — например, Родительскую. Полученную ВЕРНУЮ сумму сравнить с оприходованием за этот же день прошлого года. Разница покажет такую огромную сумму хищений, что сразу для всех все станет ясно. Но митрополит даже такой простейшей ревизии своего же прихода назначить не властен.

Пришлось скрепя сердце обращаться к гражданской власти. Заместитель Уполномоченного ВАСИЛЬЕВ притворился, что это его совсем не касается. Я спросила: «КАКОВЫ ЖЕ ВАШИ СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ?». Он ответил, что его дело — «СЛЕДИТЬ ЗА СВЯЩЕННИКАМИ, КАК ОНИ СЕБЯ ВЕДУТ, КАК СЛУЖАТ»... Он взял на себя функции митрополита. Ну, положим, ему в каких-то там своих видах это нужно. Но в данном-то случае это приобретает совсем другое значение. Дело в том, что духовенство отлично понимает, в чем дело, когда в алтарь приносят, например, 200 записок, а в сопроводительной справке написано 100, или когда в который раз используются вчерашние талоны. Но священники терроризованы — они боятся не то что

выразить недоумение, но даже показать вид, что недоумевают, потому что завтра же гражданскому митрополиту донесут, что не так они себя ведут, не так служат — и они будут сняты с регистрации. Прошу иметь в виду, что я пишу чистую правду. Далее я спросила ВАСИЛЬЕВА: «Но ведь там же совершается ВОРОВСТВО, нарушается Закон (речь шла еще и о нигде немислимой переработке сверхурочных часов у церковных уборщиц). КТО ЖЕ ДОЛЖЕН В ЭТО ВМЕШАТЬСЯ?». Он ответил: «Только не уполномоченный. Обращайтесь в вашу Ревизионную комиссию, в Двадцатку. НИКТО ДРУГОЙ ВАС СЛУШАТЬ НЕ БУДЕТ». Отлично зная, что Ревизионной комиссии фактически не существует, он послал меня по заведомо ложному адресу. Тогда я спросила: «ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ ТРЕБУЕТЕ ОТ НИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОТЧЕТЫ, ПОЧЕМУ ОНИ НА ВАС ССЫЛАЮТСЯ, ПРИЕЗЖАЮТ ОТ ВАС И ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО С УПОЛНОМОЧЕННЫМ У НИХ ВСЕ СОГЛАСОВАНО?». В крайнем раздражении он ответил: «ВЫ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЕТЕ»... Кончилось тем, что он швырнул мне мою жалобу.

Я обратилась в Прокуратуру, обвинила ВАСИЛЬЕВА в бездействии власти. Меня вызвала Прокурор МИХАЙЛОВА. Вместо рассмотрения жалобы по существу она принялась за отвлекающие расспросы о том, есть ли у меня пишущая машинка, и сама ли я на ней печатаю. Я не стала объяснять ей того, о чем не могу говорить без слез: что у меня незаконченное высшее образование и несчастная судьба — незаконный арест (реабилитирована в 1958 году), тюрьма, лагерь и другие печально известные обстоятельства, которые давно уже заставили меня завести корову, а потом взяться за тряпку уборщицы. Затем Прокурор МИХАЙЛОВА повела антирелигиозную пропаганду, стала насмехаться над нашей верой и развивать странную теорию, что «ДЕНЬГИ В ХРАМ НЕСУТ ДУРАКИ» и что поэтому «ЖАЛЕТЬ ЭТИХ ДЕНЕГ НЕЧЕГО». Она посоветовала мне уходить с церковной работы и заявила, что письменного ответа не будет. Однако ответ вскоре последовал — это было извещение Прокуратуры, что жалоба моя переслана тому, на кого я жаловалась — «ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПРИНЯТИЯ МЕР». Но проверки и принятия мер не последовало, а только усилились жестокие угрозы администрации меня уволить.

Не стану задерживать Вашего внимания описанием всех мытарств, которые потом я претерпела, укажу только самые существенные моменты. Обнаружилось, что при Райисполкоме есть

Наблюдательная комиссия по церковным делам, существование которой ВАСИЛЬЕВ от меня скрыл. Никаких мер эта комиссия не приняла. Председатель Райисполкома БОЛЬШЕШАЛЬСКИЙ в разговоре со мной пустился в насмешки насчет «попов и дяконов» и провозгласил все ту же удивительную теорию, что «ПОПОВСКИЕ ДЕНЬГИ» воровать чуть ли не похвальное даже дело. Поразительно, как эти государственные работники не хотят понять, что воровство церковных денег — это расхищение будущего ФОНДА МИРА, то-есть общественной собственности. Моя жалоба на имя Генерального Прокурора в конце концов вернулась к тому же Уполномоченному — опять «ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПРИНЯТИЯ МЕР», и опять проверки и принятия мер не последовало. В мае прошлого года я была уволена якобы «по сокращению штата», и с тех пор вот уже десятый месяц тянется судебное дело о восстановлении меня на работе. Уволить человека за полгода до выхода на пенсию — это было злое, жестокое дело, и это была не только месть за критику, но и способ удалить единственного грамотного свидетеля хищений, которые, у меня есть основания утверждать это, продолжают и поныне, и этому не видно конца.

В этих мучительных хлопотах с особенной остротой выявилась вся юридическая несообразность так называемого «ОТРЕЧЕНИЕ ЕПИСКОПАТА». Иногда судебные работники по неведению посылали меня к вышестоящей церковной инстанции; но оказывалось, что инстанции этой не существует. В судебном заседании 27 июня прошлого года церковному администратору КАРЦЕВУ был в упор задан вопрос — кому же он подчиняется, кто установил ему оклад, кто утверждает штаты работниц. Он пытался было сослаться на митрополита, но я уличила его во лжи, и он заявил, что все это «согласовывается с уполномоченным». Таким образом выяснилось, что фактически управляет церковными приходами не митрополит, а Уполномоченный. Естественно возникает вопрос — почему Уполномоченный не выполнил двукратного предложения Прокуратуры о ПРОВЕРКЕ И ПРИНЯТИИ МЕР? Если он отвечал Прокуратуре, что проверка произведена, то это неправда, потому что единственно надежная проверка — это РЕВИЗИЯ, о которой я прошу, и ревизии этой не сделано. Если он отвечал Прокуратуре, что устроить проверку он не имеет права, то это опять неправда, потому что для всех ясно, что церковные администраторы считают его единственным своим начальником. Нам его не учить, но мы вправе изумиться столь странному непротивлению злу.

Моя последняя жалоба была адресована Комиссии Советского Контроля. По поводу этой жалобы и вызывал меня Уполномоченный ЖАРИНОВ. Никаких мер принимать он не намерен, а только страшал меня, чтобы я больше никуда не жаловалась. Но у меня есть еще самый верный адрес — моя церковная власть.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!

Я наверное знаю, что есть приходы, где церковное хозяйство — вполне чистое дело, и где так называемое «ОТРЕЧЕНИЕ ЕПИСКОПАТА» ничего в этом отношении не изменило. Но в данном случае, где мне довелось так много потерпеть лично, мы имеем два горестных факта:

1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕССИЛЬНА ПРОТИВ СИСТЕМЫ ЦЕРКОВНОГО ВОРОВСТВА.

2. Решающей ПРИЧИНОЙ этого является вот это самое «ОТРЕЧЕНИЕ ЕПИСКОПАТА ОТ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» — о чем толковал мне Уполномоченный ЖАРИНОВ. Была бы у Ленинградского митрополита церковная власть — он прислал бы церковного ревизора. Воровство было бы моментально раскрыто и на будущее надежно пресечено. Была бы организована живая церковная община, избраны были бы администраторы и контролеры из верующих грамотных, честных людей.

Главное же — не стало бы этой мучительной НЕПРАВДЫ, которая столь неуместна в ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ. Преосвященный Никодим устраивает торжественные службы, и это бывает иногда очень хорошо; но я чистосердечно исповедаюсь Вам, что воспринимаю это с двойственным чувством, когда вспоминаю, что митрополит наш находится в фальшивом положении, что фактически он в Церкви не властен, что он только играет роль митрополита в пышных церемониях, а на самом деле вместо него его приходами тайно управляет митрополит гражданский. Преосвященный Никодим — деятель международный, он выступает против социальной несправедливости, участвует в борьбе за мир, и это прекрасно. Но вот у самого-то у него в епархии систематически расхищается ФОНД МИРА. У самого-то у него в Ленинграде церковные уборщицы работают, как это было со мною, по 33 (тридцать три) часа без перерыва и без законного отдыха, и он не может меня защитить, когда я в моем полнейшем одиночестве выступаю за правое, церковное дело. У него в епархиальной столице — приход, который превращен в вонючее гнездо

антицерковных деятелей, и он не может ничего с этим поделать, потому что им-то и передано управление церковными делами в результате так называемого «ОТРЕЧЕНИЯ ЕПИСКОПАТА». С этим не может примириться и никогда не примирится церковная совесть.

Ваше Высокопреосвященство!

Покорнейше прошу Вас употребить Ваше влияние — назначить независимую компетентную ревизию прихода „Кудлич и пасха“ в Ленинграде и вызвать меня тогда для важных показаний.

Покорнейше прошу Вас также непременно ознакомить с этой моей жалобой православной мирянки Преосвященных членов Священного Синода и всех членов предстоящего церковного Собора. Это с моей стороны не дерзость, а побуждение совести, потому что в этом деле как нельзя более ясно отражается та глубокая принципиальная неправда, которая заключается в так называемом „отречении Епископата от церковного управления“. Вы — преемники святых Апостолов, Преосвященные иерархи, мы Вас чтим. Так и будьте же иерархами, ради Христа — не отрекайтесь от церковной власти, которую Он Вам доверил.

Т. Дроздова (подпись).

31 января 1971 года.

С подлинным верно

ЕПИСКОПАТ ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ

В Горьком и Наро-Фоминске (Московская обл.) верующим неоднократно отказывали в просьбе зарегистрировать их как религиозное общество и открыть в городе православный храм, хотя по действующему закону «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. верующие, числом не менее 20-ти, вправе составить религиозное общество, зарегистрировать его в местном Совете, после чего построить (или получить от Совета бесплатно) молитвенные здания и собираться там, уже не уведомляя об этом власти. «Отказ в регистрации допустим лишь в том случае, если вероучение и исполнение обрядов, а также и иная деятельность сопряжена с нарушением законов или с посягательством на личность и права граждан» («Известия» от 29 августа 1966 г., интервью председателя Совета по делам религии В. А. Куроедова).

В обоих случаях просьбу об открытии церкви подписало до 1500 жителей, — местные органы власти и все высшие инстанции свои отказы не мотивировали.

Одна из жительниц Наро-Фоминска подала в суд на Совет по делам религии при Совете Министров СССР. Нарсуд Ленинского р-на Москвы 27 марта 1970 г. оправдал действия Совета. В наро-фоминской газете «Знамя Ильича» 6 февраля 1971 г. напечатана статья «Нечистое дело», осуждающая стремление «околорелигиозных шарлатанов» открыть церковь в городе (хотя в последние годы речь шла лишь о регистрации верующих).

В Горьком, после неудачных попыток послать жалобу во Всемирный Совет Церквей и в ООН по почте, была предпринята попытка передать ее через западных туристов. Затем последовали репрессии против авторов жалобы: многочасовые допросы в КГБ (их вел О. П. Лабутов), увольнение с работы, лишение допуска, отказы в предоставлении жилья. Обширный «документальный рассказ» об авторах жалобы «Чек на 7 000» поместила в декабре 1970 г. газета «Горьковский рабочий». Были сняты с работы настройщик Вениамин Козулия, инженеры Галина Вахутина и Зоя Жебракова, преподаватель университета Валентин Сазанов и его мать, машинистка; исключен из университета студент 5 курса Валерий Ванцев; понижены в должности слесарь Виталий Клементьев, инженер Пелагея Трофимова. Архиепископ Флавиан осудил с амвона стремление верующих открыть церковь.

(Хроника текущих событий, № 20)

СУД НАД ЛЕВИТИНЫМ (КРАСНОВЫМ)

Восьмого мая по отношению к Краснову, находящемуся под следствием на свободе, была изменена мера пресечения: он был взят под стражу.

19 мая 1971 г. Московский Горсуд в помещении Люблинского райсуда слушал дело по обвинению церковного писателя А. Э. Краснова-Левитина (ст. 190-142 ч. 2 УК РСФСР). Судья — Богданов, прокурор — Бирюкова, защитник — А. А. Залесский.

Перед зданием суда собралась группа друзей и родственников А. Э. Краснова. В зал были допущены только мачеха — Г. А. Левитина и акад. А. Д. Сахаров.

Обвинительное заключение содержало много цитат из произведений Краснова, на основании которых строилось обвинение в клевете на советский государственный и обществ. строй и в том, что автор «подстрекал служителей церкви нарушать закон об отделении церкви от государства» (ст. 142 УК РСФСР). А. Э. Краснов-Левитин обвинялся также в том, что в 1968-69 гг. он подписал ряд обращений и петиций, из которых особо были выделены Письмо Будапештскому Совещанию компартий и Обращение в ООН в мае 1969 г.

Краснов-Левитин полностью не признал свою вину, утверждая, что доводы обвинения основаны на произвольном и неверном толковании отрывков его произведений. Он разъяснил, что в его работах содержится критика отдельных явлений, а не клевета на строй, что он высказывал свои действительные мнения, а не заведомо ложные измышления. Краснов сообщил суду, что некоторые цитаты, приведенные в обвинительном заключении в качестве примеров «антисоветской клеветы», — это тексты Священного Писания.

Свидетели: священники Г. Якунин, В. Бороздинов, иеромонах Псково-Печерского Монастыря о. Агафангел (Догадин), В. Лашкова, В. Берестов, Е. Кушев, В. Шавров, Л. Кушева и др. показали, что читали работы Краснова и не видят в них ничего клеветнического.

Прокурор Бирюкова, повторив обвинительное заключение, просила для Краснова-Левитина наказания — 3 года ИТЛ общего режима.

Адвокат А. А. Залесский, опровергнув пункт за пунктом все доводы обвинительного заключения, предоставил суду сделать вывод из его защитительной речи.

В последнем слове А. Э. Краснов-Левитин сказал:

«...Я верующий христианин. А задача христианства не только в том, чтобы ходить в церковь. Она заключается в воплощении заветов Христа в жизнь. Христос призывал защищать всех угнетенных. Поэтому я защищал права людей, будь то почаевские монахи, баптисты или крымские татары, а если когда-нибудь станут угнетать убежденных антирелигиозников, я стану защищать и их... Ни один здраво-мыслящий человек не считает, что критиковать отдельные положения законов, вносить поправки к ним — является преступлением. Это демократическое право каждого гражданина завоевано в трудной борьбе за свободу английской, французской, Октябрьской революциями... Я писал правду, одну правду. Все в моих произведениях основано на достоверных фактах и соответствует действительности... Я считаю, что данная речь прокурора является позором для советского суда...»

(Справка: в «самиздате» распространено последнее слово Краснова-Левитина, содержащее некоторые фактические неточности).

Суд в приговоре исключил из обвинения 3 эпизода (статью о почаевских монахах, о водосвятии, существующее в отрывках письмо в ТАСС), перевалифицировал обвинение со ст. 142 ч. 2 на ст. 142 ч. 1 и приговорил А. Э. Левитина (Краснова) по ст. 142 ч. 1 к 1 году исправительно-трудовых работ по месту работы с вычетом 20% зарплаты и по ст. 190-1 к 3 годам лагерей общего режима.

Инициативная Группа по защите прав человека в СССР обратилась в Комиссию Прав Человека ООН, Папе Павлу VI и к Поместному Собору Русской Православной Церкви. В обращении Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин характеризуется как человек высокой морали, убежденный противник всякого рода насилия и политического экстремизма, его оружие — открытое слово, обращенное к совести. «Решение Московского Горсуда невозможно рассматривать иначе, как еще один акт произвола властей в

отношении инакомыслящих, в отношении верующих, в отношении борцов за права человека в нашей стране».

Обращение поддержали 30 человек.

*
**

Академик А. Д. Сахаров обратился к Председателю Верховного Совета СССР Подгорному с просьбой облегчить участь Краснова. «В статьях Левитина, инкриминированных ему судом, — пишет Сахаров, — фактически выражается естественная для верующего точка зрения о моральном и философском значении религии, высказываются мнения по актуальным внутрицерковным вопросам, а также обсуждаются с лояльных и демократических позиций проблемы свободы совести... Я присутствовал на суде и убежден в отсутствии нарушения закона во всех деяниях Левитина».

*
**

В Самиздате появилось открытое письмо Геннадия Смирновского (Москва) «Под закрытыми воротами Фемиды» — репортаж с места суда над Красновым-Левитиным.

*
**

В июне, еще до утверждения приговора кассационной инстанцией, Краснов был переведен из Бутырской в Краснопресненскую пересыльную тюрьму и зачислен в хозяйственную службу.

(Хроника текущих событий №)

ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

Из литературного архива

Марина ЦВЕТАЕВА

НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ *)



Марина Цветаева, 1911. Коктебель.
(Снимок воспроизводится впервые)

*) Эти четырнадцать стихотворений М. Цветаевой составляют несомненно законченный цикл о загоревшейся, но не совершившейся любви.

Так и буду лежать, лежать
Восковая, да ледяная, да скорченная.
Так и будут шептать, шептать:
— Ох шальная! ох, чумная! ох, порченная!

А монашки-то — читать, читать,
А монашки-то вздыхать, вздыхать:
— Святой Боже! Святой Боже! Святой Крепкий!

Не помилует, монашки, — ложь!
Захочу — хватъ нож!
Захочу — и гроб в щепки!
Да нет — не хочу —
Молчу.

Я тебе, дружок,
Я слово скажу:
Кому — вверху гулять,
Кому — внизу лежать.

Хочешь — целуй
В желтый лоб,
А не хочешь — так
Заколотят гроб.

Дело такое:
Стала умна.
Вот оттого я
Ликом темна.

2 мая 1917 г.

— Что же! коли кинут жребий —
Будь! любовь!
В грозовом — безумном — небе —
Лед и кровь.

Жду тебя сегодня ночью
После двух:
В час, когда во мне рокоцут
Кровь и дух.

13 мая 1917 г.

И призывал тогда князь света — князя тьмы,
И держал он князю тьмы — такую речь:
Оба княжим мы с тобою. День и ночь
Поделим поровну с тобой.

Так чего ж за нею белым днем
Ходишь, бродишь, речь заводишь под окном?

Отвечает Князю света — Темный князь:
— То не я хожу, брожу, Пресветлый, нет!
То сама она в твой белый Божий день
По пятам моим гоняет словно тень.

То сама она мне вздоху не дает, —
Днем и ночью обо мне поет.

И сказал тогда Князь света — Князю тьмы:
— Ох, великий ты обманщик, Темный Князь!
Ходит-бродит, речь заводит, песнь поет?
Ну, посмотрим, Князь темнейший, чья возмет?

И пошел тогда промеж князьями спор.
О сию пору он не кончен, княжий спор.

4 июня 1917 г.

И в заточеньи зимних комнат
И сонного Кремля —
Я буду помнить, буду помнить
Просторные поля.

И легкий воздух деревенский,
И полдень, и покой, —
И дань моей гордыни женской
Твоей слезы мужской.

27 июля 1917 г.

Из Польши своей спесивой
Принес ты мне речи льстивые,
Да шапочку соболиную,
Да руку с перстами длинными,
Да нежности, да поклоны,
Да княжеский герб с короной.
А я тебе принесла
Серебряных два крыла.

20 августа 1917 г.

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен — оттого что молод,
Нежен — оттого что пуст.

Но увы! На этот детский
Рот — Ширази лепестки!
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен — оттого что молод,
Нежен — оттого что пуст.

Но увы! на этот детский
Рот — Ширази лепестки! —
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

23 августа 1917 г.

Без Бога, без хлеба, без крова,
— Со страстью! со звоном! со славой! —
Ведет арестант чернобровый
В сибирь молодую жену.

Когда-то с полуночных палуб
Взирали на Хиос и Смирну
И мрамор столичных кофеен
Им руки в перстнях холодил.

Какие о страсти прекрасной
Велись разговоры под скрипку!
Тонуло лицо чужестранца
В египетском тонком дыму.

Под низким рассеянным небом
Вперед по сибирскому тракту
Ведет господин чужестранный
Домой — молодую жену.

3-го сентября 1917 г.

Как рука с твоей рукой
Мы стояли на мосточку.
Юнкерочек мой морской
Невысокого росточку.

Низкий, низкий тот туман,
Буйны, злы морские хляби.
Твой сердитый капитан,
Быстрый, быстрый твой корабль.

Я пойду к себе домой,
Угощусь из смертной рюмки.
Юнга, юнга мой,
Юнга, морской службы юнкер!

22 декабря 1917 г.

Хочешь знать мое богатство?
Скакуну на свете — скачется,
Мертвым — спится, птицам — свищется.
Юным — рыщится да ищется,
Неразумным бабам — плачется.
— Слезный дар — мое богатство!

Май 1918 г.

Я — есмь. Ты будешь. Между нами — бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться — тщетно.
Нас десять лет, как сто тысячелетий
Разъединяют. — Бог мостов не строит.

Будь! — это заповедь моя. Дай — мимо
Пройти, дыханьем не нарушив роста.
Я есмь. Ты — будешь. Через десять весен
Ты скажешь: — есмь! а я скажу: — когда-то...

24 мая 1918 г.

Дороги хлебшек и мука!
Кушаем дырку от кренделька.
Да, на дороге теперь большой
С коробом — страшно, страшней —
 с душой!
Тыщи — в кубышку, товар — в камыш...
Ну, а души-то не утаишь!

24 мая 1918 г.

Не по нраву я тебе — и тебе
И тебе еще — и целой орде.
Пышен голос мой — да мало одеж!
Вышла голосом — да нрав нехорош!
Полно, Дева-Царь! Себя — не мытарь!
Псарь не жалует — пожалует царь!

1 августа 1918 г.

Ты мне чужой и не чужой,
Родной и не родной, —
Мой и не мой! Идя к тебе
Домой — я „в гости“ не скажу,
И не скажу домой.

Любовь — как огненная печь:
А все ж и кольцо — большая вещь,
А все ж и алтарь — великий свет.
— Бог — не благословил!

13 августа 1918 г.

Проще и проще
Пишется, дышется.
Зорче и зорче
Видится, слышится.

Меньше и меньше
Помнится, любится.
— Значит уж скоро
Песок и рубище.

18 августа 1918 г.

ДВА ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ *)



(*) Вероятно эти два отрывка следует отнести к "веренице четверостиший", которая составляет один из разделов последней книги Анны Ахматовой *Бег времени*. Первое — неиздано. Второе появилось в статье Ахматовой *Слово о Пушкине* (Собр. Соч. т. II, стр. 276), но без указания что оно принадлежит самой Ахматовой.

1.

Что войны, что чума? Конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен,
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?

2.

За меня не будете в ответе.
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинять.

МАКСУ ¹⁾

Ты нравишься мне весь, с своею львиной гривой,
И тайной яростью невыраженных слов,
В теснине тот поток, и взрывный и бурливый,
Что точит камень скал, чтоб литься из основ.

Ты к нам пришел сюда от чуждых берегов,
Твой лик не совмещу с твоей родною ивой,
В Элладе ведал ты, за сонмами веков,
Ристалище и лавр блестяще-горделивый.

Люблю тебя за то, что твердою киркой
Ты разрываешь глубь, а камень дорогой
С другим поставишь в ряд — рукою хладнокровной.

Но более всего, в людской пустыне ровной,
Ценю в тебе, что ты душой своей упряма
И рядом с торжищем всегда построишь храм.

К.

10 марта. День. Солнце. Первый гром.

(Из записной книжки К. Д. Бальмонта 1914-1915 г.)

(1) Сонет посвященный Максимилиану Волошину. Печатается впервые.



М. ВОЛОШИН (1878-1932)

ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ *)

Не на троне — на Ее руке, —
Левой ручкой обнимая шею, —
Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует... Не мею,
Нет ни сил, ни слов на языке...
Собранный в зверином напряженьи
Львенок-Сфинкс к плечу Ее прирос,
К Ней прильнул и замер без движенья,
Весь — порыв, и воля, и вопрос.
А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит

*) Незданное стихотворение, появившееся в машинописном подпольном советском журнале **Вече**, (№ 1, 1971), откуда и перепечатано. Написано оно в годы Революции. Фотография воспроизводится нами впервые.

В мировые рдеющие дали,
Где престол пожарами повит.
И такое скорбное волнение
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженье.
Кто разверз озера этих глаз?
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец,
Не печерский темный богомаз.
В раскаленных горнах Византии
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений,
Явленных искусством, — он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, —
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междоусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой над Русью вознесенный
В тьме веков указывал нам след
И в темнице — выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Воинов в сверканьи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.
Не погром ли чувствуя Батыев —
Степь в огне и разоренье сёл —
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол.
И ушла с Андреем в Боголобов
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
А когда Железный-Хромец предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?

От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий...
Цепкие сбиратели земли...
Здесь в Успенском — в сердце стен Кремлевских
Умилась на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой.
Простирались старцы и черницы,
Дымкие сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...
Черной смертью и кровавой битвой
Девичья светилась пелена,
Что осьмивековой молитвой
Всей Руси в веках озарена.
И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На дорогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер.
Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи своих святынь,
И ушла Предстательница-Дева
Из своих поруганных твердынь.
А когда кумашные помоста
Подняли перед церквами крик, —
Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный свой Лик.
Светлый Лик Премудрости-Софии,
Заскорuzлый в скаредной Москве,
А в Грядущем — Лик самой России —
Вопреки наветам и молве.
Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль и не цветут цветы:
Нет в мирах слепительнее чуда
Откровенья вечной красоты!

Посыл А. И. Анисимову

Верный страж и ревностный блюститель
Матушки Владимирской, — Тебе —
Два ключа: Златой в Ее обитель,
Ржавый — к нашей горестной судьбе.

Воспоминания детства^{*)}

II

ПРИРОДА

1923. 8/IV.

У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тётю Юлю. Хотя и старше меня, она по складу своего характера откликалась на многие чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила той жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение — то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом её жгучей и единственной любви. Но я угадывал её сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сёстры матери впоследствии мне говорили, что тётя Юля была сантиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тётей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их — там; в них — старость и вместе духовная дряхлость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полу-сознательное в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности.

^{*)} Начало этой никогда не печатавшейся работы см. в **Вестнике** № 99, стр. 49. Полный текст **Воспоминаний детства** выйдет отдельной книгой.

Это какая-то бескрылость, да впрочем до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут они, все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свой долг как нечто само собою разумеющееся. Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием, и умеют это делать. Однако это — именно теплота, в ней что-то слепое. Действие её иссякает почти тут-же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого, теплого, гнезда видишь горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тётя Юля понимала это влечение к свету.

Может быть, если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тёте вероятно имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.

Но впрочем я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как-будто прямо противоположное.

Я позволял любить себя отцу, испытывал полу-мистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что-ли, пред матерью, имел приязнь к тёткам и вообще ко многим людям; любил же, нежно и страстно, лишь тётю Юлю, однако и её — не как её, т. е. без внутренней мотивированности, а за её отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимной любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я в сущности может быть никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.

Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное — сплошная порядочность и чистоплотность. Тут всё подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма: всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних. А со стороны окружающих — признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне го-

ворили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Ф. У папы нередко срывалось искреннее восхищение тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом её характера и пред редкою красотой её глаз, а в его поддразниваниях тётки Сани, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле всё было пропитано этим, или я так воспринимал это, — в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении, нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением.

Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И всё-же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, — несомненно силою личного признания.

Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намёк не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, — что я говорю услышать, несомненно подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, не важно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я то во всяком случае воспринимал его так. Может быть взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеялись чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно ис-

ключен из домашнего словаря: служба, начальство, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужа и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д. и т. д. — всего не перечислишь, — эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия, — кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полу-приличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутьё для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое, — это конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но в сущности — почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное — это деление абсолютное, и сделать неприличное — хуже, чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, — сказать его. Плохое дело, плохая речь неприличный поступок, неприличное слово — такова градация недопустимого: хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее, — ничего не может быть, кроме одного: **мысли** о нем. В ночной темноте, закрывшись с головой одеялом, — и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово — приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.

Но, повторяю, неприличное — это не то что бы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить её. Скорее всего оно сродни мистическим понятиям, оно — табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но конечно никакие силы в мире не подвинули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично, и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение словесного табу, малейшее при-



открытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдным, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно подглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, — доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака матери Платон, но никак не внятыми, да еще вдобавок сообща, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного — я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, — и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг

Портрет П. А. Флоренского, работы Н. Я. Симонова-Ефимова, начало 20-х годов, (воспроизводится впервые).

слов-табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более обще-человеческое. Мне кажется еще, не эти-ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?

Во всяком случае, в нашей семье **были** какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один — нравственная pruderie, а другой — такое же как у меня ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.

Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло её, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения — бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна, и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного.

Вообще, весь мир построен как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественно-научном: так взрослые могут интересоваться сиаемскими близнецами и, скорее, боа констриктором. Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жаловании, или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить — всё равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если-бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как не-человеков, хотя и в человеческом образе. Грубое отвращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы — право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.

Всё что может быть неблагодарного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, чем педагоги желают сделать для ребенка мир

мистической фауны, т. е. **ничем**, практически ничем, словами и образами лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, — эти люди, эти отношения.

Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них, разумею пространственное расстояние, — вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство вероятно правильное всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству.

Мое чувство своего тела естественно присуще мне, что я замечаю его лишь тогда, когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, когда оно выполняет мою волю; но малейшее недомогание его, слабость, боль, собственные его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге, помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношению к людям. Хорошие люди воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум, и т. д. и т. д. — это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова — одна. Но вот противное — оно не может не быть замеченным. Однако, такой, о ком замечено, — это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.

Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться по меньшей мере странно. И я, в теплом гнезде наилучших — так по крайней мере оценивал их — людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываясь предельно одиноким; только тётя Юля, с её глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.

Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько

родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерей крови: назову его несколько приблизительно **фарисейством**. А то что мне хочется сказать о семье нашей так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытность, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Всё это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикой у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы всё его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным: напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз навсегда преграждён доступ на этот остров: его можно было разрушить, но — не возмутить скандалом.

Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания — совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите, побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тёте: «Il faut lui donner un verre d'eau avec du sucre», и послали бы тётю Соию, как младшую, тоже из деликатности с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный, — непременно гранёный — стакан с сахарною водой. Тетя Соия тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь всё кончилось, папа маме, или наоборот, сказали бы: «Pauvre homme, il est très nerveux», и делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: Федор Михайлович, ужин на столе, причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес бы Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mondes», «Deutsche Rundschau» или же о только что полученном новом томе *Histoire Universelle* par Lavisse et Rambeau. Не сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это не нарочно проделано, и так **есть** в семье, и, затаив конфуз, искренне осудил бы в себе истерику.

Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не

читались, как что-то сомнительное, — в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.

Достоевский действительно истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпимым. Но однако есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой — или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере вокзал, — вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволено делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какого-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамоделешного греха и подлинного падения.

Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укр не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других.

Бетховенский стук судьбы в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоническую, отдалялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одиночками.

Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей; т. е. не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостаивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, — скорее отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен — в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.

Это утверждение, конечно, нужно брать ограничительно: везде бывали свои исключения, свои любимцы. Но общее направление моих привязанностей было именно таково.

Чтобы объяснить свои волнения около природы и чувства меня пожиравшие, как яростная влюбленность, как страсть непреодолимая и всё собою захватывающая, я должен, во-первых, твердо сказать, что пусть это кажется уродством, пусть в этом будут усматривать отсутствие нравственного чувства, но это было так, без злой воли, всею силою существа, — я не любил человека как такового и был влюблен в природу. А во-вторых, самое царство природы делилось в моем сознании на два разряда: один — **изящное**, другой — **особенное**. Всякий предмет природы принадлежал к тому или другому классу, хотя основной характер этого класса мог быть выражен в нем с различной степенью определенности. Меня привлекали преимущественно предметы и существа либо пленительно-изящные, либо остро-особенные.

Изящное как-то соотносилось с тётёй Юлей, а особенное — с мамой.

Изящное провеивалось воздухом и светом, было легким и заветно близким. Я любил его со всею полнотою нежности, восхищаясь до стесненного дыхания, до острой жалости, почему я не могу совсем и окончательно слиться с ним, почему не могу навеки вобрать его в себя и сам войти в него.

Насколько я помню себя, никогда я не был истеричным, и психически был крепок. Но во мне была повышенная впечатлительность, никогда не смолкавшая внутренняя вибрация всего существа от заветных впечатлений. Это почти физическое ощущение себя струною, или скорее, — хладниевой пластинкой, по которой природа ведет смычком: не в душе, а во всем организме, почти ухом слышимый, вибрирует высокий и упругий чистый звук, а в мыслях складываются схематические образы, ну просто — хладниевы фигуры, как символы мировых явлений. Я пишу, и почти уверен, что останусь непонятым. В этих словах захотят

услышать сравнения и попытки на поэзию, я же хочу сказать — выдавить из себя — самое трезвое, самое буквальное описание; некую физиологическую картину. Она заключалась в том, что всё во мне, каждая жилка, было наполнено экстатическим звуком, который и был моим познанием мира. Этот звук, это дрожание всего внутреннего порождало схемы, порядка скорее всего математического, и они были моими категориями познания. Не только теперь, задним числом, оцениваю свои восприятия, как повышенные, но и тогда я неоднократно слышал от взрослых указания в этом смысле. У меня была чрезвычайная острота зрения и, как это нередко случается, именно вследствие чрезмерной восприимчивости глаза, мое зрение потом сильно испортилось близорукостью. Я помню, как в дали морской или на горах я видел подробности, которые окружающим были доступны только помощью сильного морского бинокля; и взрослые нередко пользовались мною, сами не страдая недостатком зрения, как глазами или биноклем. «Павлик, посмотри, кто там едет», «сколько человек на той лодке», «не видишь ли птиц над морем» — такие приглашения и по сей день звучат мне как постоянный мотив на прогулках. Когда терялась иголка, или какая-нибудь маленькая вещица среди камней, в лесу, или в комнате, обязательно отряжался на поиски тот же Павлик: «у тебя глаза хорошие». Я не помню случая, чтобы потерянное, какой-нибудь маленький винтик, крючечек и т. д. избежали моих глаз. У меня была внутренняя уверенность, что раз что-нибудь есть, я не могу не увидеть его. Наши прогулки были для меня непрерывным наблюдением и постоянными находками. Самые мелкие растения, камешки, жучки не могли остаться вне моего зрения. Постоянно я вылавливал в лесу, из камней, на улицах перочинные ножки, монеты, разные вещицы. Конечно, тут помимо оптической, так сказать, зоркости, имело много силы постоянное внимание: мой ум никогда не бывал расслабленно вялым и праздным, всем интересовался и потому приговождался ко всему взор. И теперь, при сильной близорукости, на улицах и на прогулках я постоянно вижу многое, чего не видят мои спутники с хорошим зрением, хотя теперь мне это видимое далеко не всегда интересно. А тогда всё и всегда было занимательно предельно, т. е. так, что больше уж переполненное сознание вместить в себя не может.

Эта зоркость не была аналитическая, она не выделяла преувеличенно отдельных элементов, и главным, что видел я, была форма. Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем формы предметов.

Были такие формы, относительно которых казалось, что вот, какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб близки душе так, что живут в ней, как душа души, и что скорее от себя самого можно оторваться, нежели эти инфлексии форм станут хотя и красивым, но внешним зрелищем. Внутренняя моя жизнь в таких формах и других подобных впечатлениях покоилась более прочно и собиралась в очаги более оплотневшие, нежели во мне самом.

Очень ярким было восприятие цветов, с тонким различием цветовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой, тогда как в зеленом, когда он утепляется желтизной, я ощущал полноту всего особенного. Этот желто-зеленый цвет был для меня чем-то вроде инфра-красного, и за пределы его мой спектр в качестве красоты и мистики уже не простирался. Конечно, я видел и различал желтый, оранжевый и красный; но эти цвета относились к области неприличной. Любить их, восхищаться ими, углубляться в них и даже замечать их и говорить о них мне казалось грубым, невоспитанным, явным свидетельством дурного вкуса.

Я не думаю, чтобы причиной такого осуждения были какие-либо подслушанные суждения старших; во всяком случае, не только такие суждения имели силу. Да если бы я слушался в этом отношении старших, то в гораздо большей степени подвергся бы изгнанию цвет зеленый, относительно которого я твердо усвоил себе жизненное правило, что легче броситься в море и утонуть, нежели надеть зелёное платье. Я знал, что приличен голубой цвет и синий, полу-приличен розовый, и совсем недопустим зеленый. Но в природе я признавал голубой и зеленый. Что же касается до обратного конца спектра, то там я предощущал связь и символику такого рода областей, аффектов и волнений, которые разорвали бы небесную лазурь моего непрерывного экстаза. Сторонясь от красного конца спектра, бессознательно, но не бессмысленно, я оберегал свою жизнь в первозданном эдеме от угроз и опасностей. Не то-ли же самосохранение заставило меня наложить жестокое табу на все слова и понятия, вполне невинные и даже как-будто безразличные, но относительно которых я предчувствовал, смутно но уверенно, что спутавшись с ними неминуемо поставишь себе и вопрос о каком-то познании добра и зла и об изгнании из рая?

В самом деле, такое, например, слово, как **деньги** или **ордена**, разве не приводят к вопросам о службе, служебной прозе, под-

чинению и унижению, к борьбе и интригам? **Похороны** — разве не сталкивают они со смертью, со старостью, со злом, с невыносимым страданием разрыва? И всё так, всё «неприличное» припечатывает кувшин с злыми джинами, недаром же засаженными туда премудрым царем.

«Неприличное» есть знамение губительных для Эдема разрушающих безмятежную лазурь духов природы. Пусть никто не смеет думать, будто тогда, трех, четырех, пяти, шести лет я не понимал всего этого. И я, и всякий другой в таком возрасте, бесконечно мудрее премудрого царя, и все сложнее жизненные отношения понимают насквозь, и понимая — припечатывают и предусмотрительно взбраняют вход в свою невозмутимую и безоблачную лазурь — изгородь из табу. Конечно с годами мы все, когда-то гении и святые, грубеем, глупеем и опешляем. У одного меньше, у другого позже появляется безразличие, пасть или не пасть, и змей-разрушитель оценивается просто как змея, хорошо если не как уж. Грех, греховное отпадение от этой небесной земли — ну, так что ж, сделал — и ничего особенного. И мне хорошо представляется, Адам и Ева после грехопадения, тоже вероятно сказали друг-другу: «ничего особенного», — сказали потому что уже огрубели, уже утратили связь с тем Эдемом, который только что сиял пред ними неземной красотой. Но пока связь эта жива и пока зрение не померкло, панический ужас и инстинктивная брезгливость, иступленные и неудержимые, сотрясают душу и тело возле табу, предостерегающего об опасности. Каким-то задним зрением ребенок знает не только об опасности, сторожащей по ту сторону ограды, но самые эти опасности; существо их он знает полнее и точнее, нежели самый искушенный жизнью закоснелый грешник. Никакое падение не открывает ему ничего нового, всегда оказываясь лишь убылью жизни, но не природом её. Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех определенностей, и чем острее его чувство эдемской жизни, тем определеннее и ведение этих формул. Про себя я по крайней мере могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового, кроме одного — о чем будет сказано ниже, — но и то — открыла не познанию, а открыла смерти, после которой я уже стал не я. Всё же знание жизни было предобразовано в опыте самом раннем, и когда сознание осветило этот опыт — оно нашло уже вполне сформированным, почкою, полною жизни и ждущею лишь благоприятных условий распуститься. И я, как всякий ребенок, но может быть с большею цепкостью, оберегал свою непорочную землю от гibe-

ли и твердо знал, что допусти хотя бы одну-две трещины в изгороди, как весь сад погибнет. Задним зрением знал я всё, но мудрость жизни была именно в разделении этого знания от прямого созерцания райской Красоты. Заботы родителей и детский инстинкт поддерживали друг друга, и может быть потому именно я даже преувеличиваю в своей памяти работу родителей в этом смысле, и переношу на них часть собственных своих усилий.

В эти мысли пришлось взойти по поводу цветов. Но к тем же мыслям поводом могли бы быть и многие другие детские переживания. Как в цветах одна их часть, пленительная и воздушная, вызывала восторг и то ощущение, которое испытываем мы во сне летая, тогда как другая переоценивалась в качестве ядовитого огня и гибели, так же точно и в большинстве прочих ощущений одни впивались мною жадно, упоённо, экстаично, на других лежала печать запрета. Но здоровый организм не допускает запретному стать искусительным — он просто не замечает запретного, волит его не замечать и обходит стороною, как безразличное, почти не существующее. Папа курит свои скверные сигары, а мама надевает смешной корсет и турнюр. Я понимаю насквозь, как это нелепо, и твердо убежден, что втайне так же думают и они сами, не находя ничего хорошего ни в том, ни в другом. Но на то они и взрослые, чтобы делать глупости и плохо понимать их нелепость. Я их не осуждаю, ибо снисходителен к взрослым, уже много не понимающим. Но было бы странно толковать мое нежелание курить сигары и носить турнюр как победу над искушением. Просто, они мне не нужны, а если бы я прикоснулся к ним, то потерпел бы большой урон. В сущности и сигары и корсет гадки до ужаса, и, затаённо страшны.

Я же слишком ясно знаю, что они — вещи демонические (скажу теперешними своими словами), чтобы не понимать губительность их для меня, непокрытого корою, которою покрылись взрослые.

Да, впрочем и сами взрослые не хотят губить меня: сигары не позволяют касаться, а корсета — даже поминать имя. Ясно, дело не чисто, и я вполне прав. У сигар впрочем есть два оправдания их бытия: первое — это ящик кипарисного дерева, достояющийся, конечно, мне и идущий под морские камешки; второе же — дымовые кольца, которые ловко пускает папа, подражая паровозу. Ну, а что касается корсета, то у него только и есть то оправдание, что иногда с помощью папы я выпрошу из него себе пластинку китового уса, и размягчив её на свечке, гну в

крючки. Правда, эти пластинки мне ни на что не нужны, но у них привлекательное происхождение — из кита.

Так и скверну мира я обращал в свою пользу; подобным же образом находилось полезное применение для сургуча и папиной казенной печати с двуглавым орлом, чертёжных принадлежностей и геодезических инструментов, монет, обручального кольца и т. д. Но в глубине души я сознавал эти занятия как нечто неглубокое, ненастоящее. Истинным же делом представлялось мне созерцание природы.

Кроме зрения, у меня было очень развито обоняние и слух. Что касается первого, то вероятно я унаследовал его от деда по матери. С детства, запахи были для меня выражением глубочайшей сущности вещей, и я всегда ощущал, что через запах я сливаюсь с самою вещью. Цветы, эфирные масла, и в особенности благовонные смолы воспринимались мною как несомненные прорывы в этом мире и проходы в иной.

С самых ранних пор я пристрастился к парфюмерии. Сперва заготавливал душистые цветки — главным образом розовые лепестки, просил старших купить мне фиалкового корня и делал из всего этого сашэ в подарок к изменникам и к другим праздникам маме и тётям. Потом стал изготавливать курительные свечки, душистую бумагу, одеколон и духи (— о добротности их уже не берусь судить, но взрослые от моих духов морщились, да и мне по правде сказать они нравились только во время приготовления —), Иногда, наготовив каких-то снадобий, я выливал их, к неудовольствию мамы, в ванну с водой, в которой купался. Мне кажется, впрочем, что мама морщилась не столько от качества моих эссенций, как от мысли, не проявляется ли во мне наследственная от деда страсть к роскоши.

Готовые духи, хотя в доме у нас были очень хорошие, французские и английские, в частности — неизменные духи мамы *Lilas blanc* парижской фирмы *Violet* с тонко выгравированной пчелкой на марке, готовые духи менее привлекали меня. Кстати сказать, духами тети Лизы было *Ess bouquet*, тети Юли — *Maquet*, какие-то еще определенные, — но я не помню их названия — у других тетей. Но меня в области запахов, как и во всех других областях, действительно волновало всегда и потрясало корни моего существа лишь прикосновение к сырым материалам, к исходным веществам, к первоисточникам. Как в чем я почуял механическую составленность, так сердце мое от него отходило. Это — не внушенная себе мысль, не рескиннианство и не толстов-

ство, как склонны толковать узнающие меня взрослым, а собственная моя коренная воля, которая бывает иногда вынуждена уступать, но никогда не сдаётся. Весьма вероятно, тут есть нечто наследственное, ибо в этом отношении я узнаю в себе отца. Но каково бы ни было происхождение этого вкуса к первичной материи, он проявляется во всех областях и во всех областях ищет ощущений, которые можно охарактеризовать не иначе, как двумя-тремя прилагательными, сочетанными посредством черточек.

Из первичных веществ меня очень занимали в детстве пряности. И как только мама открывала большой провизионный шкаф для выдачи провизии повару, я унюхивал это обстоятельство, пролезал между мамой и поваром в самый шкаф и, несмотря на протесты мамы, правда, вялые, хозяйничал в многочисленных стеклянных и жестяных банках с пряностями. Пока повар успевал получить нужное ему, мои карманы бывали уже набиты экзотическими товарами. Потом я шел рассматривать, обнюхивать и пробовать свою добычу. Когда я набирал её, я объявлял, что хочу то-то и то-то готовить, — духи, курительные свечи и проч., и иногда в самом деле делал попытки в этом направлении. Но больше обследовал сырые вещества — грыз, жег на свечке, размачивал в воде. Тут бывал обыкновенно странный по виду и прыножгучий, гладенький и беленький имбирный корень, которого у нас в кушаньях никогда не клали, но запас почему-то никогда не иссякал, несмотря на мои хищения. Был тут и желтый, как яйцо в мешочек, мускатный цвет, возбуждавший мое внимание плоскостностью своею и упругостью своей ткани. Непременно я натаскивал себе кардамона, привлекавшего меня своею трехгранностью и белизною тонко-волокнистой своей шелухи; именно она волновала меня, а черные зернышки я большею частью выбрасывал. Иногда перепал мне наполовину стёртый на терке мускатный орех, казавшийся мне похожим на мозг. Английский перец и лавровый лист тоже допускались в число пряностей, но уж для полноты и без волнения.

Больше же всего я ценил хорошенькие с кисловатым запахом звездочки бадяна, — причем немалое значение в привлекательности имело звучное имя его, сблизившееся в моем уме с «индианкой», ну, а последняя-то уж конечно верх изящества! — И кусочек ванили. В ванили меня всё приводило в дрожь: и словно лакированная черная кожа, в которой чувствуется тончайшая, но чрезвычайно крепкая волокнистость; и почти микроскопические бесчисленные семена, которые я решительно отличал от

бесструктурной мажущейся черной массы, и, напротив, видел отдельными и зернистыми; и странная форма этого стручка, сблизившегося в моем сознании со стручками павлинии, висевшими у нас в Батуме на уличных насаждениях. И даже запах, томный и смуглый, я не ставил ванили в укор, потому что он смешивался с теплым Батумским воздухом и уносил меня куда-то, не то в Бразилию, не то в иную страну, но с не менее звучным именем. Рассмотрев свою ваниль и слизав с нее хорошенькие кристаллические иголочки ванилина, я затем выдавливал в рот её семена, а после них съедал и самую кожу. Что касается до остальных пряностей, то частью сгрызал их, частью растеривал, но каждый раз они наполняли всё мое существо теплою полнотою бытия и чувством реальных других миров, причем я сам ясно не знал, находятся ли эти миры по ту сторону океана, или по ту сторону форм рационального познания.

Благоухания наполняли меня теплотою. Напротив от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь как в сильнейшем ознобе и чувствовал, что еще слушать — выше моих сил и что-нибудь может случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь успокоительное, или прекращали музыку. Так памятно это ощущение спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начинающегося с первыми тактами музыки и всё ширящегося, так что он пронизывает всё тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а потом начинает стремительно дуть, бороздя всё пространство комнаты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясала меня и слишком много от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию. В детстве у меня был тонкий и верный слух, как говорили люди музыкальные, посещавшие наш дом. Вероятно лет с четырех я уже лез к пианино Блютнера в нашей гостиной, когда там никого не было, и одним пальцем подбирал слышанные мелодии, или же, напротив, пытался какими-то массами звуков, как я ощущаю в том роде, который звучал Скрябину, выразить разрывавшие меня чувства.

Но более мелодии я всегда чувствовал музыкальную ритмику, с одной стороны, а окраску звуков — с другой. Мне хотелось звуков иррационального тембра, шелестящих, скользких. Сочность звука мне всегда была отвратительна. Звуки, сухие как удары, звуки-трески, звуки-шумы, арфа, например, или звуки,

которых я не знал в музыке, или которых в музыке и нет, их искало мое воображение. Напротив, пение, пение несдержанное и полным голосом, в особенности низкие голоса — около баритона, как у нас певал Василий Иванович Андрасов, например, меня пугали, казались верхом непристойности и бесстыдства, я совершенно не понимал, как подобное безобразие можно терпеть в доме. Мне представлялось, что между непристойным горланием пьяных матросов, шатаясь проходивших по улице, и подобными баритонами, если и есть разница, то совсем не в пользу баритона. От этого пения, где бы оно ни было, я убегал и прятался в свои любимые места, за шкаф или под кровать. Сдержанное пение и притом голосом высоким, я не осуждал, хотя оно мне никогда не казалось настоящей музыкой, а — лишь приправой к какому-нибудь домашнему делу. Но я признавал певиц, которых впрочем не слышал, за исключением Никита. На то было много причин: во-первых, они красиво одеты, и притом декольте, т. е. как-то приближаются к феям, царицам и невестам, а эти разряды женских существ были для меня категориями изящного; во-вторых, на них много драгоценных камней, а драгоценными камнями в моих глазах многое можно было сделать положительным. Третье — родственница тети Юли, Александра Готлибовна Пекок, тетя Алина, как мы её называли, была для нас полу-мифическим существом, известным нам по рассказам тети Юли. А эта тетя Алина пела на Миланской сцене под псевдонимом Алины Марини и пользовалась в свое время большою известностью. Имя этой тети протягивало от нас нити в Москву, в Милан, и вообще в Италию, и даже на оперную сцену. К тому же личность тети Алины была повита загадочностью, о ней таинственно не могли ничего толком узнать, и чувствовалось, — это не просто. Уж ради одной Алины Марини я должен был признавать певиц. Главное же, мужчины, когда поют, то уподобляются каким-то ревушим бегемотам, и трудно поверить, чтобы подобное безобразие кому-нибудь могло нравиться. А певицы — певица настоящая была для меня, конечно, сопрано, и притом сопрано колоратурное — они возглавляются царицею всех певиц Аделаидою Патти, о которой я слышал от тети. Она — не бегемот, а соловей и жаворонок. Она растворяется в воздухе чистейшими трелями и сама уже почти что не человек, а птичка. Все прочие певицы в моих глазах блистали её отражённым светом. Я так ясно представлял себе в воображении неземную свежесть и эфирную чистоту голоса Патти, и в частности Алябьевского «Соловья», что испугался бы даже, если бы мне представился случай услышать её на самом деле: это

было бы слишком грубым, слишком вещественным прикосновением к полу-богине птиц, как я мечтал об ней в детстве.

Вообще моя музыкальная фантазия была настолько захватывающей и живой, что я почти не нуждался в физическом звуке.

Вспоминая свое детство, я много раз думал, что музыка, и именно композиция, но ни в коем случае не личное исполнение, может быть деятельностью дирижера, была моим истинным призванием, и что все остальные мои занятия были для меня лишь суррогатами того, музыкального.

Я всегда был полон звуков и разыгрывал в воображении сложные оркестровые вещи в симфоническом роде, причем потоки звуков просились в мою душу непрерывно, днем и ночью, и стоило мне остаться без очень ярко выраженного интереса в другой области, как мои оркестры начинали улаживать меня, а я ими дирижировал. Иногда достаточно было самой бедной ритмики — стука пальцев по столу, падения капель, ритмического шума, тикания часов, даже биения собственного сердца, чтобы этот ритмический остов подвергся произвольной оркестровке и сам собою обратился в симфонию.

В одной из комнат нашего дома тетя Соня штудировала немецких классиков, преимущественно Гайдна, Моцарта и Бетховена; Бах тогда еще кажется не был возвеличен в музыкальном мире. Эти звуки, в особенности Моцарта и Бетховена, были восприняты мною вплотную, не как хорошая музыка, даже не как очень хорошая, но как единственная. «Только это и есть настоящая музыка» — закрепилось во мне с раннейшего детства. То, что играл я сам себе в воображении, принадлежало к этому роду, но было еще пустынее, еще объективнее, еще дальше от сырости переживаний. «Почти что окончательное, то что играет тетя Соня, — а всё не совсем. Еще какой-то шаг — и будет достигнут предел, последняя глубина звука», — так, конечно не в таких словах думалось мне. И я делал для себя этот шаг и освобождал музыку от последнего привкуса психологизма; она звучала в моем сознании как музыка сфер, как формула мировой жизни. Материалом-же её были экстатические звуки внутри меня.

Когда много лет спустя, уже окончив Университет и Академию, я прикоснулся к Баху, я понял, чего искал в детстве и в какую сторону представлялся мне необходимым еще один шаг музыкального развития. В Бахе я узнал приблизительно то, что звучало в моем существе всё детство — приблизительно то, но всё-таки не совсем. Может быть той, экстатической, музыки во-

обще не выразить звуками инструментов и слишком рационализованной ритмикой нашей культуры. Я же проводил свои дни в непрерывном экстазе.

Но и самый дом был наполнен звуками. Мама и сестры её, особенно тетя Соня, имели очень чистые и чрезвычайно приятного тембра голоса, в которых было что-то хрустальное и отсутствовал оттенок томности и страстности.

В свое время мама училась пению, равно как и тетя Соня, впоследствии поступившая в Лейпцигскую консерваторию по классам пения и фортепиано. Её музыкальная карьера, равно как и музыкальное образование матери, была внезапно прервана запретом врачей, угрожавших скоротечной чахоткой. Вообще это соединение большой музыкальности, хорошего голоса и туберкулёза присуще всему роду моей матери, и потому многие блестящие выступления, музыкальные и вокальные, подрезывались в самом корне если не предписанием врача, то словом судьбы. Мне хочется тут кстати вспомнить мою двоюродную сестру Нину Сапарову, учившуюся в Москве, которая поражала всех совершенно исключительной, какой-то неземной хрустальностью своего голоса, и умерла после первого или второго выступления. Две другие сестры, дочери тети Сони, тоже начинали петь, и тоже гибли той же судьбою. С другой стороны — с отцовской, музыкальные склонности были двойственными. Как все предельно порядочные и нравственного строя люди, отец мой не обладал никаким слухом. Тётя Юля очень любила музыку, часто играла, но, мне думается, не отличалась особенными способностями, ни слухом. Однако, в отцовском роде музыкальная наследственность несомненно таилась, от матери отца Анфисы Уваровны Соловьевой, которая была хорошей музыканткой. И с отцовской, и с материнской стороны она должна была быть музыкальной и вращалась в музыкальных кругах; между прочим к дому её родителей были очень близки оба Гурилёва, и отец и сын. Да и в смысле сопутствующего музыкальности признака — стихийности, она получила вероятно достаточно данных: Соловьевы отличались бурным темпераментом вместе с талантливостью, а род матери её — Клинские помещики Ивановы произвели много заметных людей, но отличались распушенностью. Но как бы то ни было, а собственно в наш дом музыкальные склонности проникли после каких-то фильтраций, оставив за его стенами все элементы страстные и наполнив дом звуками прозрачными, отчасти родственными внутренним звукам моим.

Из инструментальных произведений в доме слышались лишь наиболее строгие, салонная же музыка всегда вызывала легкое изменение лица, выражавшее неудовольствие, а то и пренебрежительно-брезгливое слово. Что касается вокальной, то мне помнятся сравнительно немногочисленные, но прижившиеся в доме романсы Шуберта и Глинки, — кстати сказать и теперь мне представляющиеся наиболее совершенными из всего что знаю, произведениями в этом роде. Мама никогда не пела при всех, и голос её доносился обыкновенно из спальни, когда она возилась с кем-нибудь из маленьких, или работала рукоделие.

Я мало понимал слова, к тому же доходившие неполностью, а то, что понимал, словесно, то не доходило до сознания. Но слова и фразы и по музыке, и своим собственным звуком, мне говорили что-то совсем иное, чем они значат логически, и это иное было несравненно больше логического смысла. Не то чтобы не мог я, скорее не хотел, вникать в этот логический смысл и разрушить им несказанный смысл первозданного звука, доходивший до меня чрез это пение. Впоследствии, уже взрослым, когда я слышал те-же вещи, я бывал разочарован: да, хорошо, мой детский вкус меня не обманывал, но ведь это совсем не то, что запомнилось мне с детства и что, очень глубоко где-то, звучит и сейчас во мне, хоть и приглушенное. В отдельных выражениях слышалась особая многозначительность, какое-то личное, ко мне именно, к сокровенному существу моему обращенное слово; и слово это шло не от матери, хотя и чрез нее, даже не от автора произведения, а из ноуменального мира, от бытия, которое открывал я в себе самом, по ту сторону себя самого.

«От чего так светит месяц? — ро-о-обко он меня спросил». Это «робко спросил» из каких-то бездн мне говорило обо мне самом. Это слово я спросил, и казалось странным проникновением в меня возможность сказать обо мне так определенно. Вдруг появлялось сознание неловкости, как это вслух звучит такое словесное обнажение меня. В других случаях это проникновение касалось других. Когда из спальни журчали серебряные звуки: «Горный поток в чаще лесной», ясно я знал, что это сказано о самой маме, что горный поток в чаще лесной — это сама она, но конечно она не стала бы петь так откровенно о себе, если бы знала, что поет, а я — знаю. Часто, понимая все слова, я не умел, или не хотел понять, всю песню, чтобы не рационализировать её. Так было, например, с известным в то время романсом «О, Матерь Святая, возьми Ты меня: всё счастье земное извелада я». Логический смысл его вполне исключался из моего сознания,

может быть как неприличный, поскольку заключал в себе нечто религиозное; но какой-то иной смысл был чрезвычайно ясен, и я всегда внутренне конфузился за маму, когда она пела этот романс. Наиболее достойным внимания и наиболее привлекательным было для меня явно иррациональное, — то, чего я действительно не понимал и что вставало предо мною загадочным иероглифом таинственного мира. Таковым был любимый мною романс Глинки на слова Пушкина: «Я помню чудное мгновенье». В нем я ничего не понимал, но зато остро ощущал, что тут-то и есть фокус всего изящества, что это полюс средоточия тех проявлений изящества, которые восхищали меня разрозненно в окружающем мире. Особенно знаменательным представлялось слово, в котором я не без основания предугадывал самую вершину всего пленящего: «как мимолетное виденье, **кагени** чистой красоты». Что это значит, это кагени, я не только не знал, но и не старался узнать, ибо чувствовал, что никаким пояснением не увеличится мое понимание этого иероглифа превосходящей всякую земную меру и всякое земное понимание красоты. **Кагени** было символом бесконечности красоты, и, как я прекрасно понимал, любое разъяснение лишь ослабит энергию этого слова. И в самом деле, не в том ли художественное совершенство стихов, музыки и всего прочего, что сверх-логическое их содержание, не уничтожая логического, однако превосходит его безмерно и, как язык духов, детскому вообще не рационализирующему восприятию доступно даже более, нежели взрослому. В частности, этот романс мне когда-то пришлось взрослым слышать в исполнении Олениной д'Альгейм, уже совсем взрослым. И во мне всколыхнулось то же чувство, но теперь уже сознательное. Мне думалось: Пушкин с музыкой Глинки в исполнении Олениной — тройное творчество величайших представителей каждой из областей русской культуры, возносящейся помощью и силою другого. Да и у них, этих представителей, не одно из творческих деяний, а чистейшая сущность всего их творчества.

Какой уплотнённый фокус культуры, в коротком романсе замкнувший целый век расцвета русского искусства. Не без причины таким огромным и духовно веским казалось мне «чудное мгновенье» с пелёнок.

Музыкальные склонности направлялись у меня в детстве также по руслу стихов. Сравнительно в меньшей степени меня занимал смысл стихов, а преимущественно влекло их звучание и их ритмика. Обладая почти абсолютной памятью, всё привлекательное для меня я запоминал с одного раза в точности; в осо-

бенности это относилось к стихам. Пушкин, отчасти Лермонтов — только их я признавал в раннем детстве, остальное же не доходило до моего слуха. Впрочем, Тютчева я просто не знал и в доме у нас его почему-то не было. Сказки Пушкина, многие поэмы, стихи и другое я мог говорить наизусть часами, хотя читали мне их не особенно много. Напротив, стихи других поэтов я определенно ощущал не как худшие, а как качественно иное нечто. Со стихами произошло то же, что с музыкой: есть настоящее, настоящая музыка, настоящие стихи, и хвалить это настоящее неуместно, ибо само собою разумеется что они — благо. Кроме того есть и еще что-то притязующее быть музыкой и поэзией, но притязает бессильно, порицать его — недостаточно, ибо это дало бы повод к обсуждению, тогда как оно не музыка и не поэзия, а просто какая-то дрянь, о которой и говорить не стоит. Детское осуждение онтологично.

Поэтому для меня не было искусства хорошего и плохого, а было просто искусство и не-искусство, и я знаю, что мое суждение было честным и не лукавым. Нет — и нет.

Впоследствии же, когда мы все научаемся лукавить, мы стараемся усладить прискорбную истину разными извинениями и найти нечто хорошее в побочных обстоятельствах. А в результате мы сами запутываемся в этой казуистике и перестаем чутьем угадывать и ценить самую суть произведений, обманываясь мастерством техники, сюжетом, чувственной вкусом материала и т. д., и вводя в обман окружающих. К тому же мы боимся быть жестокими, может быть из опасения быть судимыми тем же судом. Но детство не знает опасений, не боится суда, судит незаинтересованно и неподкупно; оно изрекает свой приговор с жестокостью истины.

Для него — **есть** или **не есть**. Так вот, о Пушкине я говорил себе **есть**, ну, а о большинстве других — обратное. Это не значит, чтобы их нельзя было послушать. Но я их слушал сравнительно с Пушкиным так же, как оперную музыку, например, сравнительно с Моцартом, т. е. ясно сознавая, что это только пустое прохождение времени, внешнее щекотание, какое-то «слово праздное», которое отщепляет от вечности. Этого рода искусство я оценивал так же, как и семечки, безусловно воспрещенные в нашем доме, и все же откуда-то иной раз, на негодование мамы, в дом просачивавшиеся.

Но я начал говорить о звучании стихов. Звуковая сторона слова всегда имела стремление к самостоятельности в моем со-

знании и порывалась вырваться из оков логического смысла. Этого было особенно легко и добиться в именах и в словах иностранных. С жадностью подхватывал я географические и исторические имена, звучавшие на мой слух музыкально, преимущественно итальянские и испанские — они мне казались особенно изящными и изысканными — и сочетал их, сдабривая известными французскими и итальянскими словами, в полнозвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние иступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это наедине. Но я любил также, присевши на сундук, в полуметровой маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто в роде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушевшись, начать этого рода мелодекламацию, и наконец, в полном самозабвении, перейти к гласелалии, с чувством уверенности, что самый звук мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру, и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купания, но обессиленный бывшим подъёмом. Звуки опьяняли меня.

Но возвращаясь к начатой мысли: при психической и нервной крепости, я всё же был всегда впечатляем до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и главное — формами и соотношениями их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли всё мое существо, я всегда кипел и ни минуты не оставался невозбужденным. Это происходило, повторяю, от силы впечатлений и от повышенности внимания к ним. Для меня не было спокойных восприятий — таковые вовсе не доходили до моего сознания, всегда занятого чем-нибудь чрезвычайно интересным. Каждое восприятие связывается с другими и само собою в уме строится какая-то система, где разнородное по малым, но глубоким на мою оценку признакам, соотносено друг с другом.

Растения, камни, птицы, животные (— мне было совершенно ясно, что невозможно объединять милых птичек в одну группу с другими существами, «животными», по моей терминологии и что птицы — скорее родственны растениям —), атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные светила и события в подземном мире сплетаются между собою многообразными связями, образуют ткань всемирного соответствия. Человекообраз-

ные скалы и корни не случайно имеют свой вид: тут есть таинственное родство. Во дворе у нас или по полотну железной дороги расцвел подорожник. Я смотрю как гордо и упруго несут свои головки эти подорожники и соображаю: да разве это не стадо моих любимых венценосных журавлей, на изображение которых я не могу насмотреться в «Природе». С деревьев свисают серёжки; разве я не понимаю, что они, заигрывая со мною, притворяются расслабленными? Божья коровка поджав ножки, лежит на спине, как мертвая; но ведь это она хочет привлечь к себе мое внимание, чтобы я играл с нею. И фиалка спрятавшаяся под куст, она играет в прятки, и была бы весьма обижена, если бы я не стал искать её.

Весь мир жил, и я понимал его жизнь. Но это понимание было крайне ошибочно толковать как простое антропоморфизирование, — придельвание к вещам и существам природы человеческих органов, человеческих мыслей, чувств и желаний. Крайне ошибочно думать, будто я, вместе со всеми детьми, просто утрачивал чувство границы между собой и природою, смешивал две области, заведомо раздельные в сознании взрослого.

(Продолжение следует)

Очерки

Владимир ВЕЙДЛЕ



Страшный мир^{*)}

Приношение кресту на могиле Александра Блока.

4. Сумбур.

Музыка стихов не может обойтись без смысла, — раз они рождены словом и состоят из слов. Но и смысл — в стихах — не может обойтись без музыки: если ее не нужно, незачем писать стихи. Бессловесная музыка симфоний, фуг или сонат смысла и смыслов тоже не лишена; но ее смыслы не нуждаются в словах и не могут быть переданы словами. Никакими словами; поэтические же никакими другими, кроме тех, какими их высказал поэт. Эта последняя аксиома нуждается, однако, в ограничениях и уточнениях. В любом стихотворении можно и должно различать смыслы слов и словосочетаний, воспринимаемые, в противоположность обыденной речи, нераздельно от их звука и смыслы предложений, изогнутые, подчеркнутые, но не зачеркнутые интонацией и поэтому лишь оттенками отличающиеся от их «нормального» или «прозаического» смысла. Смыслы эти допускают парафразу или перевод, упраздняющий поэзию, но сохраняющий ее канву, которая, сама по себе, поэзии, конечно, не образует. Канва эта у Пушкина, например, или Баратынского, при самом

*) Начало см. в Вестнике № 99, стр. 85.

интенсивном звукомысле, всегда налицо, но есть поэты, у которых она совсем или почти отсутствует, — оттого ли, что звуко-мыслы слов и словосочетаний подчиняют себе, а то и вытесняют смыслы предложений (тем самым отдаляя синтаксис от обычной его функции, как Малларме или, менее радикально, в ранних стихах Пастернака и поздних Мандельштама), или оттого, что интонация строчки, строфы, а при малом размере и всего стихотворения заглушает его логику — вернее и родиться ей не дает — заменяя ее музыкой интонаций, смысла, конечно, не лишенной, но приближающей по его характеру смысл предложений (и целого) к звукомыслу слов или словосочетаний, еще не образующих предложений и тем самым причастных логосу, но не логике. Поэтом такого склада был Блок, как и с юности ему милый, да и позже неразлюбленный Фет, — с той, однако, разницей, что Фет тематически прост, тогда как у Блока эта сторона являет и вширь, и ввысь и вглубь совсем другую мощь и полноту.

В конце жизни, он (Всеволоду Рождественскому) сказал: «Я прежде всего слышу какое-то звучание. Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне — страстно, убежденно. Как во сне. А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, чтобы они точно легли в эту интонацию, ничем не противоречили. Вот тогда — правда. Всякое стихотворение — звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. Из нее рождаются миры».

Запись эта драгоценна. Таким же образом — трудно в этом сомневаться — рождались и Фетовские стихи. Сперва интонация. От слов только и требуется, чтобы они не противоречили ей (например лексической окраской или слишком не подходящим к соседним словам предметным значением); так как **только** это и требуется, то даже и в старческих — самых лучших — стихах Фета, иные слова кажутся выбранными невпопад («попада» для них, ни такого как у Баратынского или Пушкина, ни такого, как у Тютчева, вовсе собственно и нет), остаются нечеткими или безразличными по смыслу. Этого в первых двух томах и у Блока сколько угодно; позже однако интонация у него неподражаемым образом насыщается смыслом уловленных ею и впитанных в себя слов.

Темно, и весело, и душно,
И задыхаясь, не дыша,
Уже во всем другой послушна
Доселе гордая душа!

Это — Пушкин, ставший Фетом, или Фет, вселившийся в Пушкина.

- Прощай, возьми еще колечко.
- Оденешь рученьку свою
- И смуглое свое сердечко
- В серебряную чешую...

Это — интонация неповторимой нежности, не просто нанизавшая на себя слова, всего лишь не противоречащие ей, но родившая из своих недр такие же неповторимо нежные слова, как она сама — или рожденная ими: невозможно теперь и различить эти две различимые в принципе возможности. Так и получается «правда», по выражению Блока, но еще более правдивая, чем если бы она заключалась в одном только отсутствии противоречия между пением речи и смысловым звучанием образующих ее слов. Не стихотворение — туманность (здесь формулировка Блока становится сбивчивой): оно рождается из туманности, которая поначалу почти ничего не значит; но поет (определенным образом, не так, как будет петь другая), и лишь постепенно приобретает словами выраженный смысл, сливающийся с ее бессловесным, музыкальным смыслом. Такое творение-рождение гораздо более сомнамбулично, чем улавливаемое, например, в пушкинских черновиках превращение метрической и тематической схемы в смыслозвуковую музыку. Лучшими стихотворениями третьего тома (и очень немногими в предыдущих томах) достигается, однако, смысловая насыщенность несколько не уступающая интонационно-звуковой (чего у Фета никогда нет) и тем самым четкость, не рассудочная, конечно, а поэтическая, но вполне противоположная, тем не менее, той первоначальной туманности, которую смысл, не расставаясь со звуком, полностью исчерпал, без остатка вобрал в себя.

Ранняя поэзия Блока (которой пережитки есть еще и в третьем томе) не такова. Туманность в этих стихах поет, отнюдь не приобретая полной смысловой прозрачности (измеряемой, конечно, позднейшими его стихами, а не близостью к внепоэтическому языку). Преодоление туманности, при сохранении, а чаще всего и углублении музыки, достигается Блоком только сквозь страшное напряжение всех душевных сил, не в кабинетных каких-нибудь «муках творчества», а в живом, жизненном мучении. Каленым железом, огнем, не щадя ни себя, ни самого ему дорогого, он иссушает, выжигает туман, достигает убийственно-горькой ясности. Юность, радость, невинность связаны для

него с туманом, а с ясностью, как мы еще увидим, безвыходный «страшный мир». Уже в 1907-ом году, он матери писал: «Чем хуже жить — тем лучше можно творить, а жизнь и профессия — он хочет сказать: призвание поэта — несовместимы». Оттого и слышит он в напевах своей музыки «роковую о гибели весть»; оттого и говорит ей: «Для меня ты мученье и ад»; оттого, хоть и радуется услышав «легкий, доселе неслышный звон», хоть и «скуку смертельную» чувствует, пока его не слышит, но ждет его все же, чтобы его прикончить, «убить» — «Жду, чтоб понять, закрепить и убить» — как убийство ощущает истребление смыслом или перерождение в смысл услышанной или увиденной внутренним оком звуковой и образной туманности.

С моря ли вихрь? Или сирини райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

В «Стихах о Прекрасной Даме» ответов поэт не искал, да и вопросов не задавал; туманность, из которой возникли те стихи и сквозь них еще баюкает и ласкает душу. Не оттого ли и любил он так эту первую свою книгу, не оттого ли и матери сказал в конце жизни (хоть были тут, как мы увидим и другие причины): «Знаешь, что я написал один **первый том**. Остальные все — пустышки». Отрекался он этим от вершины своей поэзии, ради той первородной, подаренной ему — «за гранью прошлых дней» — туманности, из которой, однако, вся его поэзия и родилась. Отрекался от зрелости, от тех лет, когда пришлось ему сказать:

Творческий разум осилил — убил,

а потом закончить стихотворение такой неотразимо-певучей, но и неотразимо-безнадежной из интонаций скомпанованной жалобой:

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая в вечернем огне,
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять.
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.

Но что же такое, пора тут себя спросить, эти туманности — преодолеваемые эти туманности, — из которых «рождаются миры», то есть микрокосмы поэтических творений? Откуда сами туманности эти берутся или возникают? На это нахожу я один только ответ грубый, но, кажется мне, верный: из сумбура. Сумбур, это та смесь чувств, ощущений и зачаточных мыслей, которая шевелится где-то на пороге или за порогом сознания во всех нас, и может, не то сгущаясь, не то частично просветляясь образовывать смутно ощутимые в своих контурах туманности (лучшего слова тут, пожалуй, и не найдешь), чаще всего прогоняемые нами, когда нам нужно действовать или отчетливо мыслить, но для поэта, художника, музыканта драгоценные, более им нужные, чем все сокровища Шехеразады. Для них в этой слегка просветленной или черней обозначившейся тьме уже мерцают образы, сцепляются слова, звучат зачатки мелодий. Хаос и космос — соотносительные понятия, и если космос лишь отражает космос, а не рождается из хаоса, это значит, что «творческий разум» оказался нетворческим или что космосу не из чего было рождаться. «Строить космос можно только из хаоса», это слова самого Блока (в письме Е. П. Иванову от 3 сентября 1909 года). Он им, правда, придает дополнительный смысл, противопоставляя предлогу «из» предлог «на». Строить **на хаосе** нельзя, потому что тогда хаос останется в том, что ты строишь; он даже обвиняет в заблуждении такого рода Толстого и Достоевского (совершенно несправедливо, конечно); противопоставляет их Пушкину. «После него, — пишет он, — наша литература перестала быть **искусством**, и все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским) — гениальная путаница». В этом письме он мыслит, как не раз ему случалось, против себя: против **своей** путаницы, **своего** сумбура.

Для того, чтобы «творческий разум» осилил туманность (или — по его чувству — «убил» ее), надо чтоб она **была**, а для этого нужен сумбур, место рождения всех туманностей, а значит и всех из их преодоления возникших микрокосмов. Поэты о тумане и сумбуре, о до-космическом хаосе судят и творчество их относится к нему по-разному. Пушкин о нем знает, Тютчев его воспевает, но ни в пушкинских, ни в тютчевских стихах хаоса

нет. В стихах Блока всегда, либо туманности, порожденные хаосом, пребывают, либо есть глухая тоска по ним (порой непосредственно и высказываемая в стихах). Мысль его почти всегда сумбурна, не отделена от чувств, страстных и пристрастных, требовательных в высшей степени, как это видно по его письмам, статьям, дневникам и не до конца «осиленным» стихам. Сумбурно мыслили, среди его младших современников, Пастернак и Мандельштам; само по себе, это их, как поэтов, конечно, не умаляет, но и не возвышает по сравнению с мыслившими не сумбурно Ахматовой или Ходасевичем. Но случай Блока — особый. Ценою самоистязания, которого никакой литературной меркой измерить нельзя, он свой сумбур в лучших своих стихах победил, подняв эти стихи на высоту, не достигнутую ни одним, как бы высоко мы их ни ставили, из только что названных больших поэтов. Однако сумбур этот предопределил и скорбную его судьбу. Такую скорбную, что и думать о ней больно.

Есть малоизвестные, но очень стоящие внимания слова Бердяева о Блоке (по случайному поводу, в короткой статье парижского журнала «Путь», номер 26, февраль 1931 года):

«Блок один из величайших лирических поэтов. По нему можно изучать природу лирической стихии. Когда мне приходилось разговаривать с Блоком, меня всегда поражала нечленораздельность его речи и мысли. Его почти невозможно было понять. Стихи его я понимаю, но я не мог понять того, что он говорил. Для понимания нужно было находиться в том состоянии, в каком он сам находился в это мгновение. В его словах совершенно отсутствовал Логос. Блок не знал никакого другого пути преодоления и просветления душевного хаоса, кроме лирической поэзии. В его разговорной речи еще не совершалось того прекрасного преодоления хаоса, которое совершалось в его стихах, и потому речь его была лишена связи, смысла, формы, это были какие-то клочья мутных еще душевных переживаний (...). Мне всегда казалось, что у Блока совсем не было ума, он самый не интеллектуальный из русских поэтов».

Как это часто бывает у Бердяева, в целом сказанное им убеждает, но в частности раздражает, потому что высказано оно кое-как. Блок был умен; отдельные мысли его так — не целясь — попадают в цель, как Бердяеву и не снилось. И пронизательность, и трезвость есть в его уме. Логос был ему не чужд; чужда ему была Ratio. Этого различия философу не следовало бы забывать. Но конечно **Бердяев** был философом; отнюдь не Блок. Он мыслил бессвязно. Туманностями чаще всего мыслил, внезап-

ными озарениями, сгустками чувств. Мыслил тучами и молниями; (недаром писал (довольно невнятно) о «Молниях искусства») но при свете молний аксиом Евклида не выверишь и связанных умозаключений не построишь. Не то чтобы он Логос принес в жертву Мусикии, но «творческим разумом», Логосом только в ней, только в стихах сумбур преодолевал. Да и то не всегда. Тут Бердяев прав. А когда стал проясняться после «Двенадцати» сумбур его зрелых лет, когда не в стихах уже и без стихов пришлось ему расплачиваться за него, тогда и затосковал он о милом, о розовом сумбуре своей первой книги.

Не о том сумбуре тосковал, из борьбы с которым родились лучшие его стихи; о другом, юношески-светлом, «осилить», «убивать» который еще ни сил, ни желанья у него не было. Не о том времени жалел, когда вырвалось у него: «Чем хуже жить, тем лучше можно творить»; жалел об иллюзорном, розово-сумбурном слиянии действительности с мечтою. В девятьсот девятом году, на пороге полной своей зрелости, написал он, чего не написал бы, скажем, в девятьсот втором:

Светлой ангельской лжи не знал я отрав,
Не бродил средь божественных чаш...

Стихотворение это (слабоватое для третьего тома) кончается так:

И когда вам мерцает обманчивый свет,
Знайте — вновь он совется во тьму.
Беззакатного дня, легковёрные, нет,
Я ночного плаща не сниму.

Но ведь не родился он в ночном плаще, и далеко не сразу — окончательно лишь в «Ночных часах» облек в него свою поэзию. Теперь (стихотворение написано в январе), он как бы заранее от себя отстраняет те христианско-языческие образы земного рая, которые весной того же года предстанут ему в Умбрии, в Тоскане и у живописцев раннего Возрождения. Напомнят ему, однако, иные из них то, о чем вспоминать он в этих стихах не пожелал: первый его сборник, где «светлой лжи», хоть и едва ли беспримесно ангельской (и, конечно, не называвшей себя ложью) было столько и так радостно она сияла, что не одна его душа в сиянии этом купалась и немеркнушим готова была его счесть. Но, если «Боря» и «Серёжа» (то есть Андрей Белый и Сергей Соловьев) ощутили «Балаганчик», как вероломную измену той книге и всему полувывысказанному или несказанному, что

было за ней — их мистическому тройственному союзу, Любви Дмитриевне («Л.Д.М. своею кровью / Начертал он на щите») целомудренно-высокому (хоть и очень искусственному в своей основе) образу любви; то и сам поэт этот свой первый драматический опыт точно также грехопадением ощутил, приписал его замысел своему внутреннему «департаменту полиции», то есть чему-то в его собственной душе сатанински враждебному лучшему ее помыслам, видениям и порывам.

Мы склонны теперь, когда читаем относящиеся ко всему этому письма, стихи или воспоминания, пожимать плечами и улыбаться; насчет Сережи и Бори мы отчасти быть может и правы; но поэзию Блока мы наполовину зачеркнем, если откажемся принимать всерьез ее вне-литературную основу. Если же мы поэзию эту ценим и любим, как она заслуживает быть любимой, то, наткнувшись, среди «Стихов о Прекрасной Даме», на уже упомянутое «Люблю высокие соборы», мы, как бы ни старались, не сможем полностью отделить лирическое «я» этих стихов от человеческого «я» их автора. Невольно мы его голос слышим, «вменяем» ему, на совесть его полагаем эти не совсем еще «департаментом полиции» внушенные, но уже «лиловые» или «пурпурово-серые», по другой его терминологии, стихи — 1902-го как раз, а не девятого, года, как не отделяем и «ангельских» от его — не поэтического только, но и человеческого — облика тех лет.

Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с измененным ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.
Вот — содрогнулись, смолкли хоры,
В смятении бросились бежать...

Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать.

Лубочно-буквального истолкования стихи эти, конечно, от нас не требуют. Будь они написаны по-итальянски, я не одобрил бы итальянцев, которые, завидев издали их автора, стали бы делать жест двумя пальцами (рожки дьявола!) повернутыми вниз. Но я понял бы, из каких побуждений они так поступают, как и понял бы, почему Кардуччи, написавший «Гимн Сатане», вовсе, насколько мне известно, этого жеста со стороны своих соотечественников не опасался. Кардуччи был знаменитым стихотворцем, профессором Болонского университета и легендарным обжорой в конце долгой своей жизни. Блок и в стихах, и в жизни, и в смерти был поэт.

5. Страшный мир.

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее «вполне отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во единую святую соборную и апостольскую Церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок.»

Записка эта была заготовлена 7 ноября все того же 1902 года перед решительным объяснением с Любовью Дмитриевной. Объяснение, однако, принесло не отчаяние, а радость, что было запечатлено восторженной записью в дневнике, тотчас набросанными не вполне удавшимися стихами и — на следующий день — стихотворением, открывающим в первом томе заключительный его раздел «Распутья», но снабженным, немного погодя в рукописи отнюдь не святым, не соборным, не апостольским (и зачеркнутым позже) заглавием «Прекрасная Дам»: «Я их хранил в приделе Иоанна, / Недвижный страж, — хранил огонь лампад», начинается оно, напоминая лишний раз о неугасшей и через много лет Сашинной любви к зажиганию лампадок; а затем возвещает: «И вот зажглись лучом вечерним своды / Она дала мне Царственный Ответ». Из чего явствует, что Люба Менделеева, девушка, даже и по снимкам судя, отчетливо земная (не нашлось бы в те годы, в том кругу, и одной на десять столь земной) не только нарекалась Прекрасной Дамой, по примеру рыцарских времен, но и отождествлялась с небесным всех прекрасных дам прообразом. Прописные буквы, впрочем, и без того об

этом говорят, как и те, что им вторят в «Царственном Ответе», давая понять, что ответчица — сама Царица Небесная. — Не теперь, а десять лет спустя в обращении к Музе будет помянуто: «И когда ты смеешься над верой, / Над тобой загорается вдруг / Тот неяркий, пурпурово-серый / И когда-то мной виденный круг; но, быть может, именно теперь — или раньше, в апреле того же года «с измененным ликом / В мерцании мертвенном свечей» — поэт и увидел впервые этот ночной, а главное смутный и мутный ореол...

Во всяком случае, хоть и благополучно кончилось объяснение, хоть и улетучились столь нередкие в эти месяцы самоубийственные мысли, а все ж, если в двенадцатом или в девятом году утвердиться и поглядеть назад, не совсем беспредметными покажутся за два дня до объяснения написанные стихи, невесту предполагающие потерянной, записку («В моей смерти прошу...») не отмененной, да и как раз такое «оглянься» имеющие в виду (роковое, правда, Орфея, а не просто печальное, памяти). Начинаются они так: «Дома растут, как желанья, / Но взгляни внезапно назад: / Там, где было белое зданье, / Увидишь ты черный смрад», и можно пророческим счесть это начало. Не то, чтобы в зрелые годы Блок хоть раз увидел черным «белое зданье» своей юности, или смрад почуял в тогдашнем розовом сумбуре, но со стороны глядя, понять легко, что «Царственный Ответ» не на небесах прозвучал и не для небес, и что как раз сквозь это его насильственное водворение в небеса и обозначились вдали первые очертания чего-то совсем непохожего ни на беспечальное житье в сельце Шахматове, ни на эти юные, хоть и сумбурные, хоть и мнимо-небесные мечты, — чего-то, что и мучить его будет, как не мучился он еще, и стихи заставят писать, каких он еще не писал, — первые, едва угадываемые очертания страшного мира.

Через два с половиной месяца после царственного ответа и меньше чем через месяц после принятия родителями невесты официального предложения, было невестой (29 января 1903 года) написано жениху: «Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ясно — до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете (...); Вы нзвоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека с живой душой и не заметили, проглядели». Перехожу к заключению; биографии Блока не пишу. «Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, вижу, что я Вам никогда не прошу то, что Вы со мной делали

все это время — ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне было холодно, страшно и... скучно.» Послание возвещало разрыв, и хоть не послала его Любовь Дмитриевна, хоть и простила, да все-таки и не простила, — до самой смерти, на много лет мужа пережив; и зная (приблизительно) как позже сложилась их жизнь, упрекнуть ее в этом никто не имеет права. Все дальнейшее, и выдумки (включая Сережу и Борю), и жалостная правда (того же Борю включая, и других не на авансцене действовавших лиц, в том числе и восемь дней прожившего младенца, † 10 февраля 1909 г.) было предугадано этим непосланным письмом. В свое время Блок его все-таки прочел. Писал ей: «Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают более отвлеченные (...). Но никогда, раз навсегда клянусь тебе, я не в силах уйти в **полную отвлеченность**. Я **никогда** не забуду, что ты живая и молодая, такая как ты есть перед глазами в простом человеческом сердце моего существа».

Не заключалось в этом никакой неправды: только легче от этого не было и не стало никому. То, о чем в послании непосланным обезоруживающе простодушно было сказано: «Ведь я даже намекала Вам: надо осуществлять», так и не осуществилось. В мае 1903 года поэт невесте сообщал: «Опять приходил «Он» (черт?) и пугал. Он был неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным». Замутился розовый сумбур. Смутным стало то, что могло быть ясным, даже если ясным еще и не было. Ясность взаимной простой любви (простой по-иному, чем тот посетитель был прост) Блок — не сознавая этого — конечно — принес в жертву своей поэзии. Поэзия его питалась сумбуром, — розовым, помутневшим, все более мутным, мрачным, черным; ясностью счастливой любви она питаться не могла. «Чем хуже жить, тем лучше можно творить» — через четыре всего года будет найдена эта формула; а еще через два года, после новых бурь и бед — ведь не одним лишь счастьем жены пожертвовал он, но и своим — обретет он уже, или на пороге будет, чтобы обрести свою полную поэтическую зрелость.

Заплатил он за нее, и тяжестью этой платы многое было определено в лирических темах зрелой его поэзии. «Нет. Над младенцем, над блаженным, / Скорбеть я буду без тебя.» Стихотворение, кончающееся этим вызовом, относится к похоронам того самого любимого ребеночка, Сашей принятого, объявленно-своим, который на свете прожил так недолго. Он в страшном мире умер, в том, где уже все стихи второго тома были написа-

ны и где через несколько лет напишет Блок, неизвестно для кого (запись эта была опубликована без пояснений совсем недавно) на обороте визитной карточки, твердым своим почерком, но с особенно резким нажимом пера: «Пусто, дико, страшно, бездомно и от страсти спасения нет.» Напоминает мне этот его возглас рассказ очевидца о том, как однажды подошел поэт к трактирной стойке, залпом выпил стакан и упал без чувств. Если бы теперь решил он на столе записку оставить, вроде той 1902 года, наверняка бы он туда ни слова из символа веры не вписал. И тот образ Приснодевы, искони непосредственно ему более близкий, чем образы Сына и Отца, и светящийся все же сквозь всю лиловою муть его первой книги, его юной жизни, теперь заволакивается другой — тусклой и запятнанной — пеленой. Среди итальянских стихов того же 1909 года есть два (да и в меньшей мере еще два) весьма отчетливо близких к мотивам «Гаврилады», которую Пушкин не в зрелые годы писал (и дорого бы в зрелые годы дал, чтобы написана оказалась она не им). Да и не расшалившиеся это стихи, а упрямые, рьяные, как румынский скрипач в кабаке у столика, изгибающий стан, нажимающий на смычок: «Он поет и шепчет — ближе, ближе, / Уж над ней шумящих крыл шатер...» (Другое стихотворение содержало строчки, изъятые Блоком из третьего тома и совсем уж надуманно-оскорбительные). Когда Сергей Соловьев, бывший друг Саши и Бори, паладин вместе с ними неземной и земной Л.Д.М. прочитал это «Благовещение» в «Ночных часах», был им поражен и сказал об этом Блоку, тот, по словам его, «мрачно ответил»: «Так и надо. Если бы я не написал «Незнакомку» и «Балаганчик», не было бы написано и «Куликово поле». Сумбурен этот ответ. Ни о «Балаганчике», ни о «Незнакомке», Блока не спрашивали. Никакого отношения не имеют ни они к «Благовещению», ни «Благовещение» или они к «Куликову полю». Верно тут лишь оставшееся не сказанным «Чем хуже жить, тем лучше можно творить» (пусть и при некоторых частичных изъянах самого творчества). Верно, что без второго тома не было бы и третьего, и без погружения в страшный мир — лучших стихов Блока, часть которых и образовала цикл этими словами озаглавленный.

Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!

Не забудем, что и поцелуи, и песни, и все вообще «в нем», все в этом страшном мире или просто в мире, в нашем мире, все — включая торопящиеся эти кометы. От одной из них беды не ждали, зато другая внушала опасения и немножко разочаровала Блока тем, что не сумела их оправдать. Многие, конечно, склонны будут утверждать, что страшной — был или есть — не мир, а только мир, явленный поэту Блоку или пусть даже Блоку без разделения в нем поэта и человека, во всяком случае его мир, а не наш. Или есть еще другое мнение, общеобязательное нынче на его и нашей родине, утвержденное государственной властью, защищаемое армией и полицией. Согласно этому, ни твоему, ни моему, но всех верноподанных мнению, мир и в самом деле был страшен до октября 1917 года, после чего вовсе перестал быть страшен на территории, этой власти подвластной, и стал менее страшен за ее пределами, вследствие надежды на расширение эти пределов. Блоку и самому померещилось нечто в этом роде, хоть и при полном отсутствии мыслей о государстве, армии или полиции, тогда же, в семнадцатом году; мерещилось и в начале восемнадцатого, когда он писал «Скифов» и «Двенадцать», быть может и еще некоторое время, но все слабей, а затем, года за два или полтора до смерти — трудно сказать в точности когда — и вовсе мерещиться перестало.

Что могло вообще померещиться, доказывает наличие некоторой связи между мироощущением Блока и действительностью. Сам бы, во всяком случае, не думал, что мир лишь для него страшен, в силу особых качеств его личности или его судьбы. Не думал он также, что мир страшен лишь «вообще», независимо от его нынешнего состояния, как и, с другой стороны, не считал, что в одной России он плох, а за ее пределами хорош. «Страшный мир», в представлении Блока, это все, что его окружает, все, в чем и даже чем он живет — и вещи, и люди, и мысли, и чувства, песни, поцелуи, кометы (несущие, быть может, гибель этому всему) — все, чем и в чем живет, с жизнью его неразрывно, и его поэзия. Какие стороны или свойства этого мира принадлежат ему искони, повсюду и во все времена, и какие лишь его времени или стране, или ему, его жизни, вызваны, быть может, и его виною, это он в отдельных случаях различает, делает темой того или другого стихотворения; но целостное представление и ощущение «страшного» мира господствует, начиная со второго тома, над всей его поэзией, предопределяет весь тон, всю музыку ее; и не только поэзией владеет, но — как это бывает не у всех,

только у таких поэтов, как он — подчиняет себе всю мысль его и всю его жизнь.

Страшен, таким образом, одновременно, «мой», «наш» и вообще мир. Но из всех этих трех солидарных и переплетенных между собой аспектов «страшности» преобладает у Блока, захватывает его с наибольшей силою второй. В русской поэзии это было ново; относительно ново и в европейской. Еще у Леопарди отказ и отчаяние, высказываемое обращением к своему сердцу: «Довольно ты билось» или стихом о «бесконечной суете всего», относится к миру вообще; новым голосом — молодым — вторит гротису Экклезиаста.

У Кольриджа, Китса, Баратынского — и уже у Шиллера — намечается тема «Последнего поэта»; но «Сумерками» назвал Баратынский несравненный свой маленький сборник 42-го года лишь в предвидении старости и быть может в предчувствии ночи, но совсем еще не постигая, чем именно обернется эта ночь. Бодлер, первый, в своем Париже узрел «огромный очерк» этого ночного «поэтического мира». Оба словосочетания эти позаимствовал я у Баратынского, но второе невольно, потому что новый, ночной и «страшный» мир не сам по себе поэтичен, не принадлежит поэзии, не предназначен стать поэзией, а лишь мучительным усилием поэта, которое ему самому кажется гибельным и чрезмерным, превращается в поэзию. Это не внутренний его мир, и не мир рождения, времени и смерти; это — наш мир, искусственный, городской, статистический, индустриальный, какого еще недавно вовсе не было. Из него-то и надлежит поэзию извлечь, сделать его «поэтическим миром». «Не легкий труд!» мог бы воскликнуть Бодлер, как воскликнул Ходасевич много лет после него:

Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Но в стихах этих трудность такого труда едва ли даже не преуменьшена. Поэтам страшного мира приходится не столько воссоздавать рядом с ним другой (который в их душе быть может вовсе и не разрушен — иначе не казался бы им страшным страшный мир), сколько поэзию — черную, ночную — добывать из него самого, как это и Ходасевич делал, хотя бы в этом самом своем стихотворении («Звезды»), как это делал первый в Европе, Бодлер, первый в России, Блок.

Вся европейская поэзия, а за ней, с немалым запозданием, и русская, следует в этом Бодлеру. Еще Анненский, превосходно его зная, центральную его тему для себя центральной не сделал и в нестрашном мире было бы ему страшно жить. Блок эту тему через Брюсова воспринял, который, однако, перенял ее у Бодлера внешне, по-литераторски, найдя ее выигрышной и «современной», тогда как Блок, мало сказать, что ее усвоил: это даже и не тема у него (кроме разве что отдельных, не самых глубоких его творений), она еще больше, чем у Бодлера — слившись с самым его тайным, самым личным — его поэзия. А так как поэзию свою он отождествляет с жизнью, еще решительней, чем Бодлер, Анненский, даже Ходасевич, не говоря уже о Брюсове (который всю жизнь хитрил и с жизнью и со стихами), то и получается тот сумбур, та поразительная смесь отталкиваний, восторгов, пророчеств, прозрений, упрямств, безумств, которой затуманивается его мысль, но откуда и рождается все им созданное; лучшее в неповторимой чистоте и музыкальной силе, другое — в той же расплавленности и неодинаковой четкости составных частей, как в его дневниках, письмах, записных книжках, статьях, но без малейшей лжи или фальши, которых нет никогда и там. Ощущение страшного мира, созерцание его, это нечто для Блока основное, без чего ни его самого, ни его поэзии, начиная, во всяком случае, со второго тома, представить себе нельзя. «Страшный мир. Но быть с тобой странно и сладко», записывает он. Хоть и ужасен, этот «ужас жизни», но и сладок, потому что нужен его поэзии. Конечно, он и судит о нем, рассуждает о нем, осуждает страшный мир, ищет выхода из него (пусть даже во вред своей поэзии); он ведь и узнает о нем не только глядя вокруг и глядя в себя, но также из разговоров, из газет; принимает или отвергает различные интерпретации его. Только это все вторично: чужие мысли о том, что, как поэт, он видит и знает сам. — Все что пишут о Блоке вот уже пятьдесят лет в его стране, испорчено тем, что вторичное велено там считать главным или лучше еще — единственным.

«Ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция.» Это он пишет матери из Милана, перед возвращением из Италии, ранним летом того же девятьсот девятого года, который он начал отречением от «ангельской лжи» и погребением едва появившегося на свет младенца. Он продолжает: «Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же

— лирическая величина. На самом деле ее нет, не было и не будет.»

Последние три фразы менее постоянными чувствами были вызваны, чем три первые. Насчет искусства, ради Италии было сказано и ею внушено; насчет детей и смерти — мысль не из самой глубины; а если Россия — лирическая величина, то какие же величины важнее лирических для Блока? И очень она «есть». До отъезда он матери писал: «Изю всех сил постараюсь я забыть начистоту всякую русскую «политику», всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злости и ненависти. Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или — изолироваться от унижения — политики, да и «общественности» (партийности)». И кончая письмо так: «Я считаю теперь себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях». А за два месяца до того объяснял Розанову свою ненависть к официальной России, государственной и церковной: «Не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя кровь, — Блок разумел бекетовскую интеллигентскую традицию, — говорит мне, что смертная казнь и унижение личности — дело страшное, и потому (...) мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной литургии к Исакию, потому что не могу различить, что блещит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская епитрахиль или поповская нагайка». Одним словом: «Все одинаково смрадно, грязно и душно — как всегда было в России», если верить тому, что писал он матери в ноябре того же года; хотя полностью этому верить тем, кого к этому не принуждают, конечно незачем. Первое, однако, чего тут не надо забывать, это что душной и смрадной казалась Блоку отнюдь не одна Россия. Можно было бы и на этот счет привести немало цитат, относящихся к итальянским впечатлениям того же девятого или другим заграничным, одиннадцатого и тринадцатого года, так что основополагающими следует все-таки считать не российские эти его, а те три первые изречения: «Ничего из жизни современной я до смерти не приму. Ее позорный строй внушает мне только отвращение». Эти два, если их правильно понять, принадлежат несомненно к основному. Но, подумав, присоединяю к ним третье: «Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция».

Не оспариваю ничуть, что Блок, уже и в 1905 году, революции сочувствовал, а в 1917-ом и первой половине 18-го дей-

ствительно верил, что она переделает «все» и построит новый, уже не страшный, не вызывающий отвращения мир. Столь же бесспорным считаю, однако, что эту веру под конец жизни он утратил, и что «позорного строя» современной жизни он никогда вглубь и до конца с ее социально-политическим строем, ни у нас, ни на Западе, не отождествлял. Вглубь он сливался для него со страшным миром, а «страшный мир», в основе своей, не социологическое и не политическое понятие. Конечно, Блок очень всерьез называл вешателей подлецами и вполне искренно возмущался «поповской нагайкой» или «жандармской епитрахилью», т. е. репрессивным союзом светских и церковных властей (возмущавшим, кстати сказать, и всех лучших «церковников» того времени). Удивляешься даже, как это решаются цитировать эти высказывания его в нынешней России, где ведь еще в гораздо более широком размере идеология поддерживает полицию, а полиция идеологию; где «вешатели», правда, не вешают, но занимаются все-таки тем же делом, что и прежде; и где за полвека во сто, а то и в тысячу раз больше было унижений личности и казней, чем за все двести лет от Петра до Ленина. Но ведь в страшном мире, для Блока, жила его собственная душа, с тех пор как с розовым сунбуром и сельцом Шахматовым рассталась, жила душа матери, душа жены, жили поцелуи, кометы и цыганские песни, жили, возникали из этого мира его стихи, и на визитной карточке в этом мире он написал: «Пусто, дико, страшно, бездомно», в этом мире падал за смертью у стойки и о самоубийстве помышлял, воскресения мертвых и жизни будущего века уже не чая. — Все это ни к нагайке, ни к епитрахили — жандармской, по крайней мере — никакого отношения не имеет. Всего этого «не переделает никакая революция».

И не переделала. Не могла переделать, потому что страшен «страшный мир» не социологически только, но и метафизически, точнее говоря: религиозно. Да и того не устранила, что возможно и должно было устранить: передвинула только, переименовала и сделала злее, чем когда-либо.

Будьте же довольны жизнью своей,

Тихе воды, ниже травы!

О если б знали, дети, вы,

Холод и мрак грядущих дней!

Этот «Голос из хора», как усердно заглушают его в нынешней России! В книгах о Блоке стихов этих не приводят, предпочитают

забыть о них. Но Блок их не забывал. Помнил или вспомнил, когда опьянение революцией прошло; не раз читал; однажды так прочел, что слушатели — я еще к этому вернусь — надолго чтение это запомнили. Как хотелось бы сторожам нынешнего за стальной решеткой рая, чтобы не было у него этих и других таких же безнадежных, но поэтическую жажду всего волшебней утоляющих стихов! Не слушают, уши затыкают и все твердят, не поэтически вторят поэту: не знаю Христа, ненавижу Церковь, проклиная то-то и еще то-то, чего нынче больше нет, — как будто в их устах то же это значит, что когда-то значило для Блока. Разучились понимать — силой их разучили — что это бывает лживым. Умным оно не бывает никогда.

(Окончание следует)

Борис ФИЛИППОВ



О ЗАМОЛЧАННОЙ

Несколько слов о поэзии Марии Шкапской

Что такое история литературы? Особенно литературы нашего века, — так, как подается она в СССР? — Официальная четырехтомная история русской советской литературы, за немногими исключениями, это очерки о тех писателях, которых никто не читает. Панферовы и Фурмановы, Серафимовичи и Гладковы, — стоит ли перечислять всю ту графоманскую макулатуру, которой набиты советские истории советской литературы. Но найдите там очерк о Мандельштаме, главы о Клоеве или Заболоцком. До недавнего времени не было очерка и об Ахматовой...

Окончательно замолчана и Мария Михайловна Шкапская (1891-1952). Дважды мелькает ее имя на страницах новой четырехтомной истории советской русской литературы — и то второй раз — как об очеркистке, газетном работнике. В 1968 году вспомнили ее, издали в Москве книгу Шкапской, но, конечно, не стихов, а... газетных путевых репортажей, глав из истории завода им. Маркса, очерков советского строительства... И в предисловии к этой книге, приводя хвалебный отзыв М. Горького о первом сборничке стихов Шкапской, прямо говорится, что «не является ли столь высокая оценка **никому не известной** теперь книги преувеличением...?»

А, вместе с тем, Марию Шкапскую как поэта приветствовали столь полярно противоположные писатели, как Максим Горький и

о. Павел Флоренский, не знавший, кому из трех крупнейших поэтов-женщин нашего века отдать предпочтение — Марине Цветаевой, Анне Ахматовой или Марии Шкапской. По силе и эмоциональной насыщенности — при предельной краткости — Флоренский ставил, пожалуй, на первое место Шкапскую. Правда, тогда не было еще ахматовских «Северных элегий» и «Поэмы без героя»... А Горький писал Шкапской в январе 1923 года, прочитав первую книжку ее стихов: «Вы, повторяю, на новом и очень широком пути. До вас женщина еще не говорила так громко и верно о своей значительности».

Как поэт Шкапская прожила недолгую, но яркую жизнь: последние ее стихи были опубликованы в 1925 году, а в конце того же года она стала разъездным корреспондентом «Вечерней Красной Газеты» в Ленинграде, затем посвятила не один год истории завода им. Карла Маркса — на эту завлекательную работу ее сосватал Максим Горький (кстати, эта многолетняя работа Шкапской так и не была опубликована, кроме нескольких фрагментов из нее). И газетный репортаж убил поэта. Репортаж ведь в СССР — это не только информационная работа, а и так называемая работа «общественная». Недаром писал Шкапской Давид Заславский: «Вы любовно наблюдательны. Вы ходите среди новых людей, явлений, присматриваетесь и гладите их с материнской лаской... Это уже мало для Вас, как для советского очеркиста. Надо сделать еще шаг, и стать хозяином: не только гладить, но и ударить, и вмешаться, и прикрикнуть». Смогла ли «ударить» и «прикрикнуть» Шкапская — сказать трудно. Но стихов она больше, как будто, не писала. И, во всяком случае, не печатала.

Темы стихов Марии Шкапской в основном ограничены кругом переживаний жены-любовницы-матери. Любовь, зачатие, беременность, аборт, смерть ребенка, ревность — «женская Голгофа»: «...Познав любви пленительный Эдем, родить дитя неведомо зачем...» (**Кровь-руда**). Но при небольшом многообразии тем поражает сдержанная сила их претворения в стихи:

Было тело мое без входа и палил его черный дым. Черный враг человеческого рода наклонялся хищно над ним.

И ему, позабыв гордыню, отдала я кровь до конца, за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица.

(Читатель должен простить меня: говорить о поэте — это показывать его, а не рассказывать о нем. Тем более, когда поэта этого не знают или позабыли. Отсюда — обилие цитат.)

Мало кто писал на эти темы. Писали о ж е н с к о м не мало, но мало женщин-поэтов воспевали, скажем, беременность. А Шкапская писала:

О, тяготы блаженной искушенье, соблазн неодолимый зваться «мать» и новой жизни новое биенье ежевечерне в теле ощущать.

По улице идти как королева, гордясь своей двойной судьбой. И знать, что зыскано твое слепое чрево и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господня гнева в ночи не встанет над тобой.

И быть как зверь, как дикая волчица, неутоляемой в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и стать опять отдельной и одной.

Пусть любимый изменяет с другими, но если он, «в угаре пламенных страстей», и «много им отдал тела», то Шкапская с гордостью заявляет:

Но матерью своих детей ты ни одной из них не сделал.

Ибо есть любовь и любовь. Не может женщина примириться, «чтоб быть могли зачатъя безлюбовны и их не метил страшный Божий знак» —

Кто уравнил жену в правах с рабыней? Какой еврейский страшный Бог хотя на миг один позволить мог, чтоб были равны в сыне — Агарь, бредущая в пустыне, и Сарра, легшая меж мужних ног.

И — смерть ребенка — или рожденье мертвого:

Только в сердце твой тихий след,
Плоть от плоти, от жилки жилка.

Все это — из первой книжки стихов — «Mater Dolorosa» (1921), той, которую приветствовал Горький. Но он, Горький, ждал, что Шкапская перейдет к теме материнства еще и «расширительно», как к «матери мира, матери всех великих и малых творцов... новой жизни», а Шкапская оставалась и в книгах «Кровь-руда» (1922), «Барабан Строгого Господина» (1922), и в других своих стихах все той же «умной плотью», да еще и с

неким элементом «религиозного дурмана»... Зато опекал Шкапскую Александр Блок.

Пара за парю — муж с женой,
В любовном танце один с другой.
Вчера родили и вновь зачнем
И вновь родим — и жизнь наша в том.
Уроним семя и плод сберем,
Мы ветер сеем и бурю жнем.

(**Барабан Строгого Господина**)

И Бог — Строгий Господин, — и блюдет строгий закон крови-руды — наследственности — непреклонный завет: любви-отцовства-материнства, непреложных, неосознанных даже традиций и позывов:

Старые мои, мои мертвые, глаз ваш слеп и язык ваш нем,
и черты ваши полустертые не хранятся никем.

Но кровь вашу непрерывную хранит моя бедная плоть и ей вашу власть неизбывную — не обороть. (**Там же**).

Господь («Лукавый Сеятель») стережет «зачатные часы» («Скудные, хилые, слабые, человеческие семена, хозяйка хорошая не дала бы нам для посева такого зерна»):

Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне, в объятьях мужниных, в руках его больших — гляжу украдкой в широкие ладони, где Ты приготавлиаешь их — к очередному плотскому посеву — детенышей беспомощных моих, — слепую дань страданию и гневу. (**Там же**)

Голым, беспомощным, беззащитным брошен человек в жизнь, но мы «все помним о древнем рае», но все-таки эта жизнь наша — тоже отблеск отринутого рая, и поэтому какая непроглядная трагедия — аборт:

Да, говорят, что это нужно было... И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая.

Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей приносим че-

ловеческие жертвы. А ты, о Господи, Ты не встаешь из мертвых на этот хруст младенческих костей! (**Mater Dolorosa**).

И — «видно виновной матери — не уснуть!» Но мать не только взывает к Богу («Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне воззвах?»), она и **не хочет** часто Бога, пока занята детьми своими, своей семьей:

Христос, не заходи, пройди мой мирный дом.
Пусть сердце жаждало пришествия Господня:
Прошу настойчиво с молитвой и стыдом —
Когда-нибудь потом, но только не сегодня.
Не Марфой скромною — теплее и родней,
Марией пламенной Тебя хочу я встретить.
А нынче, Господи, властителями дней
Твои соперники — мои малютки-дети.

Но вот когда «покинув мать и дом, уйдут на волю дети», тогда —

Я в скромный этот дом тогда Тебя введу
И будет долог день и в вечер канут тени... (**Там же**)

Жена - возлюбленная - мать. Кровь - руда - любовь - ревность - отчаяние. Все это заслоняет Бога, все это не дает тишины, а ведь Бог, как говорили Отцы Церкви, есть Начальник Тишины. Но изъязвленная душа кричит:

Я верю, Господи, но помоги неверью. В свой дом вошла и не узнала стен. В свой дом вошла и не узнала двери. И вот — не встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали, но сердце отступило прочь. У яростной моей печали сам Бог не мог помочь — мой муж меня покинул в эту ночь.

(**Барабан Строгого Господина**)

Легче обратиться не к Богу, а к Богородице, ибо

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, кем на этом свете слезы источены. (**Там же**)

Против же Отца Небесного — иногда и бунт:

- «Что ты там делаешь, старая мать?» —
— «Господи, сына хочу откопать,
Только вот старые руки мои
Никак не осияют черной земли». —
— «Старая мать, неразумная мать,
Сын твой в Садах Моих лег почивать».
— «Господи, я только старая мать,
Надо бы прежде меня было взять». — ...
... «Сможешь ли землю заставить опять
Матери милое тело отдать?» —
— «Дух его — Мне, а земле только плоть,
Надо земное в себе обороть.
Что же ты делаешь, старая мать?» —
— «Господи, сына хочу откопать». (Там же)

Если Богу не может простить мать смерть сына, то тем паче не может простить революции. На зверскую расправу с царевичем Алексеем Шкапская, давняя участница революционных кружков, политическая эмигрантка 1910-ых годов, имела мужество откликнуться стихотворением «Людovicу XVII»:

...Народной ярости не внове
Смиряться страшною игрой, —
Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй.
И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Милльоны каждый год ребят,
За их отцов разгул кабацкий;
И за покрытый кровью шлях...
...Но помню горестно и ясно —
Я — мать, и наш закон — простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той. (Там же)

Через многие годы, искренне или поневоле «перековавшись», она называла все эти старые свои стихи «бегством в лирику», но тогда, не очеркист, не будущая — по заданию ЦК КПСС — участница Антифашистского комитета советских женщин, а поэт, самобытный поэт, она не только понимала всю тя-

готу «крови-руды», передающейся из поколения в поколение, но и резко отталкивалась от проливаемой во имя ли революции, во имя ли Белой идеи — этой самой крови-руды. В том же «Барабане Строгого Господина», а через год, в 1923 г., отдельным изданием выходит ее поэма «Явь» — о публичной казни большевика:

Было это на Петра и Павла,
А потом еще три дня висел он,
И ходили мимо православные
Без дела и с делом,
К обедне, ко всенощной, к вечерне,
И бухал колокол медный...

Мать-жена-возлюбленная — настоящая женщина, да еще поэт Божьей милостью, — она не приемлет казни, убийства, пролития крови...

Женщина вся от мужа: хочет он, и она останется вечно юной, как сосна, которую питает свежая вода.

Закрываются пруды от солнца желтыми кувшинками, но уйдет вода из пруда, и кувшинки падают на дно, в скользкую тину.

Муж как вода, жена как кувшинка. Как могу я жить теперь, если муж мой меня покинул?

— Это — из изящной книжечки «Ца-Ца-Ца» (1923): «Она была русская, он китаец. Оба жили в Париже, и их русско-китайские сношения велись на французском диалекте...»

Мария Шкапская — петербуржанка. Да, потом она долго жила и в Москве. Но стихи ее чаще всего, если они не на ее основную тему, вдохновлены городом на Неве:

Петербуржанке и северянке люб мне ветер с гривой седой,
тот, что узкое горло Фонтанки заливают неврской водой.
Знаю — будут любить мои дети неврский седебородый вал,
оттого, что был западный ветер, когда ты меня целовал.

(Барабан Строгого Господина)

Но Шкапская всегда верна и тут своей теме: пишет ли она о России —

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля...

Пишет ли она о Петербурге, в котором «Россия ждет к себе Петра»:

Он властно женщины покровы
Снимает мужнею рукой, ...
И каждой ночью зачинает
Она — и носит до утра,
А поутру родит, стеная,
Детей с походкою Петра. (Там же)

Молодая «ленинградская» литературная поросль середины двадцатых годов прозвала Марию Шкапскую «Три В» («Ведьма-Вакханка-Волчица»); о. Павел Флоренский называл ее подлинно-христианской — по душе — поэтессой. Мне кажется, что есть некоторые основания назвать Шкапскую Василисой Розановой русской поэзии. Ведь когда она подходила и к **плоти** мира и цветению ее — она подходила очень похоже на Розанова (в частности, в «Земных ремеслах», 1925, — последней книжке ее стихов: не будем уж говорить о «Крови-руде» и «Барабане Строгого Господина»).

Наша литература XIX века, за исключением, впрочем, Достоевского, была слишком интеллигентской. Интеллигенты ведь стыдились как-то плоти, запрятавали ее в потаенные темные углы квартиры, литературы, жизни. Это, конечно, от непросвещенной эпохи Просвещения, из-за отпада от истинно-христианской культуры, которая-то и воскресение чаёт **во плоти**. Поэтому особенно ценно то трагедо-патетическое в Шкапской, что пронизывает всю ее лирику: ее попытка **реабилитации плоти** — даже (она, может быть, и сама это неясно сознавала) — **обожения** ее.

Будет время — и не за горами оно! — когда о многих те-перешних — вчерашних и сегодняшних, читаемых или только почитаемых — корифеях русской литературы можно будет узнать только в запыленных старых словарях. И читать будут, и любить будут (пусть читают и любят, а не почитают!) как раз тех, о ком сейчас или забыли, или замолчали. Среди них не последнее место займет Мария Шкапская.

Ольга РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ



Борис Пастернак и Марина Цветаева (К ИСТОРИИ ДРУЖБЫ)

«Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты». (1)

«Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор». (2)

Вряд ли можно сомневаться в значительности этой дружбы для обоих поэтов, прочитав эти слова Бориса Пастернака в «Автобиографическом очерке». Эта дружба началась в 1922 г. и про-

(1) Марина Цветаева, «После России» (Париж, 1928), стр. 69. Далее ссылки в тексте, непосредственно за цитатой («П. Р.»). В сокращенном виде эта статья была напечатана по-английски в журнале *Books Abroad* (Spring, 1970, pp. 218-21) под заглавием «Pasternak and Cvetaeva: History of a Friendship.»

(2) Борис Пастернак, «Проза 1915-1958. Повести, рассказы, автобиографические произведения» (Ann Arbor, 1961), стр. 47. Дальше ссылки в тексте с пометой «Проза.» Под заглавием «Люди и положения» «Автобиографический очерк» напечатан в журнале «Новый мир» (1, 1967, стр. 204-236).

должалась без малого двадцать лет. Марина Цветаева и Борис Пастернак встретились по-видимому еще в 1917 г., но в то время не заметили друг друга. Воспоминания обоих о первых встречах и впечатлениях очень схожи: и в том и в другом случае пытался обратить внимание одного поэта на поэзию другого Илья Эренбург, в обоих случаях эти попытки были тщетны.

Много лет спустя Пастернак писал, что в то время просто не понимал стихов Цветаевой. Вину за непонимание он брал на себя и типично по-пастернаковски объяснял это непонимание парадоксом — цветаевские стихи были для него слишком ясны и гармоничны. В то же время Пастернак утверждал, что, хотя тогда и не ценил Цветаеву, как поэта, но обратил на нее внимание, как на человека:

Я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое загло ее и привело в восхищение. («Проза», 284).

В свою очередь Цветаева писала, что до 1922 г. не знала стихов Пастернака, хотя и слышала их в чтении не только Эренбурга, но и самого автора. При первых встречах Цветаева обратила внимание на «настороженность» и «непрерывность внимания» Пастернака. (3)

Настоящая дружба между поэтами завязалась только в 1922 г., когда почти одновременно — Пастернак в Москве, а Цветаева в Берлине — каждый открыл для себя поэзию другого. Весной этого года Пастернак прочитал недавно вышедшую книгу стихов Цветаевой, «Версты», и написал автору в Прагу, куда она только что приехала. Прочитав ее книгу, Пастернак почувствовал какие-то подспудные соответствия между своей поэзией и поэзией Цветаевой. Источник этих соответствий он усматривал не только в общности культурной среды, семейной обстановки и ранних влияний, но также и в их сознательных целях и предпочтениях («Проза», 46). Книга стихов Пастернака, которую Цветаева прочитала в Берлине, по пути из Москвы в Прагу, была незадолго до того

(3) Марина Цветаева, «Световой ливень», в книге «Проза» (Нью Йорк, 1953), стр. 354. См. также «Эпос и лирика современной России (В. Маяковский и Б. Пастернак)» («Новый Град», 1933, 6, стр. 28-41 и 7, стр. 66-80). Ссылки на поэзию Пастернака можно найти и в других критических статьях Цветаевой.

опубликованная «Сестра моя жизнь». Дальнейшее отношение Цветаевой к автору книги и к его поэзии было решено: еще будучи в Берлине, она написала статью «Световой ливень», которая является свидетельством очень высокой оценки поэзии Пастернака и доказательством того, что прочитала «Сестру мою жизнь» Цветаева очень внимательно и заметила в ней некоторые черты, которых долгие годы не замечали многие критики. В какой-то степени Цветаева даже предсказала дальнейшее развитие Пастернака, как поэта.

Результатом этого взаимного «узнавания» явилась оживленная переписка, продолжавшаяся почти семнадцать лет. В архиве Пастернака хранилось больше ста писем Цветаевой. К счастью, Цветаева обычно сохраняла черновики своих писем, благодаря чему эта часть переписки не погибла с оригиналами, утраченными Пастернаком во время войны («Проза», 48). О судьбе же писем Пастернака к Цветаевой ничего не известно.

Нет сомнения, что в будущем архивные материалы и мемуары смогут добавить много ценного и интересного к тому, что известно о дружбе двух поэтов. Но и опубликованные произведения и письма представляют достаточно данных для того, чтобы выяснить основной тон и наметить общее направление этой дружбы, отзвуки которой можно найти не только в их письмах, автобиографической прозе, а у Цветаевой также в литературно-критических статьях, но и в стихах. Привлекая стихи Пастернака и Цветаевой, я не задаюсь целью делать из них выводы биографического порядка, однако считаю, что стихи, которые поэты посвящали друг другу, или в которых можно предположить обращение друг к другу, позволяют судить об общем «настроении» их дружбы и о тех изменениях, которые с годами наметились в их отношениях (4).

Как характерно для Цветаевой, ее реакция на стихи Пастернака была очень личной. О своих впечатлениях от книги Пастернака «Темы и вариации» Цветаева писала ему в начале 1923 г.:

Ваша книга — ожог. Та — ливень, а эта — ожог: мне больно было, и я не дула... Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один.

(«Новый мир», 194-95)

(4) Помимо произведений обоих поэтов и ранее опубликованных писем, в этой работе я пользовалась письмами Цветаевой, напечатанными в 1969 году: «Письма Марины Цветаевой» (Новый мир, 4, 1969, стр. 185-214) и «Письма к Анне Тесковой» (Прага, 1969). Дальше ссылки в тексте: «Новый мир» и «Письма к Тесковой.»

Между мартом 1923 и маем 1925 г. Цветаева написала не меньше восемнадцати стихотворений, обращенных к Пастернаку. В 1924 г. она посвятила ему свою поэму-сказку «Молодец.» Поэма «С моря,» написанная в 1926 г., хотя не имела посвящения Пастернаку, была обращена к нему и непосредственно касалась их отношений. (5)

Если не знать, кто адресат стихов Цветаевой, обращенных к Пастернаку, естественно их рассматривать, как стихи любовные. Первым по времени написания является цикл «Провода,» состоящий из десяти стихотворений, написанных в марте и апреле 1923 г. Основная тема этого цикла — разлука с любимым человеком и любовь вопреки обстоятельствам и расстояниям их разделяющим. Разлука их не случайна, это судьба. В стихах этого цикла с одной стороны подчеркивается уверенность в том, что ее любовь достигнет и вернет его:

Где бы ты ни был — тебя настигну,
Выстрадаю — и верну назад.

..... Морские недра
Выворочу — и верну со дна! («П. Р.,» 69) (6)

С другой стороны ясно, что автор отдает себе отчет в том, что «настигнуть» его она может только в переносном смысле:

Сдайся! Еще ни один не спасся
От наступающего без рук... («П. Р.,» 70)

Двойственность эта не случайна. В конце стихотворения автор возвращается к действительности:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются... («П. Р.,» 70)

(5) В книге «После России» имени Пастернака нет, хотя Цветаева собиралась посвятить ему цикл стихотворений («Письма к Тесковой,» 52). Посвящения раскрыты в сборнике Цветаевой «Избранные произведения» (Москва-Ленинград, 1965), стр. 749, 751, 753, 754. (Дальше в тексте: «Избр.»). «Молодец,» написанный в 1922 г., единственное произведение, вышедшее при жизни Цветаевой с посвящением Пастернаку («Борису Пастернаку — за игру за твою великую, / за утехи твои за нежные...»). Адресат поэмы «С моря» был предположительно указан Семеном Карлинским в его книге *Marina Cvetaeva: Her Life and Art* (University of California Press, 1966). Напечатанные с тех пор письма подтвердили предположение Карлинского (См. «Новый мир,» стр. 197).

(6) Стихотворения, обращенные к Пастернаку в книге «После России,» за исключением трех из цикла «Провода,» перепечатаны в «Избр.» (стр. 225-30, 244-6, 258-60, 273-4).

Разлука в этих стихах подчеркивается на каждом шагу, но свою любовь и слова прощания поэт не высказывает лицом к лицу:

..... По аллее
Вздохов — проволокой к столбу —
Телеграфное: лю-ю-блю...

..... Вдоль свай
Телеграфное: про-о-щай... («П. Р.,» 65)

Расставание происходит заочно: «Я проводы вверяю проводам, / И в телеграфный столб упершись — плачу.» («П. Р.,» 69) В стихах есть указания на то, что встречи не было, а была только разлука: «...я в тебе утрачиваю всех / Когда-либо и где-либо **небывших!**» («П. Р.,» 66) Это предположение подтверждается биографическими данными.

В 1923 г. Пастернак ездил в Германию, был в Берлине и Марбурге, но с Цветаевой они не встретились. В письме одному из своих берлинских корреспондентов Цветаева писала о предстоящем отъезде Пастернака в Россию:

Мои мысли «в великом расстрой».. Уезжает мой поэт — из всех любимый — Пастернак, конечно — и я даже не могу поехать к нему проститься... Я в большой грусти...

В этом же письме Цветаева просит сообщить все, что он знает о Пастернаке:

Ничего не знаю о П[астернаке] и многое хотела бы знать... Какая у Пастернака жена... что он в Берлине делал, зачем и почему он уезжает, с кем дружил и т. д. Что знаете — сообщите. — (7)

Летом 1924 г. был написан второй цикл стихотворений, посвященный Пастернаку. Тема этого цикла — предназначенность друг для друга и в то же время роковая разъединенность. «Двое» (заглавие цикла) предназначены друг для друга, являются «вечной», но в то же время и «разрозненной» парой:

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сём

(7) «Письма М. Цветаевой к Р. Гулю,» «Новый журнал,» 58 (1959), стр. 178-9.

Не суждено, чтобы равный — с равным...

Так разминовываемся мы. («П. Р.» 129-30)

В последнем стихотворении цикла тема соответствия друг другу дана в личном плане, поэт обращается прямо к своему адресату:

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю — один
Мне равносилен.
.....
Знаю — один
Мне равномощен.
.....
Знаю: один
Ты — равносущ
Мне. («П. Р.» 130)

Здесь Пастернак оказывается единственным человеком, встретившимся Цветаевой, который может равняться с нею силой. Много позднее, в марте 1935 г., Цветаева писала:

Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного — письменно, за полгода до смерти, другого — незримо. О, не только по силе поэтической! По силе **всей** + силе поэтической. (8)

Сохранившееся в черновиках Цветаевой посвящение к этому циклу указывает, что уже тогда она сознавала, что их дружба больше сродни вечности, чем времени: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении — Борису Пастернаку.» («Избр.» 753)

В стихах 1925 г. Цветаева возвращается к теме разлуки — основной теме стихов 1923 г. Она подчеркивает, что разлучены они насильно: «Рас-стояние: версты, мили.../ Нас рас-ставили, рас-садили...» Это стихотворение написано в марте, Цветаева, вероятно, вспоминает «расставание без встречи» в марте 1923 г.: «Который уж, ну который — март?!» («П. Р.» 152) В стихах 1923 г. сильнее звучала нота любви вопреки разлуке, здесь же преобладает

(8) Марина Цветаева, "Письма к Ю. Иваску," "Русский литературный архив," (Нью Йорк, 1956), стр. 222.

сознание, что разлука не случайный эпизод в истории их отношений, но судьба. В последнем стихотворении, обращенном к Пастернаку и заключающем сборник «После России», снова подчеркивается роковая «предназначенность-разъединенность»: «Дай мне руку — на весь тот свет!/ Здесь — мои обе заняты.» («П. Р.» 153)

Из темы невозможностей реальной встречи вырастает тема встречи во сне. Цветаева вообще была склонна относиться к снам-видениям, как к реальности: «Есть особая порода снов, я бы сказала — максимум дозволенной во сне — жизни... Не сон о человеке, а сам он... Мой сон — не отдых, а действие, **действие**, которого я — и зритель и участник...» («Избр.» 753) Неудивительно, что встреча во сне — одно из излюбленных средств общения у Цветаевой. В стихах Пастернаку эта тема появляется уже в 1923 г.:

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а всё ж сдается: все
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне. («П. Р.» 72)

Дальнейшее развитие эта тема получила в поэме «С моря», где она является основной. Сон вытесняет явь и таким образом все препятствия, существующие в действительности, исчезают. Во сне расстояние, отделяющее Цветаеву на берегу Атлантического океана от ее адресата, находящегося в Москве, преодолевается мгновенно:

Чем с Океана —
Долго — в Москву то!

Молниеносный
Путь — запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой. (9)

Тема осложняется, сон оказывается взаимным и происходящим в одно и то же время. Поэта радует, что встреча происходит не в письмах, как обычно, а вне контроля почтовых тарифов и цензуры. Общение автора с адресатом происходит вне реальной плоскости:

Вплоть, а не тесно,
Огонь, а не дымно.

(9) Марина Цветаева, "С моря," "Версты" (Париж), 3, 1928, стр. 7.

Ведь не совместный
Сон, а взаимный:

В Боге, друг в друге. (10)

Когда от писем и стихов Цветаевой обращаешься к произведениям Пастернака, прежде всего поражает скупость и сдержанность его высказываний. Это впечатление создается главным образом, вероятно, потому, что мы не располагаем его письмами к Цветаевой. Судьба этих писем до сего дня неизвестна. Если Цветаева не взяла их с собою, возвращаясь в Советский Союз, что кажется мало вероятным, они могли погибнуть с Цветаевским парижским архивом во время войны. Зная, как высоко Пастернак ценил Цветаеву, как человека и как поэта, читателю, знакомому с эпистолярным стилем Пастернака, нетрудно предположить, что его письма не уступали по эмоциональности стихам и письмам Цветаевой к нему, но об этом можно только догадываться.

В опубликованных письмах Пастернака двадцатых годов (их опубликовано удивительно мало) есть упоминание о Цветаевой в письме Горькому, написанном в октябре 1927 г.:

Важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно запутанная судьба... Если бы вы спросили, что я собираюсь *писать* или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м[ожет] б[ыть] не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно. (11)

Это упоминание очень важно, так как в нем выражено то, что можно назвать «темой Марины Цветаевой» в произведениях Пастернака. Тема эта — озабоченность судьбой Цветаевой — поэта, который не ладит со своим временем и тем самым бесконечно усложняет судьбу и жизнь Цветаевой — человека.

В журнальной публикации поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» имелось посвящение, стихотворение-акrostих «Марине

(10) Там же, стр. 13.

(11) «Литературное наследство», (Горький и советские писатели), 70 (1963), стр. 300. В архиве Горького хранится письмо Пастернака, в котором он «взял под защиту» Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию. К сожалению, это письмо напечатано не было. См. прим. 2 на стр. 308 цитируемого издания.

Цветаевой.» В последующих перепечатках оно не появлялось. Основной образ этого стихотворения — гон зверя по лесу. Гон здесь не случайное событие, он длится веками: «Агу его, сквозь тьму времен!» Охоте противопоставляется естественность природы, леса, в котором происходит охота. Охотником оказывается «век», а преследуемым зверем — поэт. В поведении преследователя чувствуется двойственность, на него оказывают влияние естественность и цельность окружающей природы и в конце концов отводят погоню. Недоумение автора выражается в обращении к веку от имени обоих поэтов:

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, стволами, сном ветвей
И ветром и травую мне и ей. (12)

Ответ на свой вопрос автор ищет в природе.

Это посвящение Цветаевой предшествует трагедии лейтенанта Шмидта, которая в трактовке Пастернака становится трагедией творческой личности, выступающей против своего времени и уничтожаемой им. Судьи, выносящие приговор Шмидту, жертва своего времени ничуть не меньше, чем он сам: «Что ж — мученики догмата, / Вы тоже — жертва века.» (Стихи, 172).

В 1929 г. Пастернак напечатал два стихотворения, обращенных к Цветаевой. Одно из них акrostих, у другого в позднейших перепечатках появилось заглавие — инициалы, а позднее полное имя Цветаевой. Второе стихотворение, «Ты вправе, вывернув карман», как и посвящение к «Лейтенанту Шмидту», касается отношений поэта и времени. Здесь поэт остается равнодушным к обстоятельствам окружающей жизни:

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев,

но сама жизнь и само время обращаются к поэту: «И век поэта льнет к поэту.» (13) Взгляды Пастернака и Цветаевой на отно-

(12) Борис Пастернак, «Стихи и поэмы. 1912-1932» (Ann Arbor, 1961), стр. 457. Далее в тексте: «Стихи.»

(13) Борис Пастернак, «Стихотворения и поэмы», (Москва, 1965), стр. 201 и 646. Далее в тексте «Стихотв.»

шение поэта к своему времени были сходны. Для обоих в искусстве парадоксально сочетаются его вневременность и нерасторжимая связь с временем. (14) Цветаева была склонна винить «наше время» в своих житейских невзгодах; так, говоря о материальных трудностях своей жизни, она писала: «Виновата не я, а век.» (Письма к Тесковой,» 94)

В стихотворении-акrostихе 1929 г., «Мгновенный снег, когда булыжник узрен,» в «диком снеге летом» Пастернаку видится «поэта оторопь и статья,» это неуловимое качество он определяет, как «бессмертную внезапность,» качество, которое выносит поэта за пределы времени. (Стихотв., 552)

Значение, которое Пастернак придавал своей дружбе с Цветаевой, наводит на мысль, что следует искать отражение этой дружбы — помимо посвящения к «Лейтенанту Шмидту» и двух стихотворений 1929 г. — в других произведениях Пастернака двадцатых годов. Автобиографичность произведений Пастернака вообще бесспорна, но характерно по-пастернаковски ненавязчива, а иногда даже зашифрована. Стихи Пастернака пропитаны личностью и биографией автора, но сделано это без нажима. (15)

В романе в стихах «Спекторский,» писавшемся с 1924 по 1930 г., имеется целый ряд указаний и намеков, в своей совокупности наводящих на мысль, что личность Марины Цветаевой и дружба с ней отразились в образе Марии Ильиной и в ее отношениях со Спекторским. (16) Время действия в романе распадается

(14) У Пастернака тема поэта и времени особенно важна в произведениях второй половины двадцатых годов («Лейтенант Шмидт,» «Спекторский») в стихах «Второго рождения» и в «Докторе Живаго.» У Цветаевой этой теме посвящена особая статья, «Поэт и время» («Воля России,» 1-3, 1932, стр. 3-22). В постскрипуме к статье Цветаева с удовлетворением отмечает близость своих взглядов и взглядов Пастернака на отношения поэта и времени.

(15) Типичным примером Пастернаковской автобиографичности может служить художественное воплощение одного эпизода его биографии, известного по «Охранной грамоте.» Переживания поэта, связанные с приездом в Марбург летом 1912 г. сестер Высоцких, составляют содержание стихотворения «Марбург,» написанного в 1915 г. и позднее неоднократно перерабатывавшегося. Один из элементов Марбургского эпизода, а именно разлука с возлюбленной, появляется в рассказе «Письма из Тулы» (1922). Связать с Марбургскими переживаниями этот рассказ можно, только зная подробности этого эпизода и то значение, которое Пастернак ему придавал.

(16) Работая над этой статьей, я наткнулась на сходное предположение З. Паперного. Паперный пишет, что в Марии Ильиной «угадываются

на два периода, до и после революции. Первый период (главы 1-7) охватывает — с перерывами — время с Рождества 1912 г. до начала 1916 г. Второй (главы 8 и 9) — 1919 г. Вступление к «Спекторскому» написано в первом лице и с некоторыми ссылками на действительные события в жизни Пастернака того времени, написано оно было последним, в 1930 г., действие в нем отнесено к декабрю 1924 г.

Отношения Спекторского с Ильиной — только одна линия в сюжете романа. Помимо вступления она появляется только в главах 6-ой, 7-ой и 9-ой, напечатанных в 1928 и 29 гг. Обычно, касаясь «Спекторского,» критики ставили в вину Пастернаку фрагментарность произведения и слишком слабую связь между отдельными линиями сюжета. Я считаю, что эта фрагментарность входила в художественный замысел Пастернака: сюжетные линии объединялись в самом Спекторском, но вполне возможно, что линия Ильиной не присутствовала в первоначальном плане романа и таким образом усилила впечатление некоторой разобщенности частей. Подтверждением этой догадки, помимо того что Ильина появляется только в 6-ой главе, служит также то, что, не закончив «Спекторского,» Пастернак принялся за «Повесть,» которую считал непосредственно связанной со «Спекторским». Говоря о «Повести,» Пастернак писал: «Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу 'Спекторского'.» Решающим здесь был вопрос генетической связи этих двух произведений: «['Повесть' является] прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей 'Спекторского' и подготовительным звеном к стихотворному его заключению.» («Стихотв.,» 671). Насколько эта связь представлялась Пастернаку значительной, можно судить по тому, что он упоминает об этом в самой «Повести»: «Между романом в стихах под названием 'Спекторский,»... и предлагаемой прозой разговорья не будет: это — одна жизнь.» (Стихи, 151) Если рассматривать «Повесть» как часть «Спекторского,» несколько умеряется фрагментарность романа. «Повесть» нужна была Пастернаку для более четкой мотивировки поведения героя. В сравнении с романом повесть представляет более развернутую характеристику Спекторского. Приведу один пример. В романе Спекторского можно назвать поэтом только по его взглядам на окружающий мир, здесь

черты Марины Цветаевой» («Б. Л. Пастернак,» в «Истории русской советской литературы,» том 3. [Москва, 1968], стр. 368), однако не подкрепляет свое предположение какими-либо биографическими или текстологическими данными.

неоднократно подчеркивается его необычное видение мира. В период дружбы с Ильиной он импровизирует на рояле (автобиографическая черта), в «Повести» же он более определенно обрисован, как художник слова, здесь он начинает писать свою собственную повесть, таким образом не кажется немотивированным тот факт, что в последней главе романа он связан с организацией московских литераторов.

Во вступлении к «Спекторскому» автор говорит о впечатлениях, которые он составил на основании статей в иностранных журналах, о творчестве поэтессы Марии Ильиной, дружившей с героем романа, Спекторским. Надо сказать, что звуковое сродство между именами «Мария» и «Марина», особенно близость притяжательных форм («Мариин лабиринт»), встречающихся в романе, поддерживает предположение, что за москвичкой Марией скрывается другая москвичка — Марина.

Мария Ильина — поэтесса, живущая за границей. Слава ее, как поэта, признается всеми. В журнальных статьях автор наталкивается на спор о том, какой литературе принадлежит Ильина, как поэт:

Все как один, всяк за десятерых
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор. («Стихи,» 276)

Здесь может скрываться намек на то, что Цветаева в эмиграции и на спор о том, насколько поэт-эмигрант принадлежит современной русской литературе. В подтверждение этой догадки привожу выдержки из статьи советского критика Д. А. Горбова, опубликованной в 1927 г. и посвященной десятилетию русской литературы за рубежом. О Цветаевой Горбов писал:

М. Цветаева — поэт большого творческого темперамента. Отсюда громадное богатство ее ритмов, необычайная изобретательность строфики, выразительность образного жеста. Буйное богатство ее художественных средств достигает того уровня, на котором оно затрудняет поверхностное понимание, тем больше наслаждения доставляя взгляду пристальному и внимательному. (17)

(17) Д. А. Горбов, «Десять лет литературы за рубежом,» «Печать и революция.» 8, (1927), стр. 24.

Однако в той же статье автор утверждал, что

...только художник, органически принявший Октябрь, сделавший его действительным фактом своего творческого мира, может претендовать на звание национального художника, может дать произведения подлинно-героические и подлинно-народные. (18)

В этих выдержках, как и в четверостишии Пастернака, описывающем критическую оценку поэзии Ильиной, утверждается высокое мастерство Цветаевой, как поэта; в статье берется под сомнение возможность считать писателя-эмигранта «национальным художником,» а его произведения «подлинно-народными» только в силу его принятия революции. У Пастернака этому соответствует указание на спор о том, русский ли Ильина автор.

Характеризуя поэзию Ильиной, как она предстала ему по журнальным статьям, автор «Спекторского» пишет:

Где, верно все, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отстрочки.

(«Стихи,» 276, подчеркнуто мною)

Вспоминая свои впечатления от Цветаевских «Верст,» прочитанных в 1922 г., Пастернак писал: «Меня сразу покорило лирическое могущество Цветаевской формы, **кровно пережитой.**» («Проза,» 46, подчеркнуто мною) «Век-закройщик» это уже более жестокий и страшный образ, чем «век-охотник» в посвящении к «Лейтенанту Шмидту.» Для «Спекторского» вообще важна тема времени и отношение поэта к своему времени и к переменам, происходящим в окружающей жизни. Эпиграф из «Медного Всадника»: «Были здесь ворота...», которым предварялся «Спекторский» в отдельной публикации, подчеркивал границу между настоящим и прошлым. Тому прошлому, о котором шла речь в романе, был положен предел, оно жило только в памяти героя и в памяти автора.

Статьи о Марии Ильиной оказываются причиной, побудившей автора писать о Спекторском: «Они упали в прошлое снопом/ И озарили часть его на диво.» («Стихи,» 277). Таким образом, хотя

(18) Там же, стр. 15.

Ильина появляется только в трех из девяти глав романа, толчок к написанию «Спекторского» исходит из своего рода «встречи» с ней, хотя действительной встречи не было. Здесь параллель «встрече на расстоянии» с Цветаевой и ее поэзией. Не надо забывать, что вступление писалось после окончания романа, и эта «мотивировка задним числом» могла быть дана для того, чтобы обратить внимание читателя на роль и значение Ильиной, отношениям героя с которой отведено сравнительно мало места.

Вступление к «Спекторскому» вообще подчеркивает автобиографичность романа, хотя здесь намеренно утверждается, что герой и автор не одно и то же лицо. Заканчивается вступление на сугубо личной и грустной ноте:

Светает. Осень, серость, старость, мать.
Горшки и бритвы, щетки, папилютки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь? («Стихи,» 278)

Этот тон весьма далек от общеизвестной Пастернаковской жизне-радостности. В зрелые годы ему не были свойственны ни ностальгические воспоминания о детстве, ни тяготение бытом. Пастернак раздражал одних критиков и восхищал других своим пристальным вниманием к мелочам быта. С годами это внимание возрастает. Мелочи быта умиляют Юрия Живаго, для него они преображаются сущностью жизни и человеческих отношений, протекающих в обстановке этого быта. В приведенных же строках из вступления к «Спекторскому» заметно не только тяготение бытом, но и явное отталкивание от него. Это отношение близко к Цветаевскому. (18а) Помимо того, что Цветаева была чудовищно непрактична и что бытовые проблемы для нее зачастую оборачивались катастрофами, ее отношение к повседневности было по сути иным, чем отношение Пастернака: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только

(18а) См. например «Поезд жизни» («П. Р.», 123-24), стихотворение 1923 г. Для Цветаевой такое отношение к быту — норма, для Пастернака — редкое исключение.

преображенная, т. е. — в искусстве.» («Письма к Тесковой,» 37) Необычное для Пастернака отношение к быту, высказанное во вступлении к «Спекторскому», могло создаться не только под влиянием событий его биографии того времени, но также и под влиянием переписки с Цветаевой, которая в те годы, как и позднее, бесконечно тяготилась своим бытом. (19)

Помимо письма Горькому, Пастернак упоминает о своих отношениях с Цветаевой в так называемом «посмертном» письме Райнеру Марии Рильке, где он между прочим описывает свои переживания по прочтении Цветаевской «Поэмы конца» в феврале 1926 г.:

Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму конца.» Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находятся в дороге... Прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. («Проза,» 344, подчеркнуто мною)

Эти слова подтверждают предположение, что поэзия Цветаевой и переписка с ней были одним из значительных влияний на Пастернака в те годы.

Заканчивается вступление к «Спекторскому» строфой, исключительно сильно проникнутой чувством одиночества и отчужденности от окружающей жизни:

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчуждением обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник. («Стихи,» 278)

Это чувство одиночества относится и к автору (вступление написано в первом лице) и к герою романа. Спекторский одинок, близ-

(19) Чувство справедливости заставляет отметить, что занятость бытом в жизни двух поэтов сравнивать никак нельзя. Если некоторое отягчение бытом можно предположить в жизни Пастернака в двадцатые годы, то после второй женитьбы его жизнь в бытовом отношении была вполне благоустроена. Быт же Цветаевой с годами становился все труднее. В 1931 г. она писала: «Всё поэту во благо, даже однообразие (монастырь), всё кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб!» («Письма к Тесковой,» 92).

кие ему люди — сестра Наташа и Ольга Бухтеева, увлечение которой описано во второй главе — осуждают его за непричастность к общественно-политической деятельности. Единственный человек, который понимает Спекторского — это Мария Ильина. Между ними с самого начала устанавливается удивительное взаимопонимание. Их сближает общность взглядов и подхода к жизни. Отношения Спекторского с Ильиной по существу иные, чем его отношения с Бухтеевой, хотя их тоже можно назвать любовью.

Когда Спекторский заkommt с Ильиной, она в трауре по отцу, который, как и отец Цветаевой, был профессором и умер тоже в 1913 г. После того как Спекторский в первый раз застаёт Ильину дома, они встречаются часто и не только в неурочные часы, и часы не существующие в действительности, но и во сне и в разных явлениях природы:

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет. («Стихи», 299)

Возможно, что это — встречи в письмах и стихах и Цветаевские «встречи во сне». Строка «отказов не предвиделось в приеме» и дальше «свиданья учащались» могут намекать на оживленную переписку поэтов, следовавшую за первым письмом Пастернака. Дальнейшие строки:

Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь, и двум не разойтись. («Стихи», 300)

очень похожи на ответ на стихи Цветаевой, где дождь и гром воспринимались, как приветы от Пастернака:

И если гром у нас — на крышах,
Дождь — в доме, ливень — сплошь —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь. («П. Р.», 98)

Встречи Спекторского с Ильиной происходят в старом доме, который как раз в это время фундаментально перестраивают. На перестройке дома автор останавливается довольно подробно и подчеркивает контраст между все более заметной простотой постройки за стенами квартиры Ильиной и сложностью и хаотичностью жизни и планов двух поэтов, встречающихся в этой квартире: «На

стройке упрощались очертанья, / У них же хаос не редел отнюдь.» («Стихи», 300). В этой простоте постройки, окружающей поэтов, можно усмотреть намек на общее культурное и духовное оскудение в жизни современников Пастернака и Цветаевой. Однако в капитальном ремонте дома отмечается не только простота, но и определенная целеустремленность, которая явно отсутствует в неудачных попытках Спекторского и Ильиной избавиться от «ломбардного хлама» в квартире Марии.

В «Автобиографическом очерке» Пастернак писал, что дружба с Цветаевой была «обоюдно расширяющей кругозор». Этот же элемент взаимного вдохновения присутствует в отношениях Спекторского и Ильиной: «И оба уносились в эмпирию, / Взаимоокрылившись, то есть врозь.» («Стихи», 302) Здесь же приводится стихотворение Ильиной, в котором они выглядят как «две карикатуры» на фоне капитального ремонта дома. Их не беспокоит их внешняя «карикатурность», так как они заняты тем, что не поддается внешним переменам: «Мы рано, может статься, углубимся / В неисследимый смысл добра и зла.» Хотя Пастернак не пытается передать стиль Цветаевой в этом стихотворении, смысл строк «У жизни есть любимцы. / Мне кажется, мы не из их числа» близок взглядам Цветаевой на «неуместность» поэта в этом мире. Одно из ее стихотворений о поэте начинается следующими словами: «Есть в мире лишние, добавочные, / Невписанные в окоём.» («П. Р.», 78)

Дружба между поэтами в «Спекторском» обрывается резко и неожиданно. Мария не может найти объяснения внезапному исчезновению Спекторского, уж слишком оно не вяжется с его характером «Что этот человек / Никак не Дон Жуан и не обманщик, / Сама Мария знала лучше всех.» («Стихи», 303) Хотя исчезновение Спекторского глубоко ранит Марию, она старается преодолеть свое отчаяние страстной гордостью:

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть. («Стихи», 303-304)

В черновике стихотворения, написанного после смерти Цветаевой

и посвященного ее памяти, Пастернак упоминает те же качества — страстность и самоконтроль — как характерные для нее.

Ты вечно будешь той же самой,
Какой была ты до Адама,
Огонь и сдержанность сама. («Стихотв.,» 704)

Шесть лет спустя, когда Мария уже давно за границей, наткнувшись случайно на обстановку, когда-то наполнявшую «Мариин лабиринт,» Спекторский спрашивает себя, кто из них находится в лучшем положении: «Где она — сейчас, сегодня?/.../ Счастливей моего ли и свободней,/ Или порабощенней и мертвей?» («Стихи,» 313) Этот вопрос может относиться к сравнению эмигрантской жизни Цветаевой в Париже с жизнью Пастернака в Москве. Кроме того, он может быть не только естественно напрашивающимся сравнением, но и частичным ответом Цветаевой, которая в июле 1927 г. писала Пастернаку, цитируя самоё себя:

Думаю о Борисе Пастернаке — он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей- по э т о в, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы — на час — стихи предпочел бы всему. («Новый мир» 1969, № 4).

Это письмо начиналось бесконечно горькими строками, в которых прорывалось отчаяние Цветаевского одиночества: «О, Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону — за помощью! Ты не знаешь моего одиночества...» Когда Спекторский задумывается о судьбе Ильиной и старается сравнить ее судьбу со своей, он тоже совершенно одинок, Ильина — единственный духовно близкий ему человек — далеко; встреча в тот же день с Ольгой Бухтеевой только подчеркивает его разобщенность с окружающей жизнью. Напомню, что одиночество и отчужденность подчеркиваются и во вступлении к роману.

Можно предположить, что в самом конце двадцатых годов Пастернак перестал писать Цветаевой или же стал писать значительно реже. Еще в феврале 1928 г. Цветаева сетовала, что Пастернак далеко: «все письма, никакой приметы **этого** света...» а уже в апреле следующего года, упоминая Пастернака, добавляла: «Он тоже не пишет.» («Письма к Тесковой,» 61 и 75) Разочарование в Пастернаке впервые появляется в письмах к Анне Тесковой в марте 1931 г. Связано это с известием о его разводе и новом увлечении, о чем Цветаева узнала стороной, «неожиданно... от приезжего из Москвы.» Она предвидит катастрофу, утверждает, что на

счастливую любовь Пастернак неспособен. В этом письме, однако, чувствуется не только забота о Пастернаке:

Теперь — пусто. Мне не к кому в Россию. Жена, сын — чту. Но **новая** любовь — отстраняюсь. Поймите меня правильно... **не ревность.** Но — раз без меня обошлись! У меня к Б. было такое чувство, что: буду умирать — его позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно одиноким: моим. Теперь мое место замещено...

(«Письма к Тесковой,» 90-91)

Не случайно именно одиночество Пастернака — это основное переживание Спекторского — убеждала Цветаеву в том, что он всецело принадлежит ей. Конечно, трудно поверить, что чувство, вызванное у Цветаевой известием, что Пастернак больше не одинок, не ревность. Однако, справедливость требует подчеркнуть, что такое отношение было очень характерно для Цветаевой и ее увлечений на расстоянии: чувство, что другой принадлежит ей целиком и глубоко разочарование, когда оказывалось, что это не так. (20)

Цветаева ошибалась, считая, что ее встреча с Пастернаком возможна только за пределами этого мира, но она была права, утверждая, что их встречи во сне, в письмах и стихах были более вдохновляющими, чем обычные встречи наяву. Ей предстояло еще встретиться с Пастернаком и, увы, еще больше разочароваться. Реальный Пастернак оказался не тем Пастернаком, который был создан ее воображением на основании его писем и стихов. В июне 1935 г., совершенно неожиданно для самого себя, Пастернак приехал в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Приехал он на конгресс по приказанию свыше прямо из санатория, где лечился от «почти годовой бессонницы.» («Проза,» 46) Этот год был тяжелым, кризисным для Пастернака. Его сестра, Жозефина Леонидовна Пастернак, с которой он провел несколько часов в Берлине по пути в Париж, вспоминая эту краткую встречу с братом, заключает, что 1935 г. был поворотным в его жизни. (21)

(20) См. Александр Бахрах, «Письма Марины Цветаевой,» «Мосты,» 5 (1960) и 6 (1961).

(21) Joséphine Pasternak, «Patior,» *The London Magazine*, IV, 6 (September 1964), pp. 42-57.

Это сознавал и сам Пастернак. В сентябре он писал о предшествующих четырех месяцах следующее: «Это было самое худшее время моих испытаний, какая-то болезнь души, ощущение конца без видимого наступления смерти, сама тоскливая немыслимость,» и далее: «Все это прошло. Меня печалит и временами пугает резкая перемена, происшедшая со мной в этом году.» (22) Причины его тяжелого душевного состояния могли быть связаны не только с личными переживаниями, но и с тем, что происходило в то время в Советском Союзе. Шел 1935 год.

В состоянии близком к описанному, Пастернак приехал в Париж, где встретился с Цветаевой и познакомился с ее семьей. В то время члены семьи Цветаевой настаивали на необходимости возвращения в Советский Союз; Цветаева хотела знать мнение Пастернака по этому вопросу. Хотя у него были очень серьезные сомнения в целесообразности этого предприятия, он, как видно, не дал ей никакого определенного совета, а много лет спустя писал, что «общая трагедия семьи [Цветаевой] неизмеримо превзошла ... [его] опасения.» («Проза» 47).

Встречей с Пастернаком Цветаева была чрезвычайно разочарована: «О встрече с Пастернаком — была — и какая **невстреча!** напишу... Сейчас тяжело.» («Письма к Тесковой» 126). Несколько месяцев спустя, с чувством горечи Цветаева упоминала о том, что Пастернак приехал в Париж против своей воли и от страха:

Борис Пастернак, на к[оторо]го я **годы подряд** — через сотни верст — оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис[ательском] Съезде шепотом сказал: — Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С[тали]на, я испугался.

(«Письма к Тесковой» 134)

Для «бесстрашной» Цветаевой — она утверждала, что бесстрашие было ее сущностью — такое признание должно было совершенно развенчать Пастернака. Не надо забывать, что она покинула Россию в 1922 г. и действительно не знала, что такое страх, тот страх, который знаком всем, жившим в Советском Союзе и который многие узнали еще задолго до пресловутого 37-го года.

Среди писем Цветаевой, опубликованных в 1969 г. в «Новом мире,» есть письмо к Пастернаку, написанное после их встречи

(22) Это письмо Пастернака к Тициану Табидзе от 6 сентября 1935 г. напечатано в книге Табидзе, «Статьи, очерки, переписка» (Тбилиси, 1964) на стр. 250-51.

в Париже. Тон этого письма значительно отличается от тона ее ранних писем. Прежнего восторга как не бывало; в письме звучит нескрываемое разочарование. Вероятно чтобы немного смягчить свои горькие слова, Цветаева обобщает свою критику и обращается не только к Пастернаку, а к творческим гениям вообще:

О в а ш е й мягкости: вы—ею—откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых... О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы — «чтобы не обидеть.» Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14 или еще дальше.

(«Новый мир» 198)

Московский адрес Пастернака в этом контексте, по всей вероятности, намекает на «прощание» в Париже.

Предполагаемое «исчезновение» Пастернака без прощания удивительно напоминает многочисленные бесследные исчезновения Пастернаковских героев. Не прощается Юрий Живаго, обманно заверив Лару, что он поедет за ней следом; очень легко расстается Сережа с Анной Арильд в «Повести»; исчезает без объяснений Спекторский, правда, думая, что скоро вернется. Последовательность, с которой герои Пастернака исчезают, может послужить некоторым психологическим объяснением его отношений с Цветаевой. Биографически, исчезновение Спекторского возможно отражает сокращение или прекращение переписки со стороны Пастернака. Прощание в Париже, судя по письму Цветаевой, видно, было тоже сродни «исчезновению.»

«Повесть,» которая, я считаю, служила некоторым дополнением к характеристике героя в романе, объясняет поведение Спекторского в отношении Ильиной и, может быть, самого Пастернака в отношении к Цветаевой. Объяснение в «Повести» дает Арильд, любовь к которой служит творческим толчком для Сережи. Увидев его, после только что происшедшего и очень эмоционального объяснения, погруженным в работу над своей повестью, Арильд безошибочным чутьем понимает, что нужна ему была не она, а любовь к ней.

Хотя главной заботой Сережи в «Повести» является судьба женщины, он фактически ничего не делает, чтобы изменить или облегчить судьбу реальной женщины, Арильд. Энергия, вызван-

ная этой заботой и чувством к ней, находит себе приложение не в быту, а в творчестве: он начинает писать повесть. Знаменательно, что Арильд не единственная женщина, участь которой заботит Сережу, в его же повести эта забота включает вообще всех женщин мира. Думаю, что при встрече Цветаева уловила эту черту в Пастернаке, так как в том же письме она оговаривается: «Но — теперь ваше оправдание — только такие создают такое» и полуукоряет себя: «Я сама выбрала мир нечеловеков — что же мне роптать?»

Нет сомнения, что Пастернака серьезно беспокоила судьба Цветаевой, судьба женщины, осложненная судьбою поэта, доказательством этому его письмо Горькому. Когда Спекторский вспоминает Марию, его мысли тоже о ее судьбе. В вопросе, который он себе задает — кто из них счастливей и свободней — как и в судьбе Цветаевой, переплетение их личных отношений и судьбы поэта. Последнее достаточно ясно из того, что сравнение с судьбою Ильиной приходит ему на ум в тот момент, когда он сам оказывается «неудачником,» целиком отчужденным от окружающей жизни, без малейшей надежды на какой-либо «успех.»

Пастернака можно обвинить в том, что он не оценил всей сложности положения Цветаевой в 1935 году и не высказался более решительно против ее возвращения в Советский Союз. Нет сомнения, что в это время, когда, по собственному выражению, он был «на грани душевного заболевания,» он был полон собою еще больше, чем обычно. Это не ускользнуло от Цветаевой, которая в том же письме между прочим советует ему «поменьше думать о себе.» Цветаеву же можно обвинить в том, что она упрекала Пастернака в отсутствии тех качеств, которые ему никогда не были присущи и которые она приписала ему на расстоянии. Отсутствие в себе решительности и твердости, которые виделась Цветаевой в нем, Пастернак хорошо сознавал и даже писал об этом, правда, много позднее: «Немногие [женщины], имевшие со мной дело, — великодушные мученицы, так несносен и неинтересен я 'как мужчина,' так часто бываю непоправимо и необъяснимо слаб.» (23) Трудно обвинить Пастернака в том, что он не был тем, кем виделся Цветаевой. Трудно обвинить и Цветаеву, бесконечно ошибавшуюся в людях и бесконечно одинокую, к этому времени ставшую одинокой даже в своей семье. В 1935 г. и Пастернак и Цве-

(23) «Край, ставший мне второй родиной» (Письма Пастернака к его грузинским друзьям), «Вопросы литературы,» 1, 1966, стр. 195.

таева не были уже Пастернаком и Цветаевой начала двадцатых годов. Слишком много было пережито с тех пор, слишком страшно оборачивалась действительность тридцатых годов для обоих.

Меньше чем четыре года спустя, Цветаева уехала из Парижа в Москву. До сих пор очень мало известно о двух последних годах ее жизни. Естественно предположить, что по возвращении в Москву она снова встретилась с Пастернаком. Сам Пастернак упоминает о Цветаевой только после ее смерти. Через несколько месяцев после ее самоубийства он писал о том, какой огромной потерей явилась для него эта смерть. В «Автобиографическом очерке» он подтвердил эту мысль. Хотя в то время, когда Цветаева покончила с собой в Елабуге, Пастернак был в Москве, тем не менее он чувствовал себя виноватым и утверждал, что, если бы был в то время поблизости, ее смерть вероятно можно было бы предотвратить. (24) В стихотворении 1943 г., «Памяти Марины Цветаевой,» снова проскальзывает чувство вины:

Что сделать мне тебе в угоду?

Дай как-нибудь об этом весть.

В молчаньи твоего ухода

Упрек невысказанный есть. (25)

Можно утверждать, что отношение Пастернака к Цветаевой, как к поэту, с годами не изменилось. В «Автобиографическом очерке» он писал о заслуженном признании, которое еще ожидает Цветаеву в России.

В 1923 г., надписывая для Цветаевой экземпляр своих «Тем и вариаций,» Пастернак взял строчку из стихотворения в этой книге, «Нас мало. Нас может быть трое.» («Стихи,» 86) Это стихотворение затрагивает одну из основных тем творчества Пастернака — отношение поэта к своему времени. Настоящие художники живут в своем вневременном искусстве вне зависимости от мнения

(24) «Письма друзьям», «Литературная Грузия». 1, 1966, стр. 88. Подробности отъезда Цветаевой и обстоятельства ее жизни и смерти в России приводятся в книге Карлинского (см. прим. 5). Её настроение перед отъездом отчетливо обрисовано в письмах к Анне Тесковой.

(25) Пастернак, «Стихи 1936-59. Стихи для детей. Стихи 1912-57, не собранные в книги автора. Статьи и выступления» (Ann Arbor, 1961) стр. 39.

их современников. Неопределенность числа поэтов в этой избранной группе по-видимому неслучайна, но, безусловно, хотя бы и задним числом, включает Цветаеву. («Стихотв.», 644). В своих стихах двадцатых годов, обращенных к Пастернаку, Цветаева совершенно определенно ограничивает число поэтов двумя. Помимо того что один из циклов стихов Пастернаку назван «Двое,» в письмах она говорит о Пастернаке и себе, как о последних поэтах — одиноких душах, которым нечем дышать. (26)

В стихах Пастернаку Цветаева развила тему внепространственных и вневременных средств общения между двумя поэтами. В стихотворении «Пути,» (1923 г.) она писала о «лирических проходах» и о небе, как о единственно надежном передатчике чувств. Может быть здесь следует искать источник «Воздушных путей,» одного из рассказов Пастернака, написанного в 1924 г.?

На общение поэтов «воздушными путями» и «поверх барьеров» намекала Анна Ахматова почти сорок лет спустя в стихотворении 1961 г., «Нас четверо,» которое, без сомнения, является ответом и продолжением Пастернаковского «Нас мало. Нас может быть трое.» Четверо Ахматовой, помимо Пастернака, Цветаевой и самой Ахматовой, включают Осипа Мандельштама. Качество, присущее всем четверым — это их неполная принадлежность этой жизни: «Все мы у жизни немножко в гостях.» (27) Неудивительно, что Ахматова, последний поэт поколения Цветаевой и Пастернака, разделяла чувство принадлежности к этому меньшинству. Но дружба поэтов, их «взаимовдохновение» не пропали даром и для следующего поколения. Их стихи, в которых отразилась их дружба и по-разному трудная жизнь, которую «до крови кроил наш век закройщик,» вдохновляют новых поэтов. В стихотворении Андрея Вознесенского, написанном в 1964 г. и обращенном к Белле Ахмадулиной, звучит то же сознание принадлежности к исключительно малому, но значительному меньшинству: «Нас много. Нас может быть четверо. /.../ Нас мало. Нас может быть четверо. /.../ И все таки мы в большинстве.» (28) Это уже отклик следующего поколения.

Пастернак и Цветаева не ошиблись: это только казалось, что

(26) «Письма к Ю. Иваску» стр. 215.

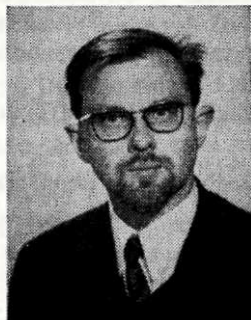
(27) «Воздушные пути» (Нью Йорк), 3 (1963), стр. 9.

(28) Андрей Вознесенский, «Ахиллесово сердце» (Москва, 1966), стр. 41-42.

их не будут читать и смогут скоро забыть. В действительности же их помнят и читают. Права была Цветаева, когда утверждала что плод их поэтической любви — поэзия — значительней и реальней повседневной «реальности» жизни:

Песнь! С этим первенцем, что пуще
Всех первенцев и всех Рахилей...
— Недр достовернейшую гущу
Я мнимостями пересилю! («П. Р.», 74)

Никита СТРУВЕ



Встречи с писателями

I. — РЕМИЗОВ

Бунин и Ремизов — составляют классическую литературную пару, как Толстой и Достоевский, Блок и Гумилев, основанную на общности судьбы и крайней противоположности писательских темпераментов. Жили они неподалеку друг от друга, но встречались редко. Друг друга не любили, не понимали — да и читатели до сих пор делятся кто за классика Бунина, кто за причудливого и фантастического Ремизова. Ремизова я помню с самого детства: он жил всего за два квартала от нашего дома. Славы за границей не имел никакой — его признавали лишь два-три французских писателя сюрреалиста — и вел сравнительно уединенную и бедственную жизнь. Чтобы ему помочь, мои родители устроили в 1938 году, у нас на квартире, вечера, на которых Ремизов читал свои и чужие произведения. Мне тогда было всего семь лет и я не мог по достоинству оценить Ремизовскую манеру читать, но тем не менее эти вечера производили даже на нас, детей, сильное впечатление. Совсем особо Ремизов читал цыганскую венгерку Аполлона Григорьева, нараспев, как бы колдуя, особо зловеще звучали у него таинственные слова: Б́асан, б́асан, басанá, /Басанáта, басанáта /Ты другому отдана/ без возврата, без возврата.

Потом пришла война, оккупация. Было не до чтений ни нам ни Ремизову. Серафима Павловна тяжело болела и Алексею Михайловичу пришлось вести хозяйство, готовить, бегать за покуп-

ками. Навсегда запомню в холодные и голодные зимы 1941 и 1942 года как Ремизов часами весь посиневший от мороза, с выпяченными бескровными губами, обмотанный в лохмотья, простаивал в очередях... Это страдное время запечатлено им «В розовом блеске» — может быть лучшей из книг, написанных в эмиграции. Как жаль, что по прихоти цензуры она не может дойти до русского читателя... Сколько в ней боли, выстраданной и просветленной!

Умерла Серафима Павловна. Прошла война с ее невзгодами. Ремизов остался один, полуслепой, в своей трехкомнатной квартире на улице Буало, с бесконечно-длинным коридором. Как придешь к нему, дверь всегда приоткрыта. Редко застанешь его одного. Встречал Ремизов гостей сидя за столом, узнавая по голосу, по шагам. Но неизменно провожал: это был своеобразный ритуал. Совсем маленький, сторбленный, вихрастый, он медленно шел по длинному коридору, который от этой замедленной походки казался бесконечным, — шел напевая своим вкрадчиво-музыкальным голосом: «Идите тихонько, не поскользнитесь». Иногда эта церемония перебивалась какой-нибудь шутливой выходкой: подведет к какой-нибудь фотографии и скажет: «Вот я, когда был маленький». А присмотришься, висит фотография каких-то французских школьников. В довоенное время через всю комнату проходили веревки, на которых висели всякие чертики, уроды, рыбы хребты. После смерти жены, Ремизов всю эту нечисть прогнал. Остались только на стенах узорчатые орнаменты, которые Ремизов любил клеивать, наподобие готических стекол, из цветных бумажек. Да неизменная кукушка, которая куковала по несколько раз в час: в кукушкиной — так называли Ремизовский кабинет — времени не было.

Разговоров с ним почти не помню. Разговаривать с Алексеем Михайловичем было не легко. Он не любил объективной речи, литературных оценок, обсуждений на злобу дня. Бывало спросишь его, по его специальности, о происхождении какого-нибудь слова — ответит он всегда шуткой. Как-то спросил его, не помню почему, о происхождении слова говеть. Ремизов сразу не то запел не то забубнил: «Го-го говядина, вот, вот, не есть говядины», и сам очень радовался своей филологической псевдо-находке. Хотя сам он всегда копался в словаре Даля, до последних дней жизни изучал язык Уложения, Судебников XV века, но слово для него никогда не было предметом объективации, научного подхода. Оно жило неуывающей, самостоятельной жизнью, где-то на рубеже между реальностью и сном, между явью и грезой и никаким зако-

нам не подчинялось, кроме как своей таинственной певучести и выразительности.

О своих книгах Ремизов говорил мало: из двух его больших послевоенных книг «Подстриженные глаза» и «В розовом блеске» — он отдавал предпочтение второй и не любил когда слишком прельщались блеском первой. «В розовом блеске — все правда, а в **Подстриженных глазах** я такого наплел!».

Особенно часто я стал заходить к Ремизову в последние годы его жизни, но не столько чтобы разговаривать, сколько чтобы ему, ослепшему, читать. Так несколько дней, а может и недель подряд я вычитывал ему из одного рукописного сборника начала XVIII столетия — «Цвет сельный» — разные жития святых. Слушал он замороженный, наслаждаясь словесной тканью рассказов. Из этого чтения родился один его небольшой рассказ — «Дула воскресший», — который я тогда же в 1955 г. напечатал в «Вестнике русского студенческого христианского движения». Помню, его страшно поразило это житие монаха, отчаянно преследуемого братьей, и он решил — по памяти — переложить его на свой язык... Присутствовал я как-то раз при чтении С. Маковским предсмертной поэмы Вячеслава Иванова, написанной в народном стиле. Ремизову она не понравилась: он немедленно определил ее народность фальшивой.

Если с Ремизовым говорилось не легко, зато с ним как-то необычайно хорошо сиделось: в кукушкиной был особый мир, отгороженный от действительности вымыслом, легендами, снами, причудами, озорством, где-то на границе между днем и ночью, в той средней полосе, где дневное, реальное уже искажено, а ночное, надмирное еще не определилось. Мир уже не телесный, но еще не духовный — целиком душевный. Всю свою жизнь Ремизов прислушивался к невидимому, но это невидимое редко принимало четкие формы религиозного откровения. При умалении чисто телесного и чисто духовного начала, душевное все заполняло: в кукушкиной все было одушевлено: люди, вещи, слова. Все выливалось в мерной музыкальной речи Алексея Михайловича. Но от этой певучей душевности иногда становилось душно: хотелось к свету более прямому, более объективному, или вниз в шумную улицу, или вверх к свежему воздуху религиозных откровений.

Но была одна область объективная, которая врвалась в этот замороженный мир сказок и снов. От зла и страдания не отгородиться ни вымыслом ни заклинаниями. И царил над волшебным миром кукушкиной слабый, задыхающийся старичок, одинокий и

непризнанный, слепой, ошупью, постукиванием пальцами по столу искавший свою папиросу, или мучительно выписывавший уже не блестящую вязь XVII века, а беспомощные каракули.

«Страждущий» — так в конце жизни Ремизов заканчивал свои письма или подписывал книги. Ремизов был всегда чуток к страданию, к жизненной неразберихе, которая шла наперекор стройному миру словесных чар. Ему часто хотелось уйти целиком от этого мира, предать его сатане и идти куда-то, минуя мир. Но отказаться от мира целиком значило бы отказаться от «страждущих», и от страдания. Этого Ремизов не мог. И может быть в этом принятии страдания, тем самым и преодолении его и лежит разгадка Ремизовского творчества. Сологуб как-то сказал ему: «Зачем вы все врете!». Гершензон вторил Сологубу: «Вы над всем смеетесь». Да, Ремизов много врал, озорничал, издевался, сам того не желая, обижал людей. Поклоняясь слову, он приносил в жертву иногда самое священное. Но за гримасами, чудачеством, озорством, за плетением слов почти всегда проскальзывает основная, если не единственная тема его творчества: боль. Боль о неустроенности мира, боль от обреченности всего рожденного, от разлуки, страдания, смерти. Оправдать страдание, как Достоевский, Ремизов не умел. Но сострадать стенающей твари, и самому безропотно и терпеливо, как бы за чужую вину, переносить страдание — в этом быть может то сокровенное, то лучшее, что было в нем.

II. — БУНИН

(К столетию со дня рождения)

Лед и пламень не столь различны между собой... как были Бунин и Ремизов. Ремизов весь в причудах, в фантазии, в словесном сплетении: из снов, из глуби времен он старается заглянуть в область неведомого. Бунин без причуд, строго-классичен, на мир смотрит нарочито острым, беспощадно-объективным глазом. Ремизов весь в изломах, в изгибах, он идет от Достоевского, в нем многое из Подполья. Бунин держится прямо, подобранно, он прячет свою душу от других, страх смерти у него запрятан глубоко, как можно глубже — он идет от Толстого, в нем многое от Ивана Ильича.

Ремизов окружил себя густым бытом, передал вещам жизнь своей души. Бунин — безбытен, его квартира ничем не отличается от других эмигрантских квартир, разве что беспорядка боль-

ше чем обыкновенно. Принимать он любит в столовой — там чуть прибраннее чем в других комнатах — но она ничем не примечательна. Ремизов никуда не выходит, или почти, ему живется по-настоящему только в кукушкиной; Бунин не прочь пойти в гости, проветриться, развлечься.

Помню я его сразу после войны, 75-летним, моложавым, благообразным. Невысокий (хотя себя считал ростом выше среднего), но очень прямой, нарочито подтянутый, негибачущийся, чуть деревянный. Говорит немногословно, отрывисто, отменно-хорошо, четко, определено. Суждения всегда резкие, окончательные. Половина русской литературы для него как бы не существует: символисты в частности, большинство современников, чуть ли не все после Чехова, и не только потому, что они возможные соперники в мнении народном; Бунин их отменяет за их измену классическому началу, за нарушение чувства меры, за чувствительность. Скажешь ему о Блоке, процитируешь какую-нибудь строчку, например «На ограде вспыхивают розы», а он обрежет одним безжалостным словом: «конфеточно». Бунин был поразительно чужд современности. Он любил находить сравнения в Пушкинском времени — так меня он шутил называл «Дельвигом» за круглость и пухлость лица — но теперь мне кажется, что корни его еще раньше, где-то в XVIII веке. От XVIII века и шло его барство, его до-романтический классицизм, холодная красота, скептицизм. Только, пожалуй, цельности того времени у него не было: он не мог бы, как Державин ожидать спокойно смерти, «крутя задумавшись усы». Цельность Бунина была нарочитая, сделанная, за видимостью ее начинались трещины. Его скупые слова, короткие, но красочные рассказы запоминаются: какая чистая речь, отточенная, выпуклая, скульптурная, как и он сам. Так же чисто, степенно, беспристрастно, с холодком, читал он свои произведения. Таким же был его почерк, крупный, твердый, определенный. Дашь Бунину книгу на прочтение — и он вернет ее всю расчерченную красным карандашом, считая не без основания, что такую вольностью придаст ей цену. Властным почерком он разукрасил лист литературной энциклопедии на букву Б. Портрет во всю страницу Демьяна Бедного снабдил следующим решительным комментарием: «Этот мерзавец, этот скот называется в Москве поэтом».

В сорок пятом году он встречал у нас Новый Год, в тесном семейном кругу. В тот вечер он был менее «накрахмален» чем обычно, был любезен и мил. Расспрашивал о том как умер мой дед Петр Борисович Струве, и в связи с этим произнес в пол-голоса,

как бы стыдясь, несколько задушевных слов. Но, повторяю, с ним это случалось редко. Доброту, чувство, душевность он как бы раз навсегда поручил своей жене, теплой и религиозной Вере Николаевне, а себе оставил беспощадность суждений, литературную злость, презрение, цинизм. Ругануть своих современников ему доставляло удовольствие: помню как он красочно рассказывал «скверные анекдоты» о Куприне, втаптывал в грязь Есенина, приписывая его самоубийство каким-то низменным побуждениям...

К большевизму, несмотря на злополучную встречу с Богомоловым, он относился всегда с отвращением, в котором было, пожалуй, больше брезгливости чем ненависти, — как к чему-то предельно уродливому. Быть может он, одно время, как и многие, поверил, вернее понадеялся после победы в возможность эволюции советского строя. Но поход к Богомолу, а затем сотрудничество в просоветской эмигрантской газете, имели, в основе, корыстные цели. Со свойственным ему цинизмом Бунин этого не скрывал: «Что хотите, — любил он говорить, — я хожу каждую неделю в «Последние Новости» как в публичный дом», употребляя при этом словцо куда более крепкое. За эту свою слабость он потом отомстил. На одном из последних литературных вечеров, не помню на какую тему, он дал себе полную волю и отколол по адресу советского режима несколько весьма крепких слов.

Верил ли Бунин во что-нибудь? Конечно, он верил в слово, в писательство, в красоту природы, в себя, в свою литературную ценность. Но за всем этим великолепием — это я чувствовал всегда остро — скрывался мучительный страх, страх смерти, уничтожения, небытия. Этот страх, в последние годы, принимал уродливые формы: гостям, пришедшим с мороза или мало-мальски простуженным, он не протягивал руки, боясь заразы. С неизбежностью конца в нем росла раздражительность. Навещал я его больного, такого несчастного среди невообразимого беспорядка комнаты, то незлобного и смягчившегося, то необычайно раздражительного и повелительного.

Умом своим Бунин верил в Бога, но сердца своего ему не отдал.

Вышло так, что я один из первых видел его мертвого, но уже, по завещанию, с покрытым лицом как у монахов и епископов. Вера Николаевна в утро после роковой ночи позвонила, растерянная, к нам, и по ее просьбе я немедленно к ней поехал. Лицо Ивана Алексеевича было закрыто платком и Вера Николаевна

была непреклонна: никому не было дано прочесть последней мысли его жизни.

Как при жизни он прятал от людей свою душу — может быть не только от людей, но и от себя самого, — так в смерти, верный своему тщеславию, своему ложному стыду, он пожелал скрыть от нас свое лицо, чтобы на нем никто не мог видеть красоту, обезображенную распадом.

В противоположность Ремизову, Бунин воевал с душевным началом в себе, не желая быть уязвимым. Духовное было ему чуждо. В нем преобладало чувственное, которым он любил пощеголять, и умственное, «Темные аллеи» и «Воспоминания», два лика его души, но не всей его души, а только той части ее, которую, на склоне лет, он пожелал отдать потомству.

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Глеб СТРУВЕ



К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. Б. СТРУВЕ

Род. 26/1-7/II 1870; † 26/II 1944

Из переписки его с сыном в 1939-1941 гг.

Не так давно я напечатал (см. «Записки Русской Академической Группы в США», т. III, 1969 г.), письма моего отца ко мне за период, непосредственно предшествовавший Второй мировой войне. Здесь я хочу привести, с кратким пояснительным комментарием, выдержки из его писем ко мне из Белграда в Лондон после сентября 1939 г., ограничиваясь тем, что представляет интерес с общей точки зрения и с точки зрения его биографии, и особенно для характеристики его отношения к войне, опуская почти все чисто-личное. Небольшие выдержки из этих писем были больше двадцати лет тому назад напечатаны в парижской «Русской Мысли».

Первое послевоенное письмо, полученное мною от отца, было датировано 18 сентября 1939 г. В большей своей части оно касалось чисто личных и семейных дел, и только в самом конце была фраза, являвшаяся откликом на начало войны:

Мы, конечно, живем в большом напряжении от громадных и жестоких событий. На наше поколение обрушилось слишком много событий.

В письме от 4 октября отец писал:

Ты писал маме, что тебя интересует мой взгляд на положение вещей. Он вполне в основе совпадает со взглядом британского правительства. В одном, может быть, я расхожусь и с правительством и с общественным мнением Англии и Франции: я не верю в идею прочного расхождения современного германского режима и Советчины и потому тактика изгнания Дьявола Вельзевулом мне представляется и ошибочной, и опасной. Напиши мне, в каком умонастроении находится теперь сэр Бернард Пэрс. Часто ли ты с ним встречаешься? Признала ли Ар(надна) Влад(имировна), что она ошибалась и я был прав? Вспоминала ли она наш прошлогодний телефонный разговор, которого слушателем, поскольку говорил я, был и ты, ибо разговор происходил из твоей квартиры? Поклонись и sir'y Bernard'y Pares'y и Mrs. Williams от меня и от мамы. Куда исчезла сотрудница белградского «Времени», с которой я так резко разошелся, что в прошлом году не хотел даже с ней видеться?..

«Возрождение» производит жалкое впечатление, хотя его позиция по видимости изменилась на 180 градусов. Впрочем, там только два по-настоящему умных и порядочных человека: С. С. Ольденбург и И. И. Тхоржевский. Совсем и безнадежно глуп Ю. Ф. Семенов. Умнее его Любимов, у которого все-таки есть некоторое чутье французской реальности.

Вопрос об Ар. Влад. Тырковой-Вильямс связан с обнаружившимся между ними в 1938 г. расхождением и во взгляде на происходившие тогда события, и в прогнозах на будущее. П. Б. провел тогда около двух месяцев в Лондоне, но с А. В. Тырковой не виделся, а только разговаривал по телефону. Об этом и о корреспондентке «Времени», г. е. В. М. Самсоновой, см. в упомянутых выше письмах П. Б. ко мне за 1937-39 гг.

Любимов, Лев Дмитриевич (р. 1902) — сотрудник «Возрождения», начавший работать в газете еще под редакцией П. Б., но особенно выдвинувшийся после 1927 г. В предвоенные годы занимал, как и Ю. Ф. Семенов, ярко выраженную прогитлеровскую позицию. После войны стал «советским патриотом», был выслан из Франции, вернулся в Россию и сделался советским журналистом и писателем. В книге «На чужбине» (1963) дал бойко написанную, но тенденциозную картину культурной и политической жизни русской эмиграции.

Вопроса о войне и общем политическом положении П. Б. касался снова в письме от 19 октября. Он писал:

Суждения, которые ты передал в предыдущем письме,

поражают своей легкомысленностью и, скажу прямо, глупостью. Именно тем, что большевики не «буржуи», в отличие от «наци», они гораздо более опасны для Запада, чем «наци». Смешно видеть в современном столкновении только внешнюю войну! Это — война идей и порядков. Не мог ли бы ты достать мне тот № *Times'a*, в котором было напечатано большое письмо Herbert Wells'a? Это — яркое выражение той глупости, которой заражена значительная часть западноевропейского общественного мнения. Читал ли ты это письмо? Я хотел бы ответить на него, ибо в нем, как в фокусе, собраны все заблуждения «передовой», с позволения сказать, английской и французской общественной мысли. В тех благоглупостях нашего старого знакомого, которые ты передаешь, лишь слабые отзвуки этой основной лжи и ерунды.

Продолжение этого письма было написано 22 октября. П. Б. говорил, что не выдает английских газет, но извлечения из них читает в «*Neue Züricher Zeitung*», во французских газетах и в парижских «*Последних Новостях*». Он спрашивал также, выдаю ли я Е. В. Саблина (бывш. русского дипломатического представителя в Лондоне, который потом представлял Нансеновский Оффис) и Э. Э. Гамбса (бывш. русского генерального консула) и «вспоминали ли они, что я был прав в своих диагнозах и прогнозах». И прибавлял: «С. Л. Франк пишет мне, что я в этом отношении могу иметь *une triste satisfaction*».

«Старый знакомец», суждения которого я передавал отцу — несомненно сэр Бернард Пэрс, который в это время все больше и больше склонялся к про-советской позиции и часто посещал советского посла Майского.

В письме от 11 ноября П. Б. писал:

Мы, конечно, как и раньше, поглощены событиями, которые, конечно, идут, с исторической точки зрения, быстро, но часто нас, современников, раздражают как какая-то канитель и топтание на одном месте. Хотелось бы их подтолкнуть! А между тем события на самом деле идут весьма быстро.

Вскоре после того я послал отцу выписки из только что вышедшей книги английского публициста F. A. Voigt'a «*Unto Caesar*», взгляды которого и на гитлеровскую Германию и на Советский Союз показались мне близкими к взглядам П. Б., и в письме от 23 ноября он писал, что нашел эти выписки интересными и, если издательство готово прислать ему книгу, он напишет о ней рецензию для журнала Белградского Юридического Факультета. Много позднее, уже в апреле 1940 г., когда П. Б. получил книгу, посланную ему издательством по просьбе автора, он снова

писал, что книга "очень интересная и представляется весьма значительной, хотя многое я вижу иначе, чем он". А 17 мая П. Б. написал письмо самому Voigt'у (по-английски) и копию его прислал мне. Он писал, что согласен с большей частью аргументов автора и что «*idée maitresse*» его книги кажется ему "убедительной и глядящей в корень вещей". В том же письме он сообщал Voigt'у о книге, которую он сам в это время готовил и о которой речь будет дальше. Свою мысль о статье о книге Voigt'a П. Б. не привел в исполнение.

В письме от 17 декабря 1939 г. П. Б. писал мне:

...При случае скажи от **моего** имени сэру Бернарду, что я жду, когда он окончательно созреет...

и затем, по поводу полученной им из Оксфорда (очевидно, она была послана ему по просьбе автора) "книжечки" Исайи Берлина (с тех пор ставшего международно знаменитым ученым) о Карле Марксе, говорил, что книга эта "интересна в том отношении, что между прочим показывает, как далеко зашло повреждение английских мозгов социализмом", и продолжал:

Я теперь с необычайной ясностью вижу это во всех областях и потому считаю «коллузию» националсоциализма с большевизмом событием прямо благодетельным для человечества вообще и в частности и в особенности для Англии, где ложь социализма осложняется гримасами снобизма. И это верно совершенно независимо от каких-либо наших **русских** интересов!

Мне думается, что я на конец своих дней мог бы сказать много полезного англичанам и вообще западноевропейцам на основании своего исключительного исторического опыта. Но они интересуются не существом дела, а сенсациями и тем, что им приятно. То, что ты пишешь, свидетельствует, что на них не действуют и самые оглушительные удары. В этом они подобны русским эмигрантам — только с противоположным знаком. В моей специальной области какое печальное явление — престиж, приобретенный J. M. Keynes'ом, величиной совершенно раздутой и весьма зловредной. Кейнс — весьма интересное и отрицательное явление английской культуры*).

В том же письме П. Б. просил меня выяснить возможность издания на английском языке его "Социальной и экономической истории России"

*) К этой фразе П. Б. сделал примечание, в котором просил меня прислать ему одну только что вышедшую книгу о Кейнсе, а также написать все, что мне в данный момент известно о нем. Справедливость требует отметить, что, после смерти П. Б., Кейнс по своей инициативе напечатал в своем журнале (The Economic Journal) некролог его. — Г. С.

(тогда еще не напечатанной по-русски и даже не законченной) и "давно задуманной и отчасти написанной книги о кризисе и крушении социализма".

Имя Кейнса П. Б. упомянул снова в письме от 22 декабря 1939 г.:

(После того как я писал тебе прошлый раз, я в здешних газетах прочел о проекте Кейнса. Я не считаю этого проекта разумным, хотя, повидимому, он произвел впечатление — главным образом по причинам, указанным в моем прошлом письме).

В письмах от 28 декабря 1939 г. и от января и февраля 1940 г. П. Б. писал мне о своей статье по поводу вышедшей в Москве книги Н. Н. Дмитриева по истории русской текстильной промышленности. Статью эту ему очень хотелось напечатать в лондонском Slavonic and East European Review или каком-нибудь другом английском журнале. Она и была напечатана в моем переводе в только что названном журнале (т. XIX, 1939-1940). Подлинник ее сохранился в моих бумагах, и русский текст ее теперь напечатан в "Записках Русской Академической Группы в США" (т. III). В письмах того же периода много разных просьб ко мне о библиографических справках в библиотеке Британского Музея, которую П. Б. еще со времени своего пребывания в Англии в 1896 г. считал лучшей библиотекой в мире.

В письме от 10 января П. Б. (писал, что поддерживает "довольно оживленную корреспонденцию со всеми странами, кроме Германии и Сов. России". К сожалению, все письма к нему погибли во время войны в Югославии. Из его же писем пока известны лишь немногие, если не считать писем ко мне. В том же письме П. Б.) так характеризовал русскую парижскую печать:

Видишь ли ты иногда журнальчик Керенского «Новая Россия»? Там бывают очень хорошие статьи, и его линия более правильная, чем «Посл(едних) Новостей». «Возр(ождение)» изменило свою линию на 180°, но отчасти именно поэтому не производит впечатления, не говоря уже о бездарности Семенова, который корчит из себя редактора и публициста. С. С. Ольденбург последнее время опять перестал писать, я не знаю, почему. Талантливо пишет там теперь только Тхоржевский и забавно (иногда) — Любимов. Но в общем «Возр(ождение)» скучно и убого.

О настроениях в белградской русской колонии, от которой — если не считать нескольких личных друзей — он чувствовал сильное отталкивание, П. Б. писал:

Здесь в русской среде еще очень много глупости, которая в данном случае органически связана с низостью. Даже герм(анско)-сов(етский) пакт, даже нападение на Финлян-

дию многих не образумили. Но все-таки некоторый поворот, некоторое изменение начинается...

В одном более позднем письме (от 7 марта 1940 г.) П. Б. еще резче отзывался о русской белградской колонии. Очевидно, в ответ на мой запрос по поводу исполнившегося незадолго до того 70-летия со дня его рождения он писал:

Мой «юбилей» не скрывался, но так как большинство белградской публики мне прямо противно, то я старался, чтобы мои близкие не очень распространяли здесь эту дату. (Против распространения у вас и в Париже я ничего не имею). (...) «Менталитет» русской белградской публики мне внушает прямо отвращение, и ее внимание мне не доставило бы никакого удовольствия. В моей аудитории (В. Х.) Даватц произнес, впрочем, приличную и приличествовавшую речь по сему случаю).

Большое впечатление на П. Б. произвело поражение Финляндии в войне с Советской Россией, и в письме от 15-16 марта он писал:

Очень хотелось бы иметь твои впечатления и изображение того, как ощутил Лондон удар, постигший Финляндию, а с нею вместе — и весь мир...

За день до того отец впервые поделился со мной своим намерением написать небольшую книгу о Второй мировой войне. Вот что он писал:

У меня все яснее и яснее складывается план написать небольшую книгу и опубликовать ее на английском языке. Я бы хотел написать именно книгу (maximum страниц в 100 небольших печатных листов), но, конечно, материал мыслей, ибо это именно прежде всего мысли, а затем уже только факты, может быть втиснут и в журнальную статью. Но для меня и для дела всего выгоднее написать книгу. И у меня явилась мысль — просить бывшего голландского премьера, которого я считаю самым умным государственным человеком современной Европы — написать к книге предисловие. Обдумай этот проект и разные модальности его осуществления. О нем я хочу написать и сэру Самюэлю (Sir Samuel Hoare), между прочим и потому, что проект связан для меня с разными чисто практическими вопросами. Ему будет, может быть, как активному политику воюющей страны, неудобно писать предисловие, но если он согласен это сделать, то можно было бы книгу снабдить предисловием сэра С. Хора и введением Колайна — в случае согласия того и

другого. Поэтому я прошу тебя предварительно узнать мне точно и поскорее сообщить имя и написание фамилии Колайна и его постоянный адрес (в Гааге или в Женеве?) и предварительно запросить сэра Самюэля и просить его содействия в издании такой книги. Заглавие книги мне мыслится такое: Two Aspects of the Second World War — I. Cheirocracy versus Democracy. II. Germany versus Great Britain.

Книга будет политически написана по существу **определенно**, но весьма осторожно по форме, и суть ее будет состоять в политических идеях и исторических констатированиях, из которых практические выводы вытекают неумолимо и неотвратимо. Cheirocracy есть термин Полибия и значит «Руководствие» — я написал, как ты, может быть, помнишь, специальный этюд, посвященный воскрешению и истолкованию этого понятия Полибия. Есть ли у тебя оттиск этого этюда? У меня оттисков не осталось.

Этюд, о котором напоминал здесь П. Б., был написан им по-немецки и напечатан в венской *Zeitschrift für Nationalökonomie* (1936; Bd. vii, Heft 4).

В следующем письме П. Б. писал:

Мой литературный план все больше и больше оформляется. Может быть о понятии «хейрократии» и его современном значении можно было бы написать в *Contemporary Review*? И такой статьей подготовить книгу?*)

При письме от 4 апреля П. Б. посылал мне резюме своей «задуманной и в голове совершенно готовой книги» и писал:

Я думаю, ее размер будет в 200-250 небольших страниц, вернее я хочу, чтобы она была не больше этого размера. (...) Я бы просил тебя во всяком случае немедленно **сообщить** сэру Самюэлю мое намерение и мой план — написать такую книгу и что для окончательной редакции ее мне нужно будет засесть в Библиотеке Британского Музея на некоторое время и что я прошу его оказать мне в этом всяческое содействие. Переговоры об издании книги прошу тебя поведи особо. Может быть, ты их поведешь через Voigt'a?

*) В следующем письме П. Б. написал, что он ошибся, назвав *Contemporary Review* вместо другого журнала, а именно *The Nineteenth Century and After*. Редактором последнего журнала был в то время F. A. Voigt.

Я считаю, что такая книга может и иметь успех и получить значение. После получения твоего ответа, а может быть и раньше, я напишу Н. Colijn'у просьбу дать предисловие к моей книге.

Не знаю, удовлетворит ли тебя мой summary — это, во всяком случае, для меня, как автора, весьма полезный план того, что я буду писать. (...)

Возьми в British Museum мой этюд о хейрокрации и прочти: в нем всего 8-10 страниц. Но, пока я не получу возможности приехать для работы в Брит(анском) Музее, мне неудобно, по здешним отношениям, выступить в печати со статьей, которая содержала бы прямое применение понятия хейрокрации к националсоциалистическому режиму, хотя я отчетливо и нарочито имел в свое время в виду это применение.

К следующему своему письму (от 7 апреля) П. Б. приложил копию своего английского письма к сэру Самюэлю Хору от того же числа. Это письмо он начинал с поздравления последнему по случаю его возвращения на пост министра воздухоплавания, а затем писал о том, что он получит от меня план и резюме задуманной им, П. Б., книги, которую ему хотелось бы опубликовать в первую очередь по-английски, и просил оказать содействие в деле издания этой книги, а также в осуществлении намерения приехать в Англию для работы в Британском Музее. Обращался он к Хору и с просьбой написать небольшое введение к книге. Через три недели (25 апреля), в письме, которое начиналось с пасхального приветствия, П. Б. писал мне:

Я получил от сэра Самюэля очень любезное ответное письмо. От написания предисловия он отказывается, ибо «overwhelmed with work», но обещает оказать содействие моему приезду, о чем он написал тебе (потому я не привожу его слов, ибо они должны содержаться в его письме тебе). Я уже принялся за писание книги и введение и первую главу уже написал — это более научная часть книги. Жду очень твоего письма. Для меня, конечно, очень важен вопрос о гонораре и вообще о всяческом содействии выходу в свет книги. Особенно — после новейших событий, «la portée» которых еще трудно обозреть.

С конца и даже с половины мая я буду формально свободен от здешних обязательств, и для меня весь вопрос сведется к возможности, — материальной, а при данных условиях даже физической — пуститься в плавание (это

верно в буквальном смысле, ибо ехать, может быть, придется через Грецию).

В двух приписках к письму П. Б. писал, что напишет письмо Колайну с просьбой о предисловии («Напишу по-французски, письмо это нужно будет обдумать и долго писать»), и просил прислать ему английский текст «снопсиса» книги — «для эвентуальной посылки Колайну».

Написал ли П. Б. письмо Колайну, я так и не знаю: он больше об этом не упоминал. «Новейшие события», о которых он писал, подразумевали вторжение германских войск в Данию и Норвегию, вскоре за чем последовала очередь Голландии, Бельгии, а затем и Франции. К маю П. Б. должен был оставить всякую мысль о поездке на Запад, которую он долго откладывал из-за неполучения французской визы. Если бы ему удалось тогда попасть, как он надеялся, в Англию, его жизнь в последние годы во многом сложилась бы иначе, но он был бы разлучен с женой.

В следующем письме (17 мая) П. Б. возвращался к этим событиям и писал:

Огромные события, наступившие (для меня вовсе не неожиданно!), могут в нашем письменном общении произвести неприятные задержки, и письма могут не только задерживаться, но и пропадать.

Такая именно судьба, повидимому, постигла приготовленные им для печати введение и первую главу задуманной книги, о которых в том же письме он писал мне, что они «написаны окончательно» и что он мне их пошлет через несколько дней. Все это, если было послано, до меня никогда не дошло. В Белграде наверно должен был остаться другой экземпляр этой написанной к тому времени части рукописи (а может быть и продолжение ее, но она погибла во время войны. От книги сохранилось (у меня) только упомянутое выше резюме*).

В течение лета 1940 года я получил от отца еще несколько коротких писем. Все они были написаны по-английски. В письме от 31 мая выражалась «непоколебимая уверенность в конечном торжестве Британской империи и Франции в их гигантской борьбе за свободу и человечность». В письме от 9 июня П. Б. опять писал:

I have an unshaken and complete confidence in the final and complete victory of British Empire and France, and nothing could destroy this confidence, based on my whole knowledge as economist and sociologist and politician.

В сентябре 1940 г. я получил подписанную моей матерью телеграмму с просьбой сообщить о здоровье моем и моей семье, а также нашего друга Л. В. Черносвитова. Почта в это время действовала уже очень

*) Это резюме представляет собой, собственно говоря, детальное оглавление книги.

плохо. Все же небольшое английское письмо от отца от 6 ноября проскочило. В нем он сообщал мне, что они переехали на новую квартиру и давал свой адрес.

Затем пришло еще письмо от 26 декабря, написанное на этот раз по-русски. В нем П. Б. писал, что мои письма к ним приходят "вперебивку" и иногда более поздние опережают более ранние (в это время я прибегал уже иногда к посылке писем кружным путем: через Е. Д. Кускову в Женеве и через гр. С. В. Панину в Нью-Йорке). Говоря, что его и мою мать радует то, что мои письма "полны бодрости", П. Б. опять писал о своем "оптимизме".

Я попрежнему не только пребываю, но и укрепляюсь в своем оптимизме относительно исхода: победа англосаксонского мира и торжество дела свободы и права для меня неоспоримы.

На следующий день П. Б. писал, что посылает мне три оттиска своей статьи о Шевыреве и славянофильской теории о "гнилом или гниющем" Западе: один для меня, один для библиотеки Британского Музея и один для сэра Бернарда Лэра. Как это ни странно, эти три оттиска дошли до меня.

После этого был большой перерыв в письмах (повидимому, и мои письма в Белград пропадали). Последние два письма и одна открытка были от 5, 18 и 25 марта 1941 г., т. е. уже незадолго до вторжения немцев в Югославию. Привожу некоторые выдержки из этих коротких писем:

Мы здоровы более или менее все трое (т. е. родители и мой младший брат Аркадий Г. С.). Но жизнь становится все труднее во всех отношениях, и нам с мамой на восьмом десятке лет жить становится труднее. — О положении вещей в мире не имеет смысла тебе писать. Ты во много раз лучше всех нас о нем осведомлен. Я абсолютно тверд в своем оптимизме, которого ничто не может поколебать. (5 марта 1941).

Мы получили твое письмо от 1. II и очень ему обрадовались. Нас интересует, какого происхождения вырезанные цензурой места, британского или антибританского. (Вопрос, на который я, разумеется, не мог ответить. — Г. С.).

Я еще более, чем раньше (если это только возможно, ибо это всегда было мое убеждение), убежден в победе Великобритании. Теперь только эта победа ускорится в смысле срока. (18 марта 1941).

Ты нас очень обрадовал своими телеграммами. Очень ждем твоих писем.

Об изменениях в политическом положении невоюющих стран ты лучше и больше знаешь, чем я. Я этим изменениям не придаю никакого значения для исхода борьбы, который, по моему твердому убеждению, предрешен превосходством англосаксонского мира, во всех отношениях, над «тоталитарями». (25 марта 1941 г.).

На этой ноте твердой уверенности в победе начал свободы и права над «руководством» моя переписка с отцом закончилась. Больше писем из Белграда я не получал. Те «изменения в политическом положении невоюющих стран», о которых он писал в последнем письме, вскоре произошли в самой Югославии, и вероятно на их возможность он и намекал. Для него лично они имели последствием высылку из Югославии жившего с ним и с матерью, и исполнявшего при нем обязанности секретаря, младшего сына, который был французским гражданином, а также арест его самого немцами. Правда, он был освобожден через три месяца: оказалось, что арест был вызван доносом одного соотечественника, который изобразил П. Б. как близкого Ленину человека. Когда П. Б., сидя в тюрьме в Граце, узнал, какое «обвинение» ему предъявляется, он посоветовал офицеру Гестапо найти по указателю в немецком издании сочинений Ленина что последний писал о нем. Почти сразу после того он был освобожден и мог вернуться в Белград. Но только летом 1942 г. ему и его жене удалось выбраться в Париж к сыновьям. Между 1942 и 1944 гг. я изредка получал сведения о них через Швейцарию, но переписки между нами не было. О смерти отца я узнал от одного из работников английского радиовещания: о ней было сообщено по радио в Германии и оккупированных Германией странах. Позднее я получил письмо от Е. Д. Кусковой из Швейцарии.

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

С 19-го по 21-ое октября состоялся в Свято-Тихоновской семинарии в Пенсильвании второй Всеамериканский поместный собор Православной автокефальной Церкви в Америке. В следующем номере Вестника появится отчет об этом соборе. Здесь же помещаем Послание, принятое по предложению епископов всем Собором и обращение ко всей пастве.

ПОСЛАНИЕ II-го СВЯЩЕННОГО ВСЕАМЕРИКАНСКОГО ПОМЕСТНОГО СОБОРА

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, Благодать и мир Господа нашего Иисуса Христа, славимого во Святой Троице, да будет со всеми Вами!

Обращаемся к вам с призывом — возблагодарить Господа за великую милость Его к Православной Церкви в Америке, ныне завершившей свой II-ой Поместный Собор. И приветствуем всех вас, чад и тружеников св. Церкви.

I-ый Всеамериканский Собор в прошлом году совершил историческое дело, став первым Поместным Собором нашей Церкви. Этот, II-ой Собор, принял новый Устав церковный, наиболее полезный для ее роста и развития на американской земле, в духе соответственном апостольскому призванию и делу. Буде на то воля Господня, мы соберемся через два года на Третий Поместный Собор, а сейчас будем продолжать свое соборное служение Господу и братьям на положенных твердых канонических основах поместности церковной.

Извещаем вас, что в день Покрова Пресвятой Богородицы этого года совершилось знаменательное для Церкви нашей событие: Албанская Православная Епархия, одна из старейших ветвей Церкви в стране, в составе своих 13-ти приходов, присоединилась к Православной Церкви в Америке и ее епископ, Преосвященный Стефан, стал членом нашего Священного Синода. Слава Господу, совершающему единство Своей Церкви в Америке.

Призываем вас, возлюбленные братья и сестры, особенно в молитвах своих помянуть наших братьев по вере на русской земле; еще не кончились большие испытания их веры и все продолжается натиск воинствующего безбожия на Имя Господне и святую Церковь и чинятся препятствия для благовестия многих самоотверженных пастырей и мирян Христова стада. Будем просить

Господа, да облегчится жизнь этих свидетелей Слова Божия в народах мира. Утеснение свободы православного исповедания веры и служения Господу, мы видим и в совершившемся в этом году принудительном закрытии ценнейшей православной духовной школы на острове Халки, около Истанбула, в Турции. Константинопольский Патриарх лишился своего единственного духовного учебного заведения для подготовки пастырей и богословов. В Албании закрыты все храмы и упразднены все церковные общины. Очень тяжело положение верующих в континентальном Китае.

Мы не можем не осознавать, что та свобода выражений веры, которой мы пользуемся в нашей благословенной стране, накладывает на нас большую духовную ответственность. Да растет она в нас, и да укрепятся расслабленные, столь часто, на добрые дела колена наши. Свобода, в которой мы живем, есть самая большая ответственность. Слово Господа, Священное Предание Его Церкви и наш опыт устройства поместной церковности в Америке, да будут нас вести ко все большим трудам во славу Господню. Царства и народы падают, — «слава Господня пребывает вовек». «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» [Иоанна XV, 5]. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» [XV, 8].

ИРИНЕЙ, Митрополит всея Америки и Канады
ИОАНН, Архиепископ Чикагский и Миннеаполиский
ИОАНН, Архиепископ Сан Францисский и Западно Американский
НИКОН, Архиепископ Бруклинский
СИЛЬВЕСТР, Архиепископ Монреальский и Канадский
АМВРОСИЙ, Архиепископ Питтсбургский и Вест Вирджинский
ВАЛЕРИАН, Архиепископ Детройтский и Мичиганский
КИПРИАН, Архиепископ Филадельфийский и Пеннсилванский
СТЕФАН, Епископ Бостонский
ФЕОДОСИЙ, Епископ Ситкинский и Аляскинский
ИОАСАФ, Епископ Эдмонтонский
ДМИТРИЙ, Епископ Вашингтонский.

21-ое октября 1971 года.

Свято Тихоновский Монастырь.

ТЕЛЕГРАММА СВЯЩ. ГЛЕБА ЯКУНИНА.

Редакции Вестника

Moscou 15 nov. 16.30

Nikita Struve. 91 rue Olivier de Serres Paris 15

Крайне изумлен вашей заметкой, опубликованной в 99-м номере Вестника, содержащей безответственные утверждения, касающиеся авторов открытого письма. Считаю необходимым заявить следующее: 1. Ваше утверждение, что я удалился в горы в ожидании конца Мира совершенно не соответствует действительности. Цель моей поездки в Новый Афон вам неизвестна; при этом вызывает недоумение нарисованный вами карикатурный образ священника, который в ожидании конца Мира распродает свое имущество. 2. Третий автор открытого письма к Патриарху Алексию, Феликс Карелин, мой друг, никогда не наталкивал меня ни на какие, как вы пишете, слишком резкие, а иногда и сумасбродные поступки. Я знаю Феликса Карелина как серьезного богослова, человека православного, церковного, духовно трезвого. 3. Повторив легенду о влиянии третьего на двоих, вымышленными людьми не понимающими духа соборного единomyслия, вы нарисовали перед читателями Вестника такой образ взаимоотношений между тремя авторами открытого письма, который совершенно не верен. В заключении не могу не выразить свое глубокое сожаление тем, что вы стали жертвой сознательной и злостной дезинформации, усердно распространяемой всевозможными гасителями духа. Говоря вашими словами: сложность ситуации да не будет извинением наивности, ради пресечения соблазна, пастырски прошу вас опубликовать текст телеграммы в очередном номере Вестника.

15 ноября 1971 г.

Священник Глеб Якунин

Прим.: Приношу извинение свящ. Глебу Якунину в том, что в ответе Р. Гулю (Вестник, № 99 стр. 47), походя и на основании слухов, правда широко распространенных и заслуживающих доверие, коснулся той сложной психологической ситуации, в которой оказались авторы исторических писем Сов. правительству и Патриарху Алексию. (Напомним, что несправедливое и жестокое задержание, наложенное Патриархией на о. Г. Якунина и о. Н. Эшлимана до сих пор не снято). Признаю, что, не имея точных и достоверных данных, не следовало касаться личной судьбы о. Г. Якунина и Ф. Карелина в полемической заметке.

Н. Струве.

ОТВЕТЫ на АНКЕТУ «ВЕСТНИКА»

В 97-м номере «Вестника» (III - 1970), редакция просила читателей «Вестника» ответить на анкету, касающуюся возможного улучшения этого журнала. Ответов было получено много, из южной и северной Америки, (С.Ш.А., Канада, Бразилия), из Европы (Англия, Германия, Франция) а также из нескольких коммунистических стран.

На первый вопрос: — «читаете ли Вы «Вестник» целиком или частично, или только просматриваете?», все читатели единогласно ответили, что даже если они — по тем или иным причинам — не читают «Вестник» целиком, то те статьи, которые их интересуют, прочитываются с большим вниманием и даже с напряженностью. Читатели считают наиболее ценными отделы «Литература и жизнь» — в последних номерах были помещены статьи о Солженицыне, неизданные стихи Ахматовой и Мандельштама, — «судьбы России». Особенно интересны материалы о церковной жизни в СССР и письма советских читателей, а также отдел «Христианская жизнь на Западе».

«Вестник» — самый лучший зарубежный идейный журнал, потому что он освещает самый корень болезни русского народа, а я считаю, что без религиозного возрождения никакие революции и реформы ни к чему путному привести не могут», пишет читатель из Югославии. И он предлагает редакции расширить отдел религиозно-философский, умножая в нем статьи освящающие отношения науки и религии, и ознакомляющие с богословием. Это предложение связано с желанием европейских читателей, интересующихся отделом «Современные православные богословы и западные мыслители» при чем после каждой статьи, желательно было бы помещать краткую биографию автора и список его трудов. Читатели из Америки просили больше сведений об автокефалии американской церкви — без лишней полемики, а читатели из Европы сведения о положении и будущем нашей епархии. Требуется также не только рецензии, но и по мере возможности библиография новых книг.

Язык, уровень, стиль и изложения статей вполне удовлетворяют большинство читателей. Однако, лицам живущим в коммунистических странах и не получившим богословское образование, некоторые статьи кажутся написаны на слишком высоком уровне и часто непонятны.

Лишь один читатель жалуется на «небрежность корректора», который допускает некоторые опечатки. Большинство, опять же хвалит и благодарит редакцию, но и предлагает:

- чаще печатать письма читателей.
- уменьшить политическую сторону журнала.
- избегать статьи на три — или даже на два — номера.
- ввести печатание патристических текстов.

Отзывы читателей:

Мне 37 лет, и всю жизнь я прожил в коммунистической стране. «Вестник» по моему самый лучший зарубежный идейный журнал, потому что он освещает самый корень болезни русского народа, а я считаю, что без религиозного возрождения, никакие революции и реформы ни к чему путному привести не могут.

Михаил Михайлов, Белград.

Несколько дней в году, когда мы получаем Вестник, являются для нас днями радости. Читаем все, иногда перечитывая более близкое сердцу.

А. Гарклавс, Чикаго.

Второго такого журнала нет в эмиграции — нет и во всем мире на русском языке.

Николай Купфер, Сан-Пауло.
Бразилия

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

101-102 номер ВЕСТНИКА
выйдет в январе 1972
— на 200 страницах —

Читайте в нем:

К Столетию рождения о. Сергия Булгакова

- Статьи о. А. Шмемана, Л. Зандера и др.
- Неизданные воспоминания и письма.
- Иоанн и Иуда, возлюбленный и сын погибели, (неизданный экскурс).

П. Флоренский: Воспоминания о детстве (продолжение)
Даниил Андреев: Зеленая пойма (стихи).

Е. Поздеева: Система атеистического воспитания в СССР
Очерки о советской психиатрии.
Жизнеописание епископа Афанасия (Сахарова).

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От Редакции	3
Краткая история ВЕСТНИКА Р.С.Х.Д.	5
Вестник с 1925 по 1931 г. — Н. Зернов	7
Возобновление Вестника в 1949 г. — прот. А. Киселев	8
Поздравления к 100-му номеру ВЕСТНИКА	11
Советские пропагандисты о Вестнике	12

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

Пути Движения — прот. А. Князев	23
“Восхождение ко Христу” — неизданная проповедь — прот. С. Булгаков	31
Смерть и воскресение — епископ Александр (Семенов Тянь-Шанский)	34
“Угли пустынные” — Архиеп. Иоанн Шаховской	44
Трапезы Воскресшего — прот. Б. Бобринской	51
О единстве христиан во Христе и об Евхаристии как о причастии этому единству — прот. Г. Сериков	55
Несколько слов о православном благочестии — иеромонах Афанасий Евтич	64
К созову всеправославного Собора — Обращение архим. Иустина Поповича	69
Отец Амфилохий — И. Горяинова	74
О религиозном опыте Достоевского — Н. Арсеньев	84
Очерк собственной философии — Н. Лосский	98

НА ЗАПАДЕ

Христианская мысль на Западе	
Парадоксы христианства — Г. К. Честертон	116
Общественные движения на Западе	
О духовном облике американской интеллигенции — прот. К. Фотиев	130
Ростки надежды — Михаил Михайлов	136

СУДЬБЫ РОССИИ

Зрячая любовь — прот. А. Шмеман	141
Мое завещание — Н. Мандельштам	153
На полях вздорной книжки — Г. Адамович	161
Большевизм и религия — Н. Зернов	166

	Стр.
Слово новичков — С. Доброхотов	174
Творческая биография художника Ю. В. Титова	181
Борьба за достоинство человека	
Новый протест Солженицына. Открытое письмо Министру гос- безопасности СССР Андропову	184
Внесудебные преследования	
“Послужной список” В. Ростроповича	187
Люди доброй воли	
Протокол допроса Р. И. Пименова	188
Судьба ВСХСОНовцев	202
Запрещенные кинофильмы	204
Борьба за Церковь	
Отречение епископата от управления	206
Епископат против открытия церквей	213
Суд над Левитиным (Красновым)	214
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Из литературного архива	
Неизданные стихи Марины Цветаевой	217
Два четверостишия А. Ахматовой	224
Сонет “Максу” — К. Бальмонта	226
Владимирская Богоматерь — М. Волошина	227
Воспоминания детства — свящ. П. А. Флоренский	230
ОЧЕРКИ	
Страшный мир — В. Вейдле	255
О замолчанной. (Несколько слов о поэзии Марии Шкапской). — Б. Филиппов	273
Борис Пастернак и Марина Цветаева — О. Раевская-Хьюз	281
Бунин и Ремизов — Н. Струве	306
Материалы к истории русской культуры	
К столетию со дня рождения П. Б. Струве — Из переписки его с сыном в 1939-1941 гг. — Г. Струве	313
Хроника церковной жизни	
Послание II-го Священного Всеамериканского Собора	324
Телеграмма свящ. Глеба Якунина	326
Результаты Анкеты Вестника	328

	Pages
EDITORIAL	3
Bref historique du Messager — N. Zernov, A. Kisselev	5
Le Messager vu par les propagandistes soviétiques	12
THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE	
Les voies de l'ACER — A. Kniazev	23
« La montée vers le Christ » — S. Boulgakov	31
Mort et Résurrection — S.E. Alexandre Semenov Tian Chansky	34
« Charbons ardents » — S.E. Jean Schakhovskoy	44
Les Repas du Ressuscité — B. Bobrinsky	51
L'unité des chrétiens dans le Christ et l'Eucharistie — G. Serikoff	55
De la piété orthodoxe — Hiéromoine Athanase (Evtich)	64
A propos du Concile panorthodoxe — Archimandrite Justin (Popovitch)	69
Le Père Amphilokhios — I. Goraïnov	74
Le message chrétien de Dostoïevski — N. Arseniev	84
Nicolas Losski par lui-même	98
EN OCCIDENT	
La pensée chrétienne en Occident	
Les paradoxes du christianisme — G. Chesterton	116
Le profil spirituel de l'intelligentsia américaine — C. Fotiev	130
Germes d'espoir — M. Mikhaïlov	136
LES DESTINEES DE LA RUSSIE	
« Août 14 » — Un amour clairvoyant — A. Schmemann	141
Mon testament — N. Mandelstam	153
Notes sur un livre absurde — G. Adamovitch	161
Le bolchevisme et la religion — N. Zernov	166

LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris (5^e)

Téléphone : ODE. 74-46 et ODE. 43-81

Compte Chèques Postaux : Paris 13313-73

БУЛГАКОВ прот. С. — Апокалипсис Иоанна . . .	20,—
— Православие (Очерки учения православной церкви) . . .	25,—
БЕРДЯЕВ Н. — Русская идея	20,—
— Философия неравенства	20,—
ГОЛУБЦОВ прот. Н. — Два акафиста Божьей Матери .	5,—
ЛОССКИЙ Н. О. — Свобода воли	25,—
ЛОССКИЙ Н. О. — Условия абсолютного добра . .	20,—
ПРАВОСЛАВНАЯ МЫСЛЬ. Выпуск № 14. Июнь 1971 .	16,—
АХМАТОВА А. — Сочинения в 2-х тт. Каждый том по .	38,65
БУНИН И. — Рассказы	16,—
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. — Собрание стихов 1883-1910	33,25
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. — Вечные спутники: Пушкин .	10,65
БУЛГАКОВ Мих. — Пьесы:	
Адам и Ева. Багровый остров.	
Зойкина квартира	20,—
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Август Четырнадцатого . . .	35,—
« « « в переплете	45,—
ЗУРОВ Л. — Отчина. Повесть о древнем Пскове . .	15,—
ЦВЕТАЕВА М. — Лебединый стан. Перекоп. Поэмы .	17,50
ТОМАШЕВСКИЙ Б. — Краткий курс поэтики . . .	18,70
ТОМАШЕВСКИЙ Б. — Теория литературы	33,50
ХОДАСЕВИЧ В. — Статьи о русской поэзии	11,30
ДОСТОЕВСКИЙ Ф. — Полное собрание сочинений в	
15 томах	390,—
(Перепечат. с изд. СПб 1906 г.)	

Все произведения Достоевского продаются и отдельно.

La parole des novices — S. Dobrokhotov	174
Biographie du peintre G. Titov	181
La lutte pour la dignité de l'homme	
Nouvelle protestation de Soljenitsyne (lettre ouverte à Andropov)	184
M. Rostropovitch	187
Procès-verbal de l'interrogatoire du R. Pimenov	188
Films interdits	204
La lutte pour l'Eglise	
La démission des évêques	206
L'Episcopat contre l'ouverture des églises	213
Le procès de Lévitine (Krasnov)	214
LITTERATURE ET VIE	
Inédits: Quatre poèmes — M. Tsvetaeva	217
Deux quatrains d'Akhmatova	224
Sonnet « à Max » — K. Balmont	226
« La Vierge de Vladimir » — Max Volochine	227
Souvenirs d'enfance — P. Florenski	230
Essais	
« Le monde terrible » — W. Veidlé	255
M. Chkapskaïa, une poétesse méconnue — B. Filippov	273
B. Pasternak et M. Tsvetaeva — histoire d'une amitié — O. Raevski-Hughes	281
Bounine et Remizov — N. Struve	306
Lettres de Pierre Struve à son fils — G. Struve	313
Chronique de la vie de l'Eglise	
Message de l'Eglise autocéphale d'Amérique	324
Télégramme du P. Gleb Iakounine	326
Réponses de l'enquête du Messenger	328

LES ÉDITEURS RÉUNIS

Il est en vente chez les libraires et les papeteries
Tous les ouvrages sont en vente chez les
Éditeurs Réunis, 10, rue de la Harpe, Paris.

LE GÉNÉRAL DE LA MONTAGNE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MER — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA VILLE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA CAMPAGNE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA BATAILLE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA STRATÉGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA TACTIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA LOGIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MÉTHODE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA SCIENCE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA PHILOSOPHIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA LITTÉRATURE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA POÉSIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MATHÉMATIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MÉCANIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA PHYSIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA CHIMIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MÉDECINE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA JURISPRUDENCE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MÉTIÉRIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA MÉTÉOROLOGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA GÉOLOGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA BOTANIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA ZOOLOGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA GÉOGRAPHIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA HISTOIRE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA GÉOLOGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA BOTANIQUE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA ZOOLOGIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA GÉOGRAPHIE — 100 pages — 10 francs
LE GÉNÉRAL DE LA HISTOIRE — 100 pages — 10 francs

